

повести
и
рассказы

ТОЧКА ОПОРЫ

Лениздат



повести
и
рассказы

Леонид Басиков

Илья Бояшов

Людмила Волчкова

Алексей Грякалов

Сергей Карпущенко

Николай Марков

Борис Морозов

Александр Новиков

Виталий Познин

Алла Сельянова

Владимир Соболев

Геннадий Соколов

Николай Шадрунов

Сергей Янсон



ТОЧКА
ОПОРЫ

ТОЧКА ОПОРЫ

Выпуск седьмой



*повести
и
рассказы*

84.3P7

T64

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Е. Кутузов, Г. Ф. Николаев, В. И. Перепелка, В. П. Суров
(составитель)

Точка опоры: Повести и рассказы./ Сост. В. П. Суров. — Вып. 7. — Л.: Лениздат, 1987. — 312 с.

В новый традиционный сборник вошли повести и рассказы о наших современниках.

Т $\frac{4702010200-225}{M171(03)-87}$ 202-87

84.3P7

© Лениздат, 1987

ПРЯМОЕ ПЕРЕЛИВАНИЕ



Леонид
Басиков

рассказ

— Ты пойми, Витя, за дежурство — что приемное, что неприемное — деньги-то одинаковые. А в неприемное делать-то нечего. После вечернего обхода снял пробу на кухне, выпроводил противозаконно проникших посетителей и свободен — смотри себе телевизор в холле или лежи в ординаторской, книжку читай. Ну чем не житуха? Сам бы остался, но на дачу надо.

Примерно такую речь произнес Калач, уговаривая Витьку подежурить вместо Анны Степановны, которой позарез куда-то надо было уйти: то ли дочка опять с мужем разводится, то ли внук-балбес двойку принес, вечно у нее какие-то трагедии. Витька любил дежурство, когда можно оперировать самостоятельно, но злился на Анну Степановну. Он, не поднимая головы, строчил истории болезни под жалобные вздохи Анны Степановны и рассуждения Калача, потом не выдержал:

— Что вы меня уламываете, как девку на сеновале. Как дежурить надо, сам знаю, не первый год служим. А вы, Анна Степановна, не берите совместительства, раз вы такая многодетная бабка. Всегда у нас так: как заработать дать — так Анне Степановне, а как подменить кого — так Витька.

Анна Степановна завздыхала еще жалобнее. Витька чертыхнулся и пошел курить в туалет — в ординаторской Анна Степановна курить не разрешала не только Витьке, но и самому Калачу.

Непонятно, почему Калач во всем потакает этой наседке Анне Степановне? И хирург она средненький, и вообще не подарок. Правда, если она рот откроет, то спасайся, кто может. Очень голосистая бабушка.

Такой спектакль разыгрывался раза два-три в месяц и всегда имел один конец — Анна Степановна неслась к своим дочкам-внучкам, а Витька, ругаясь, оста-

вался дежурить, в глубине души в общем довольный, потому что и дежурить ему нравилось, и деньги не лишние.

Уходя, Калач ткнул его дружески кулаком под ребро:

— За Ягодкиным пригляди. У него сегодня третьи сутки после резекции желудка, как бы чего не вышло. Сам знаешь, что именно на третий день швы разойтись могут. А я на дачу еду. Так что крепи оборону.

В тон ему Витька ответил:

— Будет вам кокетничать-то. У вас швы никогда не расползаются.

— Спокойно, сынку, вырастешь — и у тебя швы ползти не будут.

— С вами вырастешь, пожалуй! Что поинтереснее оперировать, так или сам боженька Калач или его наместник на земле Анна Степановна. А меня только аппендюки стричь да прыщи давить. И еще дежурить за Анну Степановну.

— Во-первых, уважаемый Виктор Сергеевич, я много раз вас просил не употреблять жаргонных словечек. Не аппендюки стричь, а производить операцию аппендэктомии и не прыщи давить, а вскрывать маститы. А во-вторых, уже поздно, я на электричку могу опоздать. Кстати, если будешь себя хорошо вести и не грубить старшим, то следующая резекция желудка, а она поступит послезавтра, твоя полностью. От начала до конца.

Витька вспыхнул от радости, но ответил как можно безразличнее:

— Я, между прочим, три года в деревне работал после института. Совсем один. Никаких Калачей у меня там не было, а резекции делал вдвоем с сестрой, и ничего — больные поправлялись. А тут как орден дают. Подумаешь — резекция!

— Не хочешь — не надо. Сам сделаю.

Витька понял, что перегнул, хотел что-то сказать, но Калач не дал:

— Одно дело — ты сам оперировал, а другое, когда тебе Калач доверяет. Уловил?

Витька остался дежурить. У постели Ягодкина, ссутулившись, сидела жена, маленькая, остроносенькая, неотрывно глядевшая на лицо мужа. Ягодкин казался ей противоположностью и был не то что толстым, а каким-то сытым, несмотря на болезнь и операцию. Даже болел он как-то по-сытому, по-барски. Такие обычно в отделении сестричкам шоколадки раздают, а врачам шлют

хорошие коньяки. На лице Ягодкина написано было невыносимое страдание.

Витька поздоровался, подсел к больному, откинул одеяло, хотел пощупать живот. Ягодкин вскрикнул.

— Что, ужасно больно? — спросил он с неприкрытой иронией.

— Еще нет, нам не больно, — ответила за Ягодкина жена.

— А теперь? — Витька мягко положил руки на живот больному.

Ягодкин молчал.

— Нам не больно, — сказала жена.

Ладони Витьки были неподвижны, а пальцы, большие и сильные, каждый сам по себе двигались, ощупывая живот легко и мягко.

Когда Калач впервые увидел, как Витька осматривает больных, восхитился: «Ну, ты даешь! Как ты лапы себе такие отрастил?» — «Уметь надо!» — подмигнул Витька.

— Вы скоро поправитесь! — резко сказал он. — Не влезайте в болезни! Через два дня вы начнете ходить. Ягодкин застонал.

— Что, опять ужасно больно? — раздраженно спросил Витька.

— Да нет же, нет, — пояснила жена. — Мы просто так.

Витька вышел в коридор, задумался: «Молодец Калач — здорово работает. Этот Ягодкин идет как по маслу... Плохо я с ним разговаривал, нельзя так, мало ли что он мне не нравится со своей остроносенькой женой. Не получается у меня относиться ко всем больным одинаково. Честная работа врача — это одно, а вкладывать душу в каждого — другое, не написано в должностной инструкции, чтобы душу вкладывать».

К Витьке подошла жена Ягодкина. В белом халате до пят, она напоминала подопытную мышку. Витьке стало ее жаль.

— Идите домой, отдохните, вы устали, а вам силы еще пригодятся, — посоветовал он.

— Да как же это я... а как же он... ему одному... одеяло поправить... и вообще...

— Идите, идите. Поверьте, ему нужна здоровая жена, а если вы свалитесь, ему совсем плохо будет.

— Вы так считаете? — в сомнениях подняла глаза Ягодкина.

Она робко стянула с себя халат:

— Виктор Сергеевич, мы хотим отблагодарить вас... мы там для вас...

Витька вздрогнул:

— Что? Отблагодарить? Бутылку пришлете? — Он обычно не возражал, когда ему носили коньяк, а тут обиделся. — Я подарков не принимаю. Разговор окончен!

И вдруг ему показалось очень несправедливым, что Ягодкин занимает кровать, на которой умер Ань. Как раз месяц назад.

Последние сутки Витька от Аня не отходил. Умирал Ань в ясном сознании. Он шептал:

— Иди, врач. Мне перестанет болеть. Скоро мне будет тихо.

У Витьки билось в голове: «Нет, нет, ты не умрешь, ты будешь жить долго, вернешься домой, потому что так нужно всем — и тебе, Ань, и мне. У тебя будут сыновья. Несправедливо умирать в двадцать шесть лет, нельзя так, нечестно!»

Язык не поворачивался говорить что-то фальшиво бодряческое. Привезли его в больницу с улицы. У него, внешне здорового до того парня, студента строительного института, внезапно пошла горлом кровь. Он лежал бледный, черные глаза смотрели спокойно, длинные смоляные волосы спутались. Его сильное тело спортсмена или солдата, казалось, еще не свыклось с болезнью. На правом боку белел глубокий шрам.

— Американцы стреляли, — пояснил Ань.

— Какие американцы? — не сразу понял Витька.

— У нас, во Вьетнаме. — И тихо добавил: — У меня рак легких.

— С чего ты взял? — удивился Калач, по привычке сразу переходя на «ты». — Нет у тебя никакого рака.

Ань отвернулся.

Кровотечение вскоре остановилось. Рентген бесстрастно подтвердил «рак легких с метастазами в позвоночник». Врачи долго рассматривали снимки, надеясь, что нет, это не рак, что-то другое, как будто хотели уговорить пленку, что она ошиблась, но чем больше смотрели, тем становилось яснее — рак.

Положили его в Витькину палату. Полное имя его было Нгуен Тхо Ань. Он попросил, чтобы не путали, а звали — Ань, а не Аня, потому что Ань — вьетнамский мужчина, а Аня — русская женщина. Все в палате улыб-

нулись. Он глядел в потолок, ни о чем не просил, не жаловался.

На обходе Витька дружески спрашивал его:

— Как дела?

— Живу, — равнодушно отвечал он.

И Витька старался не беспокоить его лишними вопросами.

На разборе Калач просмотрел историю болезни Аня.

— Ты что назначил ему?

Витька перечислил.

— Консультантов вызвал?

— Да.

— Обезболивающие?

— Нет. Он не жалуется. Видимо, боли еще не начались, поэтому и процесс такой запущенный.

Калач согласился.

Как-то, когда Витька закончил ежедневный обход, Ань схватил его за полу халата.

— Врач, помоги. Мне болит. Спина. Помоги, врач.

Витька внимательно посмотрел в глаза Аню, увидел расширенные от боли зрачки и понял, что равнодушные Аня — это не бесстрастность, а нечеловеческое терпение раненого солдата. Ань все время страдал от страшной боли, а Витька этого не замечал! Он подсел на кровать, ласково заговорил:

— Зачем ты терпишь, друг, ты не терпи, скажи только, мы сделаем укол, и тебе легче станет. Ты только не терпи.

Ань не ответил.

Позвали Калача.

После укола выражение лица Аня изменилось. Он приподнялся в постели, благодарно посмотрел на врача. А Витька все повторял:

— Ты не терпи больше, друг. Ладно?

Ань впервые оживился:

— У нас говорят — терпение начинается тогда, когда терпеть уже больше нельзя. А я еще могу терпеть.

На его щеках появился легкий румянец.

Витька тревожно наблюдал за ним. Он вспомнил, что Ань сам себе поставил диагноз еще при поступлении. «Откуда он мог это знать?» С языка у Витьки сорвалось:

— Непонятный ты какой-то!

Ань пожал плечами:

— Почему непонятный? Понятный... Я хочу умереть дома. У меня опять пойдет кровь, я и умру.

— С чего ты взял? — деланно удивился Калач. — Ты поправишься!

— Нет. У меня рак. У всех был рак легких, и все умерли.

— У кого у всех?

— У всей нашей деревни. Американцы полили нас желтым дождем. Потом все умерли — горлом шла кровь. Сначала дети, потом остальные. Теперь и я. Долго ждал.

Витька вспомнил, что в газетах было про какое-то химическое оружие, которое американцы применяли во Вьетнаме, и что вьетнамцы называли его «желтый дождь». Тогда он почти не обратил на эти сообщения внимания — повсюду идут войны, а на войне гибнут люди, так уж заведено, но сейчас он представил себе далекую страну в джунглях, деревья с красной листвой, деревенские дома с крышами из соломы, людей в шляпах-конусах и внезапно выпавший странный дождь желтого цвета, прямо с безоблачного неба, удаляющийся самолет, удивление крестьян. Теперь Ань лежит перед ним. Жгучее чувство безвозвратности, недоумения, возмущения охватило Витьку. Зачем они отравили Аня, эти веселые энергичные американцы?

Ань продолжал:

— Через полгода стали умирать. Сначала маленькие сестры у соседей, а потом мой брат. Я понял, что надо воевать. Пошел к партизанам. Дали автомат. Два года воевал. Ранили.

— Сколько же тебе лет было, сынок? — охрипшим голосом спросил Калач.

— Тринадцать.

— Тринадцать, — эхом повторил Калач. — И мне было тринадцать, когда блокада началась в сорок первом. Только они нас не желтым дождем, они нас голодом...

Калач закашлялся и почти выбежал из палаты. В ординаторской он накинулся на Витьку:

— Ты что, раньше не мог обезболивающее дать? Да тебя за одно место подвесить надо.

Витька огрызнулся:

— Если вы такой умный, сами бы назначили на обходе. И без вас муторно.

Калач осекся:

— Не сердись. Я не на тебя, а на себя злюсь. Давай лучше еще раз подумаем, что мы можем сделать.

Витька сжал кулаки, отрубил:

— Ни-че-го. Рак четыре. Только обезболивающее. — И, подумав, добавил: — Желтый дождь...

В тот же день у Аня повторилось кровотечение. Кровь удалось остановить, но Ань угасал. Витька не находил себе места, метался по коридору, рычал на больных, попадавшихся ему на пути, подсаживался к Аню, клал руку ему на голову, говорил какие-то теплые слова, перехватывал у сестры шприц и сам делал инъекции. Калач сидел в ординаторской, тупо глядя в окно, и ни во что не вмешивался.

К ночи Аня не стало.

Витька с Калачом молча переоделись и, не прощаясь, разошлись.

Мимо порхнула Люсюся, обдав его французскими духами. Витька остановил ее и строго сказал:

— Ты почему не доложила мне как ответственному, что заступила на смену? Я даже не знал, кто сегодня операционная сестра.

Люсюся кокетливо склонила головку:

— Извините, Виктор Сергеевич, я исправлюсь. А вы чай будете пить?

— А как же! Только крепкий не заваривай, на ночь не хочу.

— Поспать надеетесь?

— Конечно. День-то неприемный. Иди в ординаторскую и сообрази покушать.

Больные готовились ко сну. Заглянул еще раз к Ягодкину. Тот спал. Жены не было.

На посту проверил ночные назначения у вечно хмурой Виолетты Антоновны и, пожелав ей спокойного дежурства, отправился в ординаторскую. Виолетта проворчала ему в спину: мол, разные сосунки будут ее проверять, за тридцать лет здесь она много всяких докторишек перевидала...

Люсюся уже вскипятила чай, разложила бутерброды и, сделав хитрую мину, достала из-под кушетки бутылку шампанского.

— Откуда это у тебя? — удивился Витька.

— Не у меня, а у тебя. Я пришла, как порядочная, смотрю — она на твоём столе стоит. Я прибрала на вся-

кий пожарный. Благодарные больные заслали, — с завистью сказала Люсюся.

— Это Ягодкина, — сообразил Витька. — Эх, не хочу я брать у них ничего. Неприятно почему-то.

— Брось ты ломаться. Не с последних покупают. Жаль, что конфет для меня не приложили.

— Перебьешься. Ты что завтра после смены делаешь?

— Еще не знаю. Ты можешь что-нибудь предложить?

— Я покупаю конфеты и прихожу к тебе в гости. Телевизор посмотрим, поговорим об астрономии. Ты любишь астрономию?

— Очень. Даже больше конфет.

Витька обнял Люсюсю за талию. Она отстранилась. Поправила халат перед зеркалом.

— До завтра, Витька. Спи спокойно до утра.

Витька сунул шампанское в портфель, подумав: «До завтра, так завтра», и блаженно растянулся на кушетке.

Резко затрещал селектор. Витька рванулся к аппарату.

— Дежурный хирург слушает!

Фельдшер из приемного покоя прямо надрывался в трубку:

— Немедленно! Скорее! Завезли избитого. Похоже, шок!

— Откуда он взялся? Мы же сегодня не принимаем, пусть в дежурную больницу везут.

— Ничего не знаю! Приходите немедленно!

Он быстро шел мимо темных палат. У сонной Виолетты мимоходом спросил:

— Как Ягодкин?

Та буркнула:

— Вашими молитвами.

В приемном на кушетке лежал молодой мужчина в фирменных штанах. Около него суетились фельдшер и два молоденьких милиционера. Витька сразу оценил положение: «Резкая бледность, частое дыхание, полузакрытые глаза, тихо стонет, ноги немного согнуты — шок, видимо, внутреннее кровотечение. Раз здесь милиция, значит, что-то криминальное. Ах да, избитый. Очень знакомое лицо. Господи, никак Стожко! Откуда он взялся?»

Он стал осторожно раздевать пострадавшего. Милиционеры, совсем еще юноши, смущенно и услужливо помогали. Витька недовольно спросил:

— Кто доставил больного?

Милиционеры засмутились еще больше:

— Мы.

— Почему к нам, без «скорой помощи»? Мы сегодня не принимаем.

— Извините, товарищ доктор, мы не знали. Идем с дежурства, видим, он лежит прямо у ваших ворот, и мы его сразу сюда, решили — так скорее будет, чем «скорую» вызывать.

— Какие обстоятельства травмы?

— Говорит, избили, деньги забрали, много — восемьсот рублей. Зачем столько носить при себе? Мы его нашли пять минут назад, нет, семь уже. Сразу дали от вас телефонограмму в отделение и проверили его по справочному — Стожко, двадцать девять лет, санитар в городском морге.

— Понятно. Давление?

— Восемьдесят на сорок, пульс сто тридцать, ровный, — ответил фельдшер.

Витька положил руки на живот больного. Тот поморщился. Витька громко спросил прямо в ухо:

— Где болит?

Больной неожиданно вятно ответил:

— Весь живот, больше внизу.

Витька пробормотал: «Брюхо как доска. Это кровотечение. Надо оперировать». У него была привычка, которую он перенял у Калача, — тихонько, для себя, вслух комментировать свои действия, это вносило ясность в мысли. Опять громко заговорил с больным:

— У вас внутреннее кровотечение, надо немедленно делать операцию. Вы согласны?

Стожко не открывал глаза:

— Да.

Фельдшер ждал распоряжений.

— Вызывайте анестезиолога, лаборантку, ассистировать будете вы. Ясно?

Фельдшер вздохнул:

— Ясно. Пойду созывать народ.

Пришел заспанный анестезиолог Николай Егорович и заворчал на Витьку:

— Чего тебе не спится, зачем звал?

Витька показал на больного:

— Закинули самотеком. Шок. Наверное, селезенка лопнула. Берем немедленно.

Николай Егорович зевнул:

— Сейчас поставлю капельницу. Невезучий ты, Витька. Как с тобой дежуришь — обязательно что-нибудь случится. Грешен ты, видимо. У всех грешников тяжелые дежурства. Примета такая.

Налаживая капельницу, продолжал ворчать:

— Две вещи люблю на свете — жрать горчицу без всего и работать по ночам. Двадцатый год в больнице, а еще не понял, что вкуснее. Витя, иди мойся, через минуту больной будет на столе. Я и говорю: граждане, милые, днем болейте на здоровье, а ночью баньки надо. Богом так придумано: день для трудов, ночь для отдохновения.

Витька зашел в операционную, когда Люсюся еще готовилась. Он сел на высокий табурет, осторожно держа перед собой стерильные руки, прикрытые салфеткой. Глядя на Люсюсю, ловко раскладывающую на столике инструменты, на спокойные действия Николая Егоровича, подумал: «С ним не страшно. Самого тяжелого больного вытянет».

Минуты перед операцией всегда тянутся долго. Он думал: «Я не должен, просто не имею права его оперировать. Лет десять назад мне хотелось его убить... Разрыв селезенки. До утра не дотянешь, чтобы передать его кому-нибудь другому. Надо успокоиться, взять себя в руки. Он обычный больной... Обычный разрыв селезенки... Мало, что ли, я селезенку убрал... А встретиться бы нам в другом месте, иной разговор был бы... А сейчас — спокойно!»

И в другом месте у них бы разговора тоже не вышло. Драться Витька не умел, а сказать Стожко, что тот подлец, — бесполезно: только посмеется или изобьет. Это у него ловко получалось.

Они были однокурсниками. Но близко познакомились в студенческом отряде. Стожко выделялся — волевой, накачанные мышцы, прилично брэнчал на гитаре и помнил множество песен.

Витькина бригада — десять человек — строила кош для чабанов. Работали далеко в степи, вкалывали чаров по двенадцать, торопились к сентябрю закончить.

Вечером сидели у костра из старых автомобильных покрышек. Покрышки горели ярко и долго, но чадно. Хорошее было время. Допоздна пели под гитару Стож-

ко. Ветер приносил горьковатый запах полыни, далекое бляение баранов.

Когда глаза привыкали к темноте, спускалось небо. Оно было близким и доступным, и не верилось, что это он — необъятный космос. Звезды были такими крупными, что казалось: вот встанешь, пройдешь несколько шагов и поближе разглядишь мерцающее чудо. Витьку волновала такая доступность неба, и приходило ощущение: «Аз есмь, Витька!»

Иногда появлялся из темноты Металиб, молодой чабан, пасший с семьей отару в нескольких километрах от них. Металиб привозил в бурдюке кислый, пахнувший полынью айран, свежие лепешки. Он подсаживался к костру, слушал песни, раскачиваясь в такт, одобрительно цокал языком и, обращаясь к Стожко, с уважением говорил:

— Хорошо играешь, акын, хорошо!

Случилось так, что у бригады кончились продукты: кажется, машина сломалась, и еды оставалось только на день. Ребята посоветались и решили просить продуктов у Металиба за деньги или в долг, как получится. Послали Стожко с напутствием: «Иди, акын, тебя Металиб уважает, не откажет».

Бригадные деньги хранились у Витьки. Он отсчитал сотню.

— Если сумеешь, купи барана. Надоели консервы.

Стожко хмыкнул:

— Не бойсь! Добудем.

К вечеру он принес айран и лепешки. За ним на веревке понуро плелся баран. Ребята крикнули «Ура!», а Стожко зло усмехнулся:

— Этот Металиб туго дело знает — и бабки с меня снял и сказал, чтобы за лепешки продуктами потом расплатились.

В эти дни Металиб не приходил. Накануне отъезда Витька заболел — гудела голова, тело ломало, видимо, поднялась температура, но в хлопотах он старался не обращать на это внимания.

К ночи появился Металиб, соскочил с лошади, поздоровался, подсел к огню. Ребята потеснились, дали ему место, но глаз на него не поднимали. Металиб молчал, слушал песни, только языком не цокал.

Витька вспомнил:

— Металиб, мы тебе должны кое-что, пошли в палатку.

Они отошли в сторону. Металиб сказал:

— Ничего не должны. Ты скажи, бригадир, зачем тот, с гитарой, барана увел? Я бы так дал, если бы он попросил. Я сразу заметил, что барана не хватает, но не хотел ребятам нехорошее говорить.

Витька опешил:

— Как увел? Он же тебе деньги отдал — сто рублей.

Металиб тихо сказал:

— Зачем обижаешь? Я денег не брал. Так дал. Лепешки, айран. Вы кушать хотели, я и дал. Сказал только, что если потом у вас продукты останутся, чтобы не бросали, я приеду заберу.

Витьке стало стыдно:

— Прости, друг. А за барана возьми деньги...

Он полез в бумажник. Металиб покачал головой.

— Не надо. Хороший кош построили. Спасибо.

— У нас крупа осталась, сахар. Забери.

— Заберу.

Металиб посидел еще немного, попрощался с каждым за руку, только Стожко вроде не заметил и исчез в темноте. После его ухода Витьке стало совсем плохо. «Температура под сорок, наверное», — подумал он и вдруг жестко сказал:

— Ребята, барана-то Стожко увел у Металиба, а деньги зажал. Мне сейчас Металиб сказал.

Стожко вскочил, гитара брякнулась на землю.

— Что? Повтори!

Витька повторил.

— Сам ты баран со своим Металибом! Ты что сейчас с ним перехрюкивался? Бабки с него снял? Загнал ему наш корм, а теперь на других сваливаешь? Да тебе за это по морде!

От такого нахальства, прямо в лоб, Витька растерялся:

— Но Металиб сказал...

Стожко крикнул:

— Врешь, гад!

Кто-то из ребят вмешался:

— Вы что, оба сдурели? Идите спать. Утром разберемся.

Стожко плюнул:

— Не пойду. Петь буду.

Витька лег в палатке и сразу забылся. Очнулся от того, что Стожко железной рукой стиснул ему шею:

— Выйдем, на пару слов.

Витька вылез. Его качало. Перед глазами плыли оранжевые круги.

— Что тебе надо?

— Слушай, ты, если еще рот откроешь, приблю. И забудь и баранов и бабки. Понял?

Витька слышал его голос как будто издалека и подумал: «А температура не снижается, как завтра ехать буду», — и спокойно сказал:

— Подонок!

Сильный удар перехватил дыхание. Витька успел подумать: «В печень дал, подлец...» — согнулся пополам и упал на бок. Он хотел подняться, медленно встал на четвереньки. Стожко склонился над ним, схватил безжалостными пальцами его за ухо и стал злобно крутить.

— Пусти меня! Пусти! — прохрипел Витька.

От шума проснулись ребята.

— Что у вас происходит? Никак махаловку устроили?

Стожко тут же отпустил ухо.

— Было немного. Надо было объяснить ему про баранов.

Витька, стоя на четвереньках, в каком-то оглушении продолжал хрипеть:

— Пусти, п-сти... п-сти... п-сти.

— Что он бормочет? «Прости», «прости» вроде. Ладно, прощаю. Вставай с коленок, простудишься. Не трону больше.

Ребята подняли Витьку с земли. Он пробормотал:

— Плохо мне.

— Да уж чего хорошего, на коленях стоять...

К утру температура у него немного спала. За ними пришла машина, Витька сел в кабину и всю дорогу дремал.

Болеет он недели три и на занятия пошел еще слабым. У ворот института он увидел Стожко среди ребят. Тот, как всегда, был в центре, что-то весело рассказывал. Увидев Витьку, показал на него пальцем:

— Смотрите, выплыл орёлик. Давно не виделись. Это тот самый, который извинялся, что продукты чабану загнал.

Витька кинулся к нему:

— Ублю!

Стожко увернулся, а Витька, промахнувшись, ударился о стену.

Стожко ухмыльнулся:

— Нервничает!

Месяца два Витька ходил на занятия как пришибленный. Ему казалось, что все вокруг только и говорят о том, как он продал продукты и просил за это прощения. Хотел было объясниться с ребятами, а потом решил, что если тогда не поняли, то теперь и подавно не поймут. Он решил уйти из института, написав: «по семейным обстоятельствам». Деканша, дама обычно суровая, выслушав Витькин лепет о причине ухода, вдруг по-доброму сказала:

— Дошли до меня слухи про вас. Не верю. Получилось по анекдоту — «то ли он что-то украл, то ли у него что-то украли, но, короче, он замешан в воровстве». Будьте мужчиной! Возьмите академический отпуск, соберитесь с мыслями. А потом возвращайтесь в институт, — и порвала его заявление.

Витька так и поступил. Год он работал бетонщиком — пригодилось ремесло, полученное в отряде. А вернувшись в институт, узнал, что Стожко исключили — попался на фарцовке — и что тот пристроился санитаром в городской морг. Рассказывали, что он на прощанье сказал: «Теперь за день столько иметь буду, сколько вам и не приснится, пилюлькины. С покойничков бабки снимать будем».

В новой группе к Витьке отнеслись хорошо, но он держался особняком, постоянно чувствуя себя униженным, замешанным в какую-то грязную историю, умом понимая, что не прав, что все забыли тот случай, а кто помнит, тот верит Витьке, а не Стожко. С годами это ощущение притупилось, но не прошло. И вот надо же, теперь Стожко перед ним.

— Виктор Сергеевич! Все готово, можете начинать, — вывел его из задумчивости голос Люсюси.

— Долго возилась, — сердито сказал Витька.

— Где же долго? Вы ждете минуты три.

— Разве? Ну хорошо. Давай халат и перчатки.

Почти спокойно подошел к операционному столу. Сейчас он начнет операцию, и все будет хорошо.

— Николай Егорович, все будет хорошо?

— Конечно, хорошо. У нас плохо не бывает. Поехали.

Витька сделал разрез. По привычке забубнил себе под нос:

— Клетчатка не кровит, понятно, потому что шок.

Мышцы... Зажим, так, еще зажим, Люся, ранорасширитель! Николай Егорович, как давление?

Анестезиолог проворчал:

— Иди к черту. Работай спокойно и не лезь в дела анестезии. Если что не так — скажу.

— Спасибо, — Витька кивнул. — Так, брюшину вскрыли. В животе свободная кровь. Смотрим селезенку. Точно, чувствую разрыв. Люся, длинный зажим, двойную нитку!

Витька быстро удалил селезенку. Держа ее в руке, показал анестезиологу:

— Смотрите, разрыв на всю глубину. Теперь просушим живот. Салфетку. Так, еще и еще. Отлично! Николай Егорович, вы как оцените кровопотерю?

Тот посмотрел в рану:

— Литра полтора, думаю, потерял. Потом салфетки взвесим, скажу точнее. Ты скоро?

— Да. Вроде все. Вы кровь переливаете?

— Конечно. Только ее всего двести грамм, у него вторая отрицательная. Заказали еще литр по «скорой», а пока продержимся на кровезаменителях.

— Точно привезут? А то на двухстах граммах далеко не уедешь.

— Обещали, что точно.

Витька хотел закончить операцию, но что-то остановило его. Забормотал:

— Напоследок гляну под диафрагму, и всё.

И вдруг огорченно сказал:

— Ребята, у него в диафрагме щель, видимо, от удара разошлась, а в ней петля кишки зажата. Травматическая грыжа. Ногами били... Ладно. Несколько швов на диафрагму... Зашили. Смотрим кишечник. Вот участок, что зажат был. Он синий. Живой или мертвый? Люся! Горячие салфетки! Отогревать будем. Греем... Что с кишкой? То ли порозовела, то ли нет... Не пойму. Николай Егорович! Гляньте на кишку. Порозовела? Если нет, то буду делать резекцию кишки, убирать то есть все, что было зажато.

Николай Егорович посмотрел, неуверенно сказал:

— Вроде порозовела. Тоже не пойму. Пусть Люся посмотрит.

Та пожала плечами.

Витька вздохнул:

— Калача бы сейчас. Он бы разобрался. Ладно. Думаем сами — если оставлять кишку, а она окажется

нежизнеспособной, значит, через день-два она развалится, — бери на повторную операцию. А если убирать, то с такой кровопотерей швы на ней могут разойтись, а значит, опять на стол — тоже плохо. Егорыч! Ну придумайте что-нибудь!

Николай Егорович потер лоб:

— Знаешь, Витя, удаляй кишку. Если оставишь и она, не дай бог, развалится, то на тебя всех собак навешают, по комиссиям затаскают.

Витька задумался, потом твердо сказал:

— Ладно. Если кишку убирать и даже все обойдется, то молодого мужика больным на всю жизнь сделаем. А если оставим и толково лечить будем, то пройдет хорошо. Люся! Зашивать!

Закончив операцию, Витька оставил больного на Николая Егоровича.

В ординаторской устало прилег на кушетку и тут же уснул. Проспал он минут двадцать, а проснувшись, испуганно посмотрел на часы. Было четыре часа утра. Портфель упал, из него выкатилась бутылка шампанского. Витька усмехнулся: «Действительно грешен, как Егорыч говорит».

В реанимации Николай Егорович стоял у кровати Стожко, грустно наблюдая за капельницей:

— Витя, кровь нужна, тех двухсот грамм ему мало.

— А по «скорой» почему не привезли?

— Я перезванивал, ругался, да без толку. Говорят, второй отрицательной у них нет, послали машину в область. Пока туда-сюда обернутся, уже утро будет.

— Как больной?

— Пока ничего. Осложнения позже вылезут.

Николай Егорович пристально посмотрел на Витьку и виновато сказал:

— Витюша, у тебя ведь вторая отрицательная. Дай пол-литра! Ты здоровый, тебе пол-литра крови дать, как на два пальца плюнуть. Сам понимаешь — свежая кровушка совсем не то, что консервированная.

Витька молчал.

— Чего ты думаешь! Давай ложись, мы в момент организуем. Ты рисковал, когда кишку оставил, а теперь дело надо до конца сделать — выводить больного.

— Нет. Не буду кровь давать. Настроение не то. А больше ни у кого нет второй минус?

Николай Егорович просмотрел список сотрудников, висящий над столом.

— Из тех, кто на дежурстве, только у тебя.

Витька колебался. Еще и кровь ему! Пусть он про-
падом пропадет, этот подонок! А вот работу свою жал-
ко. Обидно будет, если труд пропадет. Мое дело — ра-
боту сделать чисто. Потом себе же не прощу, что за-
порол.

Николай Егорович теребил его:

— Ну как, договорились?

— Черт с ним. Берите.

Витька лег на соседнюю кровать, закатал рукав. Анестезиолог заботливо укрыл его простыней и быстрым точным движением ввел иглу во вздувшуюся вену. Витька смотрел на свою и уже не свою темную кровь, бежавшую по прозрачной трубочке во флакон. Через несколько минут у него закружилась голова: сказались уста-
лость и бессонная ночь. Витька напрягся, чтобы не по-
терять сознания.

Николай Егорович, занятый кровью, не замечал его состояния. Сквозь стиснутые зубы Витька спросил:

— Долго еще?

— Грамм триста есть. Немного осталось.

Сознание ушло. Пришел он в себя от удушливого за-
паха нашатыря. Увидел взволнованное лицо Николая
Егоровича.

— Ты что?

— Ничего. Развлекаюсь так.

— Весельчак. Почему не сказал, что отключаешься?

— Сколько крови взяли?

— Нормально, все пятьсот, как договорились.

— Хорошо. А если бы я сказал, что поплыл, то кро-
ви было бы ни туда ни сюда. Егорыч! Тут такое дело,
понимаешь. Не оформляй рапортом прямое переливание.
Я без положенных двух донорских дней обойдусь. В исто-
рию запиши, а начальству не докладывай.

— Почему?

— Видишь ли, у меня еще в том месяце кончился
срок донорских справок. Так что, выходит, я донор не-
обследованный.

— Что же ты раньше не сказал?

— А ты не спрашивал. Так что не подавай рапорта.

— Да, ситуация. И тебе и мне достанется.

Их разговор гулко звучал в ночной палате.

Стожко открыл глаза, шепотом спросил:

— Операция закончилась?

Анестезиолог подскочил к нему:

— Да, все прошло благополучно, вы уже в палате.

Стожко слабо покашлял и уже громче сказал:

— Кажется, Витька мне кровь давал?

— Да. А вы знакомы?—удивился Николай Егорович.

— Было дело, — вмешался Витька.

Он встал, посмотрел в глаза Стожко. Тот взгляда не отвел. Порозившие губы сложились в усмешечку:

— Не по правилам кровь перелили, а теперь скрыть хотите? Витька — он такой!

Витька сжался, как от удара.

— Егорыч, пиши начмеду про переливание. Иначе потом от грязи не отмоемся.

Николай Егорович удивленно смотрел на Витьку:

— Странный ты сегодня. Ничего не понимаю.

— Потом объясню.

Часам к семи привезли кровь, а к утренней пяти-минутке Стожко, преодолевая боль, пытался самостоятельно сесть в постели.

У начмеда Витька скороговоркой доложил:

— Несмотря на то что дежурство неприемное, была произведена операция по жизненным показаниям доставленному самотеком больному Стожко — спленэктомия и по тем же показаниям произведено прямое переливание однокрупной крови.

В остальном дежурство было спокойным. Послеоперационный период у Ягодкина протекает гладко. Подробности я доложу заведующему хирургическим отделением Калачу.

Начмед, прочитав рапорт, рассердился:

— Следить надо за своими донорскими документами, уважаемые. Категорически запрещено переливать кровь от необследованных доноров. Вы это прекрасно знаете и будете оба наказаны — дежурный хирург и анестезиолог получают выговор в приказе. Вопросы есть?

Анна Степановна благодарно шепнула:

— Хорошо, что не мне вся эта музыка досталась. Спасибо большое, Виктор Сергеевич.

— Кушайте на здоровье! Не стоит благодарности, — тоже шепотом ответил Витька.

**В САДУ
У ДЯДИ
ВАНИ**



**Илья
Бояшов**

рассказ

Новость в городке бомбой ахнула.

За три дня всё успели слепить. Квартира, как кроличья клетка, набита родственниками. Приехали те, кого Ракитины отродясь не видывали. Девяностолетний дед (и зачем взяли?) шамкает, хрипит что-то. Не слушают деда. Дети визжат, в ладоши хлопают, детям все интересно до жути. Подсматривают в комнату, где наряжают невесту, и издеваются над стариком:

— Деда, деда, у тебя по спине тараканы бегают!

Степан Сергеевич Ракитин, директор местного рынка, в халате, перехваченном кушаком, в тапочках на босу ногу, прохаживается по коридору. Будущего зятя он видел раза три, в Москве, в общежитии Валькином. Для родни, конечно, иностранец — событие из ряда вон выходящее, но ему-то, ему лишние хлопоты.

Жених манерами удивлял и даже пугал. Вчера с вокзала нанес визит — жене руку поцеловал... Вылизан от ботинок до прически, но тощий до чего! И зубы лошадиные... Хотя, подумать, при чем здесь зубы? А о дочке Ракитин не беспокоился — Валька за первого встречного не выскочит. Не та птица.

— Степа-а! — На дородной Катерине Матвеевне трещит мятый халатик, не причесана, не умыта, клухой растрепанной. — Степа-а... Фата где?

Отмахнулся:

— Найдете!

В дверях сонная физиономия братца Ивана. Побрился бы, что ли.

— Тю! — удивляется Иван. — Двенадцатый час.

— Степа! Фату давай!

— Да здесь, здесь. — Подружка, нескладная конопатая девчонка, волосы огнем брызгаются, торопливо проносит фату.

— У, рыжая! — Брат восхищен.

— Иван! — Ванькина супруга Зинаида, злая остро-зубая баба, вылезла. — Куда деньги девал?

— Куда надо, туда и девал.

— Паразит!

Дети вертятся под ногами.

— Дядя Ваня! Дядя Степан!

— Кыш во двор. Не мешайтесь.

Шум, крики, суета. Тянет паленым. На кухне обжаривают кур. Веснушчатый отпрыск пальцем извлекает душераздирающие звуки из старинного пианино в гостиной.

— Эй, как тебя там? Прекрати.

Отпрыск старательно подбирает похоронный марш.

— Чей ребенок? — Ракитин готов волосы рвать на себе. Зачем же вещь тиранить? Долбит по клавишам, точно дятел, вон и канделябр один отломал. — Аркашка, твой?

— Мой, — лениво соглашается младший брат, выплывая из коридора. За ним его молодуха на ходу пытается вдеть мужу запонку.

— Отстань, дура, — отмахивается Аркадий. — Под пиджаком не видно.

— А как пиджак скинешь?

— Рукава засучу. Костик, слазь с рояли.

— Аркаша, как же без запонок?

— Отстань.

— Аркаша, надень запонки!

— Костик. Слазь с рояли.

— Дед. Ну, что тебе нужно здесь? Что?

Невеста с подружкой закрылись в комнате.

— Да ведь Курт и не похож ни на кого. Пунктуален. В двенадцать спать ложится, что бы там ни было, в восемь встает... И так каждый день. Книжечка у него есть. Каждый час распланирован — в пять то, в шесть другое...

— Ну, ну, — вздыхает подружка. — А ты откуда знаешь?

— Рассказывал. Да и книжечку видела — умора! Оригинален, ужас. До свадьбы никаких отношений. Руки только целовал. — Засмеялась, показывая розовые ладошки. — Одного боюсь. Ранним очень. Гордый... Слово боюсь сказать лишнее. Вдруг не поймет? Осторожней с ним надо. Ласкать все время.

— Что, так уж и любишь его? — настаивает та.

Валька удивилась:

— А любовь тут при чем?

— Лешка как же? Ведь ждал тебя. Три года ждал!

— Еще чего! — хохотнула невеста беззаботно, фату накидывая. — Присидеть с ним всю жизнь в этом городишке?! Его же нигде из дома веревкой не вытянешь! Захирею в момент! А тут — Европа! Мир целый!

— Ой, я бы за Алексея уцепилась! Никому б не отдала, — вырвалось у рыжей подруги. — Честное слово.

— Эх, Машка, — пожалела Валентина. — Что ты в жизни понимаешь? Ничегошеньки.

В дверь постучали. Мать на пороге. Нарядная. Накрасилась, ресницы навела.

— Во сколько подъезжает немец-то? Пора! — озабоченно напевает, подходя к трюмо, придирчиво себя осматривая. — Первый час!

— Да куда он денется, мама!

Невеста закружилась на носочках по комнате — воздушная, тонкая, стройная... Дунь — улетит.

Окна распахнуты настежь. Июль, жара. За окнами плавится асфальт.

— Кто тамадой-то?

— Лука Семеныч!

— Нашли тамаду. Сатир старый.

— Немец-то интеллигенция?

— Какой там интеллигент! Электрик простой... Валька на фестивале молодежном выловила...

— Прежнего жениха видела давеча. Совсем Алексей плох.

— Как же, милая. Попробуй так! К свадьбе три года готовился, коляску даже купил. Вот придет Валя, говорит, кооператив построим и здесь с ней будем жить. Никуда, говорит, не уедем отсюда.

— Такого парня поискать! Умница, руки золотые. И не фанфарон какой-нибудь — институт в Москве ведь закончил, не остался, обратно прикатил. Не сегодня завтра ведущий инженер на заводе нашем. И вот на тебе!

— Ой, Валька стерва!

— Валька что. Вальке дорожка уже проторена. За границу.

— Степан единственный раз не пожадничал. Машины сегодня не со своего ли склада выписал? И шоферов?

- Деда совсем запинали.
- И откуда старик?
- Родня прихватила. Ведь в чем душа держится, а приволокли. Постыдились бы.
- Народу тьма помимо родни... Студенты.
- Если завтра все заявятся, разве такую ораву прокормишь?

И радостно, громко, неожиданным ветром плеснуло с улицы, пошло гулять по комнатам.

— Едут!

— Едут. Едут.

Дети во дворе машут, прыгают. Собираются у парадной любопытные. Видно уже, как из-за стройной зелени кленов показываются внизу машины. Впереди темно-синяя «Волга» с лентами, с огромной куклой на капоте. Кукла завалилась на бок, короткое платьице задралось.

Машины сигналият. Вякают тормоза. Дети захлебываются восторгом. Все прилипли к окнам. Дверцы «Волги» открылись, и вылезает жених.

— Господи, тощий какой!

— Ничего. Симпатичный. Костюм-то, костюм! Как фольгой облеплен. Сияет весь.

— Немец по-русски хоть понимает?

— А чего ему понимать? Так все ясно!

Жених приостанавливается, тербит галстук. Во всех окнах головы.

— Сюда! Сюда!

На балконах, гроздьями, соседи. Кто-то сгоряча запустил вниз горсть риса.

Из машины не торопясь вылезает фрау Эмма. Фрау в огромных черепаховых очках, сухопарая, жилистая. Одета модно — брюки, нарядная кофточка.

Жених, раскланявшись, протопал в парадную. За ним — ребятишки. А фрау замешкалась. Обернулась к машине.

— Херр Лука!

Выпятив животик, выпрыгнул Лука Семеныч, толстый, круглый, весь лоснящийся — так и просится на вилку. И с ходу давай по-шутовски кланяться, сыпать шутками-прибаутками. На лестнице давка. Жениха не пускают озорные девчонки. Немец поднял брови. Сразу же снизу на помощь тамада. Загоготал и давай чесать:

— Женишок-то откупит, а хороша ли невестушка?

— Хороша. Хороша! — хором кричит лестница.

— Покажите нам. Покажите, — требует Лука Семеныч, подмигивая жениху. Немец посмотрел на мать, та, поджав губы, — на тамаду. Лука Семеныч, чертыхнувшись в душе на их непонятливость, лезет в карман пиджака:

— Вот, на орехи, — и россыпью горсть мелочи.

— Мало, — визжат подружки.

— Бери еще! — Медь звенит, катится по ступенькам.

— Мало! Мало!

— Ну что ты скажешь, — сокрушается тамада. — Всё берите. Всё!

Родители невесты выползли на лестницу. Ракитин хмурится. Хоть бы пятак зять дал. Уж этого не знать — срам чистый.

— Милости прошу, — рассыпается Катерина Матвеевна, плотоядно улыбаясь. Жених важно вышагивает мимо расступившихся подружек в коридор. А там родня.

— Аркадий. Аркашка! Жениха посмотри.

— Мать чесная!

— Ванька. Уведи деда!

Иван разглядывает с нескрываемым интересом, даже пощупал сзади блестящий пиджак.

— Куда руки суешь, змеюка? — шипит жена.

— Куда надо, туда и сую.

Вперед жениха лезет отставший на улице свидетель. Этот наш, русак, подобрали на скорую руку. Свидетель часто моргает, мычит, поглаживая короткую козлиную бородку. Парень глотнул для храбрости, да не рассчитал, кое-как вяжет слова. А невесту уже навстречу вывели. Кудряшки хороваются, глазищи огромные.

Лестница гудит, но в коридоре неловкая тишина.

— Херр Лука! — беспомощно зовет фрау Эмма. Лука Семеныч, работая локотками, выдавился к молодым.

— Что встали? Поехали. Запаздываем... Двадцать минут до регистрации.

Соседки-старушки почетным эскортом выстроились на лестнице.

— Ловко Валька подцепила.

— Девка — картинка!

— Степан каков. Раньше слова не дожدهшься, а теперь и вовсе пузырем набычился.

— Катерина с универсама своего натащила икры.

— А Луку-то Семеныча немка отматерила. Ой, не стыдно?! При всех, кобра очкастая, и бухнула!

В парадной залаял магнитофон.

— Идут! Идут! — Хохоча, дети крупой катятся вниз. За ними, колобком, тамада.

Соседки исходят словами:

— Валька счастливая. Светится.

— Стерва.

— Сыпь зерна. Смелее, смелее.

На молодых сыплется град зерен.

— Кто же сейчас сыпит? Это после регистрации!

— После, матушка, в ресторан покатыт.

На улице Лука Семеныч рассчитывается с таксистами. Дает заранее, щедро, благо деньги уже не свои — Ракитин сунул пухлую пачку. Возле машин толчея и давка. Андреич, горький инвалид из первого подъезда, развернул мехи гармони, явно провоцируя очередной скандал.

— Не мешайся! Не мешайся! — гремит Ракитин. — Убирай костыли. Милицию опять вызвать?

Гармонист, игнорируя, развернул во всю ширь «Дунайские волны».

Молодежь протестует.

— Убери шарманку, отец. Развел тоску.

— Дурни. Что вы в гармонии понимаете? — задирается Андреич, но предусмотрительные родственники его отпихивают в сторону, к соседкам.

— Пусти... Пу-усти, — хрипит инвалид запоздало. — Чтой-то получается такое, а? Мы кровь проливали, а они с немцами? Тру-ля-ля, значить, крутят? За гансов отдают?

— Помолчи, ирод! Кровь он проливал... Болтался в обозах, прощелыжник окаянный... Сворачивай музыку свою... Сворачивай от греха.

— Что вы в гармонии понимаете? Что? — бросается на старух.

— Да уберите же этого националиста!

— По машинам! — поспешно кричит Лука Семеныч. И, подобострастно, фрау Эмме: — Прошу ручку. Битте, садитесь.

— О, херр Лука!

— Во, слышала! При всем чесном народе. А Лука! Хорош!.. Согнулся, скалится. Совсем совесть потерял. Тьфу!

— Гляди, мать. Никак Леша пришел. Господи!

Отвергнутый инженер, коренастый, точно из узлов связан, в лучшем своем костюме, в шляпе, топчется на углу. Дрожащей рукой мнет папиросы, смолит одну за одной. Позеленел за эти дни, одни скулы и бесцветные от боли глаза. Но держится мужественно. Мятый букетик под мышкой. На листке нацарапал что-то, сунул в цветы. Валька мельком увидела прежнюю любовь. Вспыхнула и к жениху под ручку.

— Папа! Давайте же быстрее!

Поехали наконец. С гудками. «Волги» битком набиты.

— Стой! — Из следующей за молодыми машины выскочил на ходу Аркашка. — Дед где? Деда забыли.

— Поздно возвращаться. Что толку с него? Пусть дома сидит!

Возле старинного особняка, обсаженного липами, полная неразбериха — машины, люди... Изредка порхнет белое платье. И цветы, цветы, цветы. «Волги» подруливают к самой лестнице, по бокам которой развалились гипсовые львята. Бесцеремонно отстранив тамаду, тощий фотограф коршуном кидается на добычу. Мелькают вспышки. Отстрелявшись, легкой трусцой фотограф убегает перезаряжать кассеты.

— Все выходим, — надсаживается Лука Семеныч. — Кольца у кого?

Под старыми липами прохладно. Солнце почти не пробивается сквозь вязкую зелень. Там же, где его светлые пятна, — духота и жара.

Свидетель заигрывает с мрачной подружкой. Та отмахивается. Свидетель икает, несет чепуху. В сторонке Катерина Матвеевна пытается объяснить фрау Эмме, что такое приданое.

— Я, я, — грустно кивает фрау.

— Главное, чтобы не обидеть его чем, — учит Валька подружку. — Скажи там папаше да и родственникам. Ляпнут, не подумавши!

— Следующие! Эммерман. Ракитина, — объявляет с лестницы солидная седовласая дама. На регистраторше длинное платье с голубой лентой через плечо.

— Свидетели! По сторонам! — торопится Лука Семеныч.

Толпа рвется вверх по лестнице. Молодым кто-то сунул охапку цветов. Сзади заботливые руки поправляют

сбившуюся фату. Невесту и жениха отводят в комнату, где разбежались по углам три жестких стула, и оставляют на минутку.

У невесты сердце скачет резиновым мячиком.

— Курт!

— Вяля!

— Курт!

— Вяля!

В глаза заглянула. Нежностью лучится, преданностью.

— Тебя одного люблю. Понял?

— О нет, нет, майн либен! Потом. — Курт, почти-точно отстраняясь, целует только кончики пальцев.

Гремит свадебный марш. Двери в зал торжественно распахнулись, бросился под ноги ворсистый ковер. Вдоль расписанной всеми цветами радуги стены расставлены роскошные кресла. Бегаёт невозмутимый фотограф. Вспышки прыгают зайчиками.

— Жениха и невесту — на ковер! В соответствии с законом о браке и семье, позвольте...

Невеста вывела вензель и ждет, когда, не спеша, распишется обстоятельный Курт. А с кольцами поторопилась. От волнения. Первой насадила на палец новоиспеченного мужа. Все смущены. Поспешила слишком. Что же он, он-то медлит? В зале замешательство.

— Надевай, надевай, — шепот. — Ну!

Курт наконец сообразил.

— Родители. Поздравьте молодых!

Степан Сергеевич гоголем прошелся к жениху, стиснул руку, а сам на родню глазом. Городская родня еще туда-сюда, а деревенские рот открыли по своему обыновению. То-то, лапотники!

Фрау Эмма, улыбаясь, чмокнула невестку. Катерину Матвеевну распирало. Хотела сказать — чувства помешали. Слезами залилась.

— Свидетели. Прошу друзей и родственников.

Началось! Свидетель лезет противными губищами. За ним — грустная подружка... И остальные, с поздравлениями. Принесли букет от Алексея. На бумаге разбросано скупое: **ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ**.

— Ах, быстрее, папа! — шепчет полыхнувшая Валька.

Не успели вылезти из «Волги», выскочил из-за спины швейцара неугомонный Лука Семеныч.

— Прошу. Заждались. Наверх!

Ракитин швейцару с размаху дает «на лапу». Бумажки разлетаются. Старик нагнулся, сгреб клешней проворно и лихо сдернул фуражку. Улыбается беззубо. Навстречу попался руководитель ансамбля, хмурый мужик с запорожскими усами. И ему «на лапу» без разговоров.

В зале оживление. Трое мужиков тащат «колонки». Плюхнули на сцену огромный пузатый барабан. Лука Семеныч, потирая руки, подмигивает музыкантам.

— Слушай, браток. Мало, — басит руководитель.

— Задаток.

— Тогда куда ни шло. Давай, ребята! — мгновенно оживившись, подбадривает свой маленький коллектив. Ребята деловито снуют по сцене.

Стол поистине царский. У всех единым разом вздох. От посуды отражается вечернее солнце. Ракитин крикнул. То-то!

Жених покашливает смущенно. Ему до угощения дела нет, он вегетарианец. Фрау тоже скромно так села, с уголка. Ракитин метнул тяжелый взгляд. Не нравится цапле... Да где они в Германии такое видели?

— Маша. Ты папке скажи, не ляпнул бы чего, — волнуется невеста. — Обидит ведь.

Муравьями снуют с подносами официанты в белых манишках. На сцене включают аппаратуру, бренчат на гитарах.

Лука Семеныч вспотел, утирается платочком. Пиджачок снял. Хлопает подтяжками, усаживает, подбодряет.

— Ну, начали потихоньку!

Упрашивать не приходится. Все возбуждены. Лука Семеныч:

— Слово родителям. Катерина Матвеевна!

Мать невесты поднимают услужливые гости.

Напутствует долго, сбивчиво. И наконец:

— Горько!

— Го-о-о-рько! — ревет стол.

Ансамбль играет туш.

Первый раз молодые осторожно целуются.

— Свидетель, — хлопочет Лука Семеныч.

Свидетеля силой отрывают от салата. И тот пробормотал что-то.

— Го-о-о-рько!

Веселье затрещало костром, в который плеснули

изрядную дозу бензина. Дядя Аркадий нацепил на вилку извилистый огурец. Размахивает ею.

— Го-о-о-о-рько, племянничка!

Фрау почти не ест, уткнулась в тарелку и отщипывает маленькие кусочки хлеба.

А свадьба уже выплеснулась из-за стола.

Ансамблик старается на совесть. Хриплым голосом мужик с бубном повествует грустную историю о дяде Ване и его вишнях. В зале топот и гогот. Все пляшут. Молодым что сидеть? Невеста вытщила жениха. И в круг. Прижалась, млеет.

— Тебя люблю, слышишь? Тебя... Одного, одного, одного.

К девяти часам уплясались до смерти. Гости бродят по залу. На лестнице толпа любопытных собралась — там двое парней выясняют отношения. Вернувшегося за стол Ракитина подгулявшие старушки встречают подвывом:

— И останетесь вы теперь сиротинушками. И уедет-то ваша доченька на чужбиночку да-а-а-л-ё-ёкую!

У того свой взгляд на вещи.

— Баба с возу, кобыле легче... Вторую кому-нибудь подарить, — зыркнул в сторону жены.

И с ходу подсаживается к фрау. Интересуется, как в Германии детей своих выдают. Фрау его не понимает. Ракитин победно ухмыляется. Врет ведь. А что? Икра ложками! Они там и в глаза такого не видели. Культур!

Старушки шепотком жалеют прежнего Валькиного жениха.

— Всем Леша хорош. И работяга, и непьющий, и не рвется никуда. А ждал Вальку-то, надеялся, горемычный. И как она, бесстыжая, в глаза ему посмотрит?

— Тю! Она свое отгуляла — и поминай как звали.

— Ой, милая! Теперь парень с панталыку собьется! Помяни мое слово! Не выдержит — уж больно ее любил.

Лука Семеныч весь извертелся. Умильная физиономия лоснится. Подкатился, прошептал горячо Ракитину:

— Молодых увозить пора!

— Рано еще, — рявкнул хозяин.

— Десятый час. Детей по соседям, немку — в гостиницу. Расплачусь и поеду на квартиру. Молодым при-

готовлю... А вы через часик. Пусть народ еще попляшет. Незаметно встаньте и...

Лука Семеныч убегает на кухню. Всех одарил — официантов, добродушного бегемота-повара. И себя не забыл — случайно затерялась в кармашке тоненькая стопочка.

Музыканты с трудом укладывают в футляры инструменты. Шум затих. Кого в сон не клонит, те еще подсаживаются к столу.

Позади подружки व्यюном вертится дотошливый свидетель.

— Пора, — кивает хмурая Маша. — Лука Семеныч такси прислал.

— Отстань ты, черт, — выговаривает сердито свидетелью. — Прицепился!

— Ягодка, — бормочет парень. — Женюсь, ей-ей... Хоть щас!

И пытается ударить себя в тщедушную грудь.

Рыжей Маше не до него.

— Нужен ты мне, — вздохнула. — Руки прочь!

Возле самой парадной, гукая филином, встречает молодую пару мстительный инвалид.

— Явились!.. Ты мне, Валька, скажи... Уважь! Это что получается?.. Мы кровь проливали, а ты за ганса? Да я, я... — Каким-то чудом удерживает костыли и гармонь. — Эх!

И, выворачивая мехи, гремит уже на всю улицу:

— Е-е-е-х-а-ал я из Берлина!

Курт шарается вслед за перепуганной невестой.

— Эй, встреча-а-а-й, с победой поздравляй!!!

Ночь. Бодрствуют часы в гостиной. Попискивает жалобно заблудившийся в занавесках комар.

— Что ты бро-о-о-одишь всю н-о-о-чь одино-о-око? Что ты де-е-е-вушкам спать не да-ё-ё-ешь? — заливается гармонь во дворе.

— Я тебе сейчас поброжу. Костыли обломаю об шею, — рычит Ракитин, высунувшись наконец чуть ли не до половины из окна.

— Что? Вашему гансу спать мешаю? Ничего-о, потерпит!

Подружке постелили в гостиной, в углу, где горбится пианино. Ночью дотронулся до нее кто-то. Спросонок подумала, что свидетель.

На кровати сидит Валентина в прозрачной сорочке.
— Что-о-о?

— Дура. Ду-у-у-ра, — подвывает распухшая от слез невеста.

— Да что с тобой?

Сна как не бывало.

— Подожди трястись. По порядку.

— Ду-у-у-ра!

— Да что случилось? Случилось-то что?

Валентина забилась в истерике.

— Толком скажи.

— Что скажи?.. Только легли, он мне сразу рот и заткнул.

— Чем заткнул?

— Лапой своей. Подожди, говорит, вначале сюрприз!

— Какой сюрприз?

— Прия-а-а-тный, — рыдает невеста. — Я, говорит, сюрприз для тебя сделал. Позже хотел преподнести, не сдержался... О-о-о!

— Дальше-то?

— Знаю, говорит, русская женщина без дома зачахнет... Зачахну, значит! Меня как предчувствие кольнуло.

— Постой. К чему клонишь?

— Как к чему? Остается здесь!

— Что???

— Остае-е-е-тся! Добился! В Сибирь поедем газопровод тянуть. На десять лет контракт подписал... О-о-о!

— Вот дает, — всплеснула подружка руками. — А ты? Ты что?

— А что я?.. Что я теперь, оболваненная? Хряпнула ему.

— С ума сошла! А он?

— Спросил, завела ли будильник.

— А ты? Сюда побежала?

— А я... Я еще раз хряпнула... Дура. Ду-у-у-ра безмозглая, — стучит зубами. — Тимофеева с курса, на что образина... Еще смеялись. А уехала ведь с эфиопом своим. Уехала! Господи. Позор-то, позор теперь какой перед всеми!

Старушки как в воду глядели.
Лешка-инженер удара не вынес. Завербовался с горя
на два года и укатил в Сенегал.

ЧЕРНОЕ, ЧЕРНОЕ КЛАДБИЩЕ...

рассказ

Страшный Тим появляется во дворе вечером, когда солнце только закатилось за водокачку, но никого из детей еще не позвали ужинать. Это потом с балконов тоскливые голоса пропойт: «Са-аша, домой!.. Петя!»

Пока светло, дети копаются в песочницах, качаются на качелях. Но когда у каждого дерева вырастает, тянется по земле еще один ствол и на улице темнеет, они бросают песочницы и качели, потихоньку собираются у разломанной скамьи.

Другие скамейки расставлены возле парадных и заняты взрослыми, зато эта, под акациями, в глубине двора — их! И не подпустят чужого! Они забираются на скамью, ждут, болтают ногами. Вечером появляется страшный Тим, розовым бутоном вырастает в кустах его физиономия.

Разумеется, Тим старше их, он уже в пятом классе, но сверстниками нелюбим, — да и кто с таким свяжется, посмотреть только на его рожу! Багдадский вор, воришка с пренахальной улыбкой и вызывающей шербиной (так удобно сплевывать!). Болтается везде. Все знает, все видел, всюду совал свой нос. С Тимом наверняка никто не водится, вот и пристаёт по вечерам к малолеткам. Привидения есть, и домовые, и прочая чертовщина — он умеет убедить их в этом. В густоте акаций появляется ухмыляющаяся физиономия, как всегда пугая ребятшек — выкачены глаза, шевелятся уши, сдвинута на лоб кепка «адидас».

Через минуту двор ломается надвое, прорастает дремучим лесом, скрипят Фантомасы, разъезжая на «кадиллаках», скачет к ближайшей парадной упырь, при-

жимая к себе захлебывающуюся визгом жертву, и жизнерадостно скалятся на чердаках черепа.

— Черное, черное кладбище!.. Холодные, холодные руки!

Сколько раз рассказчика с криками прогоняли со двора обозленные мамыши, у которых плакали по ночам впечатлительные Ленки и Алешки. Сколько раз грозились свести хулигана в милицию, если хоть еще раз посмеет сунуть сюда нос. Тим исчезает и появляется вновь, вырастая за кустами, терпеливо дожидаясь своего часа.

Дети ждут его, боятся, но ждут, хотя по ночам у многих зуб на зуб не попадает, стоит только вспомнить рожу с растопыренными ушами — не спасет никакое одеяло и никакая добрая сказка на сон грядущий. Но ждут на скамье, замирая, как кролики перед удавом. Они не выдают его — молчат и всё. Утирая глаза кулачками, на перекрестных допросах ревут ревмя, но молчат. А сейчас ёрзают, заранее содрогаясь, а тени деревьев окружают скамью со всех сторон. И вот с тенью самого большого дома, которая разлилась во дворе чернильным пятном, гукает и ухаёт в темноте акаций Тим.

— Все здесь? — вползает змеиный шепот.

И, замирая от сладкого ужаса, дети нестройно и плаксиво отвечают:

— Все!!!

Они протягивают Тиму припасенные конфеты, жевательную резинку, печенье. Это своеобразная дань за вечер ужасов. Тим хрустит печеньем, он старается сожрать все как можно быстрее — за день в смышенной голове его столько всего накопилось!

Тим жрет печенье и не удерживается от того, чтобы не пошевелить ушами. А когда уже наиболее впечатлительные, пригвожденные немигающим взглядом, перестают дышать, начинает:

— Черное, черное кладбище...

Он великолепен и ужасен, этот маленький очевидец кладбищенской жизни. Черной вороной парит над скамьей, бляя, каркая и рыча одновременно. Ему верят, верят каждому слову, ведь он сам видел, щупал это — разглядывал черепа, спасался от ведьмы, слышал, с каким скрежетом отламываются изнутри гробовые доски, он с покойниками не раз нос к носу сталкивался и знает, какие холодные у них руки. Тим витийствует. Ужас в глазенках, ужас, наконец апогей — нельзя уже больше выносить прикосновение холодных, холодных рук! Друж-

ный крик, дружный рев. Кто-то первым сорвался, отчаянно голося, загнанным зайцем мечется по двору. А Тим исчезает, исчезает мгновенно, как всегда вовремя, сопровождаемый проклятьями и стонами набежавших родителей.

— Все здесь? — спрашивает Тим сегодня, выныривая в самый подходящий момент, великодушно принимая и засыпая в карманы конфеты.

— Все! — трясутся маленькие зрители.

— На чем вчера остановились, малявки? — вопрошает король ужасов, шелестя оберткой.

— Черное, черное кладбище, — хором отвечают.

— Да, да, — кивает Тим многозначительно. — Черное, черное, пустое, пустое...

Среди малолеток один, сидящий с краю большелобый малыш с упрямо закушенной губенкой, ничем не отличается вроде от сверстников.

— Это кто? — грозно спрашивает Тим, прерываясь.

— Свой, свой, — спешат успокоить девчонки и мальчишки. — Новенький. Переехал недавно!

— Не накапает? — тревожится Тим.

— Не-е.

— Не накапаешь, малявка?

Малыш отрицательно вертит большой головой и дергает молнию комбинезона — поблескивают тревожно глазищи, — самый внимательный, самый запоминающийся.

Тим профессионал, он сразу начинает работать на новенького.

— Черное, черное кладбище, — подвывает. — Черные кресты и тишина! Тишина на кладбище... Где-то бьет двенадцать часов. — Тим вздрагивает и многозначительно подносит ладошку к пунцовому уху. — Вот! Слышите? Бьет... Бумм, бумм, бумм... Летают совы и мыши. И черный петух кричит!

Разносится над двором хриплый петушиный крик.

— Зашевелился черный крест. Бьет двенадцать, шевелится крест, и земля рассыпается.

— А, а, а! — вскрикивают все, кроме этого малыша. Тот слишком потрясен. Довольный эффектом, страшный Тим даже сам пожевывается. Сегодня он особенно вдохновлен:

— В саване первый покойник вылезает... Вот так. Глазенки распахнуты.

«Бумм, бумм, бумм», — заупокойно раскачивается над помертвевшим двором, везде теперь видятся раскиданные гробы. Дрожь пробирает малышей при мысли, что придется добираться до парадных.

— Покойники выходят! Выходят покойники! Холодные, холодные руки. Как камень могильный, холодные. И хват! Хвать тебя! — неожиданно орет Тим, хватая холодными пальцами ближайшую девчонку. Пальцы — ножницы для натянувшихся нервов, нервы лопнули. Пискнув, девчонка свалилась со скамьи. Остальные, заорав, прыгнули, заметались, натываясь друг на друга, кинулись врассыпную от объятий мертвецов, а холодные, холодные руки хватают сзади, и хохочет, и свистит страшный Тим.

— А ты чего не убежал? — спрашивает новенького.

У того глаза поблескивают маленькими недоверчивыми лунами.

— Чего не убежал-то? — повторяет Тим недовольно.

— Они выходят? — шепчет потрясенный мальчишка.

— Кто?

— Мертвые?

— А! Покойники! — обрадованно кивает Тим, чувствуя, что еще не все потеряно с этим малышом. — Выходят... Ровно в двенадцать выходят из могил. Каждую ночь, честное слово, сам видел! В саванах, у, у, у...

— Ровно в двенадцать? Правда?

— Да, да, и зубами лязгают от холода, вот так...

Однако мчится к скамье наиболее расторопный родитель, успев сорвать на ходу пучок крапивы, и Тим ретируется.

А ночью, в пустоте белого кладбища, там, за городом, спокойно, как всегда. Мирно спит кладбище, и весело выщелкивает в кустах соловей. В глубине березового леса, затерянный среди других оградок и памятников, маленький прямоугольник могилы. Рядом низкая скамеечка. Забрался на нее ребенок, чудом доехав, чудом найдя наконец. Проплутав столько в лесу и разыскав все-таки. Сопит обманутый мальчишка в огромном мирно спящем лесу.

— Врун! — твердит горько. — Врун! Вру-ун!!!

Поблескивают взятые из дома часы. Упал на землю, закатился куда-то фонарик.

Двенадцать давно минуло, а бабушка так и не вышла...

МЕСТО РОЖДЕНИЯ



Людмила
Волчкова

маленькая
повесть

Ночью, когда детей после кормления унесли, роддом почти сразу же заснул, и дневной свет горел в палатах только ради нескольких матерей, сонно сцеживающих молоко. А Галя и Таня побрели на процедуры.

На столе у акушерки — треугольные плоские часы. Значит, никто не рождает, подумала Галя словно сквозь туман. Обычно часы висят в предродовой палате, и во время схваток роженицы с бессильной надеждой следят за минутной стрелкой. Галя отметила про себя: «Десять минут первого», — и тотчас забыла, который час. Пришлось смотреть снова.

Очертания предметов были размыты. Кружилась голова. Поле зрения сузилось, и, только посоображав, она поняла, что ищет на подносе среди других пузырьков зеленку. Чтобы уловить смысл разговора сонной акушерки с родильницами, Гале приходилось делать над собой усилие.

— Да здесь же потоп! — воскликнула Таня перед маленькой тесной процедурной.

Акушерка равнодушно объяснила — это поступает молоденькая цыганка, ей велели обмыться под душем, а она целую баню затеяла, голову моет, плещется.

Из угла, отгороженного шелестящей полиэтиленовой занавеской, текли потоки воды.

Пожилая женщина врач махнула рукой: пускай. И, неловко прыгая по мокрому кафелю, пробралась следом за Таней в кабинет.

— Каждый шаг стоит миллион! — сдавленно пробормотала Таня. Она шла к палате нагнувшись, медленно, словно несла на плечах живое существо, которое нельзя

потревожить. Говорила сосредоточенно, будто самой себе: — Ох, неужели это когда-нибудь кончится?!

Галя, наоборот, слова произносила захлебываясь, даже и теперь, с высокой температурой.

— Кончится,— великодушно пообещала она.— Видишь, мне же легче. А два дня назад все было, как у тебя.

Галя выглядела почти хорошо. Она относилась к тем счастливицам, которые словно родились с уложенной прической, с кожей без пятен и родинок и спортивно развернутыми плечами. Только одышка показывала, что у нее жар.

— Ты на год моложе,— засомневалась Таня.— Тебе два переливания делали, а мне уже три.

— Позавидовал лысый плешивому. Так у меня зато...

Есть люди, которых утешают чужие несчастья. А Таню надо утешать, думала Галя, ей действительно хуже, чем всем, кого перевидала пятая палата за последние дни. К Тане первой идут врачи при обходе. Соседки, прежде чем сесть за стол, ставят на тумбочку возле ее постели кашу и чай. Хотя та ничего не ест. Даже не трогает завлекательные баночки и пакетики, завидев которые бестактная Растрепя спросила, где работает Танин муж. Та ответила — в исполкоме. Без многозначительности, без скрытого торжества. А Галя стала высчитывать, какие сутки лежит здесь Растрепя, и оказалось, конечно, давно. Невозможно представить, чтобы такой вопрос задал кто-нибудь в первые дни после родов. В этом сокровенном, замкнутом мире женского братства мужчины и разговоры о них исключались. Говорили (сразу же на «ты») о беременности, о первых схватках, о поступлении в роддом, о врачах, о той палате, откуда перевели сюда, в патологию...

Галя втихомолку радовалась, что никто не спрашивал ее ни о чем другом... Только о самочувствии, о возрасте, об акушерке, о женской консультации.

Работа, должность, квартира, муж — все, что может возвысить, не упоминалось в разговорах. Ведь ничто так не объединяет, как переживаемое вместе страдание, и не подкупает, как искреннее сочувствие. Не сердились даже на крики ночных рожениц. Говорили негромко:

— Еще какая-то мучается!..

Перед выпиской это уже отступало. «Быстро же ко всему привыкаешь»,— думала Галя, слушая, как дежурные акушерки покрикивали в предродовой палате:

— Ну, ну, расшумелись! Совесть поймите — спят же люди!

Впрочем, Растрепа и вообще-то шла наперекор написанным больничным правилам. Самоутверждалась. Уж в очень неприглядном свете представила ее старая акушерка, когда привела в палату:

— Халата нет. Зато, гляди, пододеяльник почти новый. Я б тебе не то что новый пододеяльник, я б тебя убила за твое поведение! Говорю ей: «Тужься! Задохнется же ребенок!» А она: «Не хочу! Не могу! И не буду!» Какая ты мать? Уж второго рожаешь, пора бы и наловчиться.

Окончание этой истории Галя не расслышала — у нее опять все поплыло перед глазами, и очнулась она, когда Шура, толстая флегматичная соседка, рассказывала, какой видела Растрепу на следующий день после родов:

— Идешь ты по коридору, глаза ничего не видят, выпучила. Лохматая. В одной рубашке...

— Халата ж не дали!

— ...смотришь, как сумасшедшая. Акушерка тебе говорит: «Иди ляг, накройся одеялом, чтоб тебя никто не видел!»

Пытаясь подавить смех, все придерживали руками животы, однако хохот побеждал боль.

Имя у нее не спросили, обращались к ней редко, и она, видимо, чувствовала себя отверженной. Это была рыжеволосая пухлая женщина лет двадцати шести, а после оказалось, ей двадцать. Когда мечутся в предродовой, у всех-то прически курам на смех, но у Растрепы всегда волосы торчали в разные стороны, словно после неудачной химической завивки.

Держалась она подчеркнуто независимо. Когда приносили детей, ворковала над сыном в отчужденной тишине палаты:

— Ох ты, Пухлатик! Мурлатик! Жемчужный мальчик! Ух такой жемчужный, цветочный, солнечный!

«Скажите, пожалуйста, — думала Галя с раздражением. — Как будто у всех остальных не красавцы и умницы, так что ж — кричать об этом теперь?!»

А Таня однажды не выдержала и тихо, похоже с ироническим восхищением сказала, когда Растрепа вышла в коридор:

— Я на нее — умираю...

Было ясно, Растрепа не прижилась.

У нее не спрашивали, как начались роды, и долго ли она сидела дома, и кто принимал. У нее ничего, ничего не спрашивали! Конечно, она обижалась. Остальные ведь только о своем состоянии и говорили. Теперь, подружившись, все чаще вспоминали семьи. Лишь Галя старалась обходить эту тему. Сообщила лишь, что муж — офицер, что сама живет с его матерью, которая слегла в больницу. Не бывает разве?.. Вот приехала сюда рожать, а свекровь как раз надумала болеть, поэтому и не навещает.

— Может, он к выписке приедет? — спрашивали ее.

— Не-ет! — уверенно говорила Галя. — У них не отпускают.

Конечно, не приедет! Все между ними кончено. Да если бы и собрался приехать — срок рожать Гале наступал только через две недели. С девочками часто не дохаживают.

Гале и в голову не пришло, что начинаются роды, когда она проснулась ночью в своей пустой квартире. Правда, за два дня было знамение: перед сном она мыла грудь холодной водой, как советовали в консультации, нажала на потемневший, грубый теперь сосок, и вдруг на нем выступили полупрозрачные капельки молока. И все в ней замерло, отступило — ссора с Вадимом, раздражительность последних недель, забота о приданом для ребенка. Она вдруг почувствовала себя частью природы, такой же неотъемлемой частью ее, как лес, поле, река. И поверила наконец, что неотвратно — дайте срок — обязательно родится кто-то. Ее собственный ребенок. Она стала свободной, потому что подчинялась теперь только вечным законам. Стала независимой от мелочей. Ребенок продолжит ее жизнь и когда она умрет.

Галя отыскала на полке энциклопедию и прочитала, что молозиво появляется иногда даже в середине беременности, но уснуть уже не смогла.

Ей хотелось, чтобы это была девочка, и Вадим соглашался. Пусть. В те времена он делал вид, что любит будущего ребенка. Но — кончено! Утром Галя сложила оставшиеся рубашки Вадима в чемодан и поставила на видное место, чтобы при первой возможности переправить ему. Кончено, значит — всё!

Не надо было ей носить по квартире его вещи —

следующей ночью и началось. Заныла поясница, и тут как тут явился страх. Ехать? Уже?.. Может, пройдет? Может, вообще не будет никаких родов, а сделают операцию, и никакой боли?.. Гале хотелось найти удобную позу, затаиться и лежать с закрытыми глазами, как будто ничего особенного не происходит. Но поза не находилась. Мешал большой безобразный живот. Невозможно было представить, что ее «я» — пусть новое, с этим огромным животом, но которое Галя ощущала, как принадлежащее только ей, — вдруг раздвоится.

Часа через три беспокойства — она то вставала, то пробовала читать, то отправлялась на кухню съесть что-нибудь — решила ехать. Выложила на видное место белье для ребенка (соседи принесут) и для чего-то подмела пол в комнате, выбрав минуту между схватками. Потом положила в полиэтиленовый пакет зубную щетку, мыло, медицинскую карточку и отправилась умирать.

Часы у соседей пробили пять утра.

Снег по-деревенски поскрипывал, когда Галя тяжело шла через дорогу, чтобы позвонить из автомата в «Скору». Воздух был мягкий.

Машина приехала минут через двадцать. За это время от ходьбы или от волнения схватки у Гали почти прекратились, и она уже раздумала умирать, а собиралась вернуться домой, когда в темноте улицы мелькнул маленький, с красным крестом фонарь на крыше «скорой». Галя со вздохом устраивалась в кресле. Пожилой фельдшер в пальто поверх белого халата как бы водителю сказал:

— Обнимать было кому, а провожать — так нет... Едем!

Галя, превозмогая боль, в тон ответила:

— Так ведь хоть десять человек провожай, рожать все равно самой.

У ворот четырехэтажного родильного дома фельдшер негромко сказал в спину Гале:

— Ни пуха ни пера. (Словно та отправлялась за добычей.)

На душе у нее стало спокойнее...

Утром за стеной слышен детский плач.

Галя думала раньше, что все младенцы кричат одинаково: «Уа!» Но оказалось, у каждого свой тембр и

свои позывные: Сначала из детской несется два-три голоса: «Ня-а-а!..», «Ля-а!», «А-а-а!» Потом матери сквозь сон слышат целый хор обиженных, возмущенных, жалобных голосов. И наконец, в коридоре звенит звонок, значит, надо умыться, надевать косынки и марлевые маски, готовить специальные пеленки, чтобы не перенести инфекцию на «одежки» детей.

Уже половина шестого. Звонок в коридоре. Хочется спать, но досадливых вздохов не слышно — все успели за ночь соскучиться по своим малышам.

Быстрым плавным шагом входит в палату сестричка Марина. Очень красиво она держит детей. Два туго спеленатых поленца с розовыми личиками лежат вдоль ее рук. Головки где-то на уровне подмышек. Смешные.

— А вот мое! — ласково говорит Таня. Он родился больше пяти килограммов, узнать легко.

Марина соглашается:

— Ваше оручие.

— Сильно плачет?! — пугается Таня. Она чувствует себя виноватой, у нее все еще нет молока. Правда, после родов прошло только два дня, и молоко должно появиться, но пока кормить нечем, и Таня каждый раз просит своих соседок Шуру и Свету не выливать в раковину сцеженные капли.

— Да тут всего ложка!..

— Уж не ленись, пожалуйста, отнеси в кастрюлю. Накорми моего мальчика.

Таня узнает своего сына по басу и считает, что он всегда голодный. Так что замечание сестры попадает в «десятку».

— Сильно ли плачет? — напевно переспрашивает Марина. — Да уж свое возьмет. Из горла вырвет. — И она смеется, утешая смехом Таню.

Хотя опасаться есть чего — вон какая бледная, круги синие под глазами, нос заострился. Крупная женщина, а молока при таком самочувствии можно и не дожидаться. Но этого медсестра Марина, конечно же, не говорит, идет дальше со вторым ребенком.

У Растрепы Пухлатик-Мурлатик все время спит, не откликается на ее ласковые призывы. Марина советует потеревить его за щечку, за носик. Она даже помогает распеленать плотный сверточек и сама принимается трясти мальчишку, но отклика нет — ребенок не просыпается. Наверное, долго кричал в палате и его покормили.

Между делом вспомнили, что ночью никого не было слышно, похоже — не рожали. У Марины спросили, как там вчерашняя цыганка. И выяснили, что схватки у нее вдруг прекратились, она до утра проспала и теперь просит завтрак и, наверное, ее переведут в отделение патологии беременности.

Когда Галю завели в предродовую, там уже были двое. Одна неподвижно лежала на кровати у окна, а вторая ходила в ситцевой короткой рубашке и тонко вскрикивала: «Мамочки! Ой, мамочки!» В перерывах между схватками она била себя по бедрам и причитала:

— Да что же это я?! Девочки, ничего, что я кричу?

— Кричи, Тамара, кричи, — успокаивали ее. — Что ж такого.

Хотя в консультации на занятиях по обезболиванию родов их учили, что надо держаться приличнее. «А то все вы, — говорила врач, торопливо отчитывая их (на будущее), — совершенно забываете про свое образование, про возраст и ведете себя одинаково безграмотно: не слушаетесь акушеров, тратите драгоценные силы на бессодержательные вопли».

Ну, тут она была не права. То есть, конечно, криком делу не поможешь, думала Галя, но по содержательности их можно разделить на три категории. Одни роженицы зовут врачей: «Да подойдите же кто-нибудь! Сделайте же что-нибудь!» Другие, как Тамара, вспоминают мать: «Ой, мамочка!» Третьи призывают бога: «О господи, за что это мне!»

А в родовой вместо осмысленных вскрикиваний слышны одинаковые неженские стоны-рычания, и тогда в палатах говорят:

— Ну, теперь уж скоро. Сейчас родит.

И действительно. Акушерка подхватывает новоявленного синенького, скрюченного гражданина и спрашивает замолкшую мамашу:

— Кого ждали? Мальчика? Девочку?

И только тут приходит к той понимание, что все мучения позади. Человек родился.

Когда Тамару позвали в родовую, Галя разговорилась с соседкой Надей, той, что лежала у окна. Первого ребенка Надя родила спокойно и сейчас надеялась

обойтись малыми жертвами. Галя прониклась ее настроением, но тут появилась акушерка ночной смены, видимо недавняя выпускница медицинского училища.

— Лежите? — деловито спросила она. — Не кричите еще? — Наверное, ей хотелось вовремя уйти домой.

— А мы совсем кричать не будем, — бодро пообещала Галя в надежде на похвалу.

Но девочка в накрахмаленном халатике уничтожительно усмехнулась: дескать, знаю я вас, дождайся. Потом сказала, что кричат все, и не только здесь, а везде, во всех роддомах кричат все.

— А вот мы не станем! — повторила Галя и с ужасом почувствовала, что теперь из одного упрямства должна молчать. Сколько ей досталось в жизни из-за этого дурацкого характера! Надя вот не зарекается...

И тут начались настоящие схватки. Маму звать в Галином возрасте было стыдно. Акушерку после стычки — и вовсе невозможно. Оставалась последняя инстанция, и Галя взмолилась потихоньку:

— Боже мой, боже мой! Господи, помилуй!..

Стрелка на часах сделала пол-оборота, и призыв Гали был, как ни странно, на небесах услышан. Боль внезапно исчезла. Можно было отдохнуть и подготовиться к ее новому нападению. Главное, убедить себя в том, что событиями она руководит сама.

Шура рассказывала в палате, что первые роды у нее протекали легко, но так обидно было мучиться одной, что, вернувшись домой, она всю первую ночь плакалась мужу, жалея себя. И он ее жалел.

— А теперь, наверное, две ночи проплачешь? — спросила смешливая Света. Настроение у нее с утра было легкомысленное.

— Не-а, — равнодушно откликнулась Шура. — Это моя инициатива — второго рожать. Он меня отговаривал: «Будешь потом жаловаться, что всю жизнь за стиркой да за плитой провела». А я боюсь, с Оксанкой вдруг что случится, как без детей?!

Если не слышать рассудительного голоса Шуры, а просто смотреть в ее круглое лицо с нешироким лбом и коротенькими бровками, можно подумать, что человек она недалекий. И это обманчивое предположение как будто подтверждалось ее привычкой тарашить круглые глаза на собеседницу, словно Шура не понимала, о чем идет речь. Но, выслушав, она произносила какие-то безбоязненные, нагие слова, и легко было представить, как

у себя в бригаде на стройке она разговаривает тем же маловыразительным, тихим голосом. И что Шуру там очень любят. Да и в малосемейном общежитии, там, где у Шуры комната, тоже. И всем Шура своя.

У остальных желание помочь друг другу казалось временным, послеродовым, у Шуры ее доброта была повседневной и носила форму даже скучноватую. Думая о чем-то своем, она протирала пыль на тумбочке Тани, помогала нянечке снимать со стола-каталки еду и с очевидным безразличием принимала изъяснения в благодарности. Она живо откликалась на чужие страдания.

Света морщилась и стонала, вкладывая сосок в безжалостный ротик дочери:

— Как тупой пилой пилит!..

Шура успокаивала:

— У меня в прошлый раз с Оксаной то же было. Боль такая, хоть глаза закрывай и ногами в стену упирайся. Трещины — это пройдет, мажь на ночь зеленкой.

Света, существо изнеженное, балованное, переживала еще и оттого, что в первые дни не хватало молока. Она с легким кокетством жаловалась:

— Не молочной я породы. Не мясной. Какой же?

Таня, повернув голову на подушке, со скрытой иронией отвечала:

— Декоративной!

Смеялись...

У Светы был круглый ровенький лоб. Волосы, туго затянутые на затылке, росли впереди мысками — лоб словно светился. Когда после капельницы у нее поднималась температура, Света начинала плакать в подушку. Было ясно, что страдать она не готовилась и не умела.

— Умру я здесь. Не выйду отсюда.

Чтобы ее ободрить, Шура шутила:

— Вот на твоём месте лежала одна, тоже все боялась помереть, а через день выписали. Говорят: места нужны — люди в коридорах у нас. Не барыни — дома долечитесь.

— Когда уж меня выпишут?! — вздохнула в углу Растрепя.

Утром приходила детский врач, высокая блондинка, прятая руки в карманах халата. О детишках она рассказывала мало. Только и знала вопросы задавать: есть

ли молоко, почему маленькие прибавки в весе? Растрепе она строго пообещала задержать выписку из-за падения веса ребенка.

— Так что же я сделаю?! — принялась отчаиваться та. — Не могу разбудить!

Подвел ее Пухлатик-Мурлатик.

Но врача никакие отговорки не тронули. Растрепе помрачнела и разговорилась немного лишь к вечеру:

— Может, меня выпишут завтра?

— А кормила? — подала голос Шура.

— Н-нет...

— Ну, тогда точно выпишут, — насмешливо сказала Шура, и все, кроме Растрепы, засмеялись, придерживая животы.

Света же заметно ободрилась: не у нее одной неприятности. Но температура у нее не снижалась. Объяснение (это — чисто нервное) палатная врач Вера Марковна выслушала с милостивой улыбкой недоверия. Тогда Света упросила ее перенести время измерения температуры на вечер, когда приходит муж. Она ставила градусник под мышку и отправлялась переговариваться через окно. Муж утешал:

— Не будет никакой температуры, не выдумывай. Скоро выпишут. Днем раньше, днем позже, не страшно.

И в самом деле, столбик ртути не поднимался выше тридцати семи градусов. Это удивило Веру Марковну. Она даже согласилась повторить опыт завтра. А вся палата хором засвидетельствовала, что Света — человек впечатлительный и легко поддается внушению. Повеселевшая Света после ухода врача снова поставила себе градусник, решив сосредоточенно вспомнить увещания мужа. И — чудо! — температура опять оказалась нормальной.

Кровати Светы и Гали оказались рядом. И Света однажды услышала, что Галя называет свою дочку Рыбчковой да Деточкой.

— Не придумала еще имя? — громко спросила Света. — Наверное, с мужем будешь советаться, да?

В палате замолчали, а Галя промямлила в ответ неопределенное:

— Надо бы... — и после этого долго молчала.

Шуру тоже не хотели выписывать то из-за отсутствия прибавок в весе ребенка, то из-за температуры. Жар

спадет — анализы плохие, анализы улучшатся — у девочки не пропадает желтушка.

Когда вечерами к окну подходил Шури́н муж, она прятала слезы и кричала сквозь двойные стекла:

— Ты ленту розовую купил, одеяло заворачивать? Нет? Ну и не торопись. Мы отсюда в пальто уйдем. Не выписывают опять. Я говорю, валенки ребенку покупай! В валенках уйдем, своими ногами.

А вначале, когда вес девочки, как это и положено, падал, она еще бодрилась:

— Ничего! Лишь бы выйти! Родились с весом три пятьсот, так домой хоть бы килограмма два донести. А там сядем на кефир...

— Почему на кефир? — удивлялась Света.

И Шура рассказывала, что вопреки мощному телосложению с молоком у нее и в тот раз было неважно. Встала как-то утром, а ребенка кормить нечем. Пустая грудь. Оксанка кричит. Шура — в плач. Говорит мужу, чтоб шел в магазин за кефиром. Ничего. Месячный ребенок, а съел почти полный стакан.

— Да разве магазинным кормят?! — ахнула Света.

— А я знала?!

Врач приходит, спрашивает про вскармливание. Кефир? Ну и ладно. Думает, что с молочной кухни берут. Только через полгода разобрались. Уж и шуму было! Но ведь — ничего, выросла девчонка. В весе здорово прибавляла.

Можно и за детским питанием ходить, только бы домой!

Галя не понимала, куда торопиться. Всех-то забот: ешь и ребенка корми. О выписке она думала со страхом. А Растрепа вздыхала: «Скорее бы, хочется вымыть Пухлатика-Мурлатика». Нарочно опытность свою демонстрировала, словно поддразнивала Галю. Домой!

И через окно, единственное, у которого открывались внутренние рамы, эта тема обсуждалась всем отделением постоянно. Если бы только эта! Окно в коридоре было как раз напротив пятой палаты. Сквозь него было видно трубу котельной в шапке хмурого дыма, несколько черных высоких деревьев, двухэтажное здание детской больницы за голубым штакетником. Все покрывал снег, лишь труба чернела восклицательным знаком на снегу.

Из-за переговоров, которые велись через окно в полный голос, пятая палата была в курсе дел всех пациен-

ток отделения. Даже женская солидарность не спасала от осуждения, и Таня с тихим негодованием хмыкала: — Ну, вернешься домой — расскажешь. А зачем на весь коридор-то орать?! Всея толпе сообщает..

Возмущалась она негромко, словно разговаривала сама с собой.

Впрочем, посторонних за окном не было. Приходили «болеельщики» из числа родственников, подруг, сослуживцев. Иногда под окном разыгрывались целые семейные сцены.

— Я тебе кого заказывал?! — возмущался сильный голос. — А ты кого родила?!

Жена оправдывалась, и вся палата безоговорочно приняла ее сторону.

— Ой, лихо моей голове! — с непередаваемым презрением сказала Шура. — Он заказывал!.. Мучайся тут, ага!

Что и говорить, остальные держали руку Шуры.

Обычно толпа посетителей собиралась под окном ближе к вечеру, когда принимали и передачи. Вместе с пакетами яблок, с бутылками кефира и банками сметаны поступали записки. А санитарочка кричала, прежде чем с поклажей для третьего и четвертого этажей вознестись на лифте:

— Смирнова из второй палаты! Белоусова — из пятой!..

Это означало, что передача уже стоит на кушетке в коридоре. И дальше:

— К окну подойдите.

Наскоро поправив слежавшиеся волосы, стараясь подтянуться и не слишком шаркать ногами, счастливица, запахивая полы халата, представала перед толпой. Под окном расступались и пропускали вперед ее посетителей. Шел доверительный разговор, полный медицинских терминов и сокровенных подробностей. Заканчивался он почти всегда одинаково — что принести.

— Я и этого не съедаю, — испуганно отвечала больная. — Здесь хорошо кормят.

— Прямо!.. Хорошо! — тихо усмехалась Таня.

Но кормили в самом деле прилично. Акушерка перед обходом главврача открывала холодильник и, ругаясь на весь коридор, выбрасывала с молчаливого согласия палат испорченные продукты. А однажды Галя сама видела большую кисть замечательного синего винограда, брошенную в плетеную урну.

— И ведь с базара, рублей пять стоит!

Женщина рядом равнодушно взглянула на виноград и с чувством ответила:

— Это еще что. Хлеб даже выбрасывают.

В коридоре выкрикнули фамилию Тани — пришел муж.

— Не пойдешь к окну? — с сочувствием спросила ее Галя. (К Тане уже приходили знакомые. Она выйти не смогла, а передала записку.)

— Надо, — вздохнула Таня, с трудом поднимаясь. — Вчера не подходила. Что подумает? «Совсем уж...»

Она вернулась через полчаса. Посетовала — народу возле окна полно, а он же такой, кричать не будет. Стоит и смотрит молча.

— Я ему говорю: «Не выйду отсюда. Так и начну из больницы в больницу переезжать». А он: «Сколько надо, столько буду приходить к тебе». Вот и весь разговор.

Однако она повеселела. Не то что утром, когда ей ставили капельницу и вновь поднялась температура.

Вечер стоял теплый. Даже сквозь стекло снег казался рыхлым, влажным. Хотелось его помять в ладонях, кинуть в сугроб тугой снежок. Хотелось вдохнуть чистого воздуха и пройтись хотя бы до ворот.

Совсем поздно, когда посещения закончились, а в палатах кормили детей, Галя услышала какой-то шум, потом задрезбезджал жестяной подоконник и над закрасненной «слоновой костью» половиной окна возникло виноватое лицо мужчины.

— Девушки, эй! Шорину позовите! — попросил он.

— Вот мы милицию сейчас тебе позовем! — откликнулась Света.

Он ничуть не испугался, а, разглядев лица, отправился к другому окну. Через стенку было слышно, как кто-то сердобольный спрашивал, когда Шорина родила, в какой может лежать палате.

Поскольку муж не знал ничего, он пошел по всему периметру роддома. Наконец выяснилось, что Шорина только что поступила, лежит в предродовой. Он заглянул туда и, видимо успокоившись, принялся бродить под окнами.

Утром всезнающие санитарки рассказывали, что у Шориной родился семимесячный ребенок, матери его даже не показывали, больно плох. А родила преждевре-

менно — муж побил. Вставать ей не разрешили. Вечером под окно приходила свекровь, плакала и рассказывала случайным слушателям, что невестка-бедняга и денечка в декрете не была. Молодая совсем, слабая... И неужто денег вовсе не заплатят?!

В пятой палате гадали, выживет ребенок или нет. Света рассказывала, какая замечательная врач-педиатр была у них на четвертом этаже. Ну, та, которая прихрамывает. Тоже лежал в отделении один недоношенный, так она домой со смены не уходила, оставалась ночевать, спала возле него и — выходила. Говорят, своей семьей нет, жалко. Очень детей любит.

Да и на третьем этаже детский врач душевная, хоть и молодая. Без бумажки детей помнит. Каждой матери что-нибудь новое про ребенка расскажет — у кого пуповина отпала, кто как ночью спал. Гале сказала:

— Мы изящные, но активные, — потому что вес у девочки был небольшой. И Галя совершенно этим успокоилась.

В «патологини», кажется, интересовались в основном материнским здоровьем, рассуждала пятая палата. Им, врачам, небось думалось: если дети здоровы, так зачем огород городить. Вот и на этот раз детский врач отказалась выписывать Растрепу, обозвала всю палату «безмолочной» и ушла. Растрепка даже всплакнула, но Шура одернула ее:

— О ребенке думай, а то совсем пропадет молоко — замучаешься со смесями.

— А! Все надежды мои оборвались!..

В это время вошла акушерка и ласково объявила об уплотнении: в пятую палату переносили койку бедняги Шориной из коридора.

— Ну, во-от, — протянула Света. — И так ни пройти ни проехать!

— У кого щи пустые, а у кого — жемчуг мелкий! Расстроилась! — негромко сказала Шура, и все при молкли.

Галя думала о том, что она все-таки счастливее этой Шориной, главное — здоровье, пропасть не дадут. Она вздохнула, жалея себя, и принялась выбирать яблоко потверже, из тех, которыми поделилась с ней Таня.

Шура вспоминала, как приходилось ей ссориться со своим Толиком. До драк, правда, не доходило. Еще чего не хватало!..

Таня гладила живот справа и прикидывала, насколько

ко хуже чувствовала бы она себя, если б еще и сын оказался в тяжелом положении. Бедолага эта Шорина!..

Света обиженно поглядывала на Шуру и мысленно с опозданием ей отвечала. Ставила Шуру на место. Воображала! Все сочувствуют, конечно, а палату могли бы найти и попросторнее... И Света затаила раздражение против Шориной.

А Растрепа, безуспешно пригладив крашенные рыжие волосы, обдумывала план ухода. Под расписку. Вот молоденькая цыганка, которая все ж родила, настояла на скорой выписке. Дала письменное обязательство забрать ребенка, получила свою одежду и махнула домой — за детскими одежками. Значит, и ей не откажут. Не имеют права насильно держать! Ребенок здоров, в весе прибавит дома.

«Все вы против меня, а мне хватает и своего горя» — вот что было написано на опавшем остреньком лице Любы Шориной, когда она шла к своей кровати. Глядя на ее самолюбиво поджатые крупные губы, новые соседки невольно усомнились: и такая самостоятельная позволяет себя бить?!

Разговаривать она не хотела.

Перед обедом под окнами засвистели, потом над закрашенной половиной стекла возникло смущенное лицо Шорина. Темные мелко вьющиеся волосы скрывали лоб. Короткая верхняя губа придавала лицу недовольное выражение. Люба отвернулась.

— Ну... вы там! Шорину позовите!

— Пойдешь? — шепотом спросила Шура, поглядев в дальний угол, где стояла кровать Любы, и, не дождавшись ответа, крикнула:

— Нельзя ей! После капельницы. Не подойдет!

Шорин выругался, спрыгнул вниз, а Галя взобралась на стул возле окна и откомментировала:

— С парнем каким-то уходит.

— Это с автоколонны. Один он стесняется, — неожиданно подала голос Люба.

Все возмущенно загалдели, но Люба, не возражая, отвернулась и снова замолчала. Тогда Света сказала в сердцах:

— Еще появится, когда я тут сижу нараспашку, ребенка кормлю, точно — нажалуюсь главврачу!

А Галя снова почувствовала дурноту, покачнувшись и осторожно слезла со стула.

На следующий день, в субботу, во время обхода пришел дежурный из «чистого» отделения. На нем были больничные парусиновые брюки, белый халат и золотая цепочка на могучей шее.

— Мужчина! — обрадованно заволновалась Света, оправляя постель. — Я его сейчас очарую и уговорю выписать.

Растрепа тоже вскинулась и с ожесточением взялась за расческу. Конечно, здесь она нервничает, вот дома успокоится и молоко прибудет.

— У вас все в порядке, — добродушно сказал красавец врач, глядя в историю болезни Растрепы. — Ребенок здоров?

— Здоров! — поспешно воскликнула Растрепа. И соврала: — Нас выписывать собирались, можно домой звонить?

Врач поколебался. Наверное, его уже подводило легкоеверие. Но в коридоре на кушетках лежали шесть родильниц, и он согласился: ладно, отпускаем.

Света кротно спросила:

— А меня?

— И вас.

Шура безнадежно тоже принялась проситься домой, но напрасно. Галя с Таней вообще помалкивали. Куда им было до Растрепы и Светы?

В это время в палату решительно вошла главврач с властными бровями и строгим взором. Полистав историю, она подошла к Тане и громко спросила:

— Ну, что у нас тут?

— Мне лучше, — извиняясь, сказала Таня. — Только швы болят...

Главврач ответила, что должны болеть, и добавила всем в назидание:

— Дотянут до тридцати, потом рожать надумают. Что так долго собирались, красавицы?!

Таня растерянно промолчала, а Галя подсказала ей со своей койки:

— Всё дела разные...

— Да, — робко поддержала Таня. — То одно, то другое, знаете...

Главврач с неудовольствием посмотрела на Галю (и до тебя, мол, очередь дойдет), потом строго сказала, что никакие такие дела не должны мешать женщине рожать вовремя. И завела речь о претензиях, пожеланиях.

— О питании не спрашиваю. Никто еще не жаловался. Вы довольны?

Наверное, она при этом как-то особенно посмотрела на Таню, потому что та поспешно ответила, что всем довольна, питание очень хорошее.

Напоследок суровая главврач сказала, чтобы поднять активность пятой палаты:

— Если не будет чистоты, не уберете передачи в тумбочки, детей кормить вам не принесут. Приду — проверю!

Все ошалело молчали после ее ухода, а Растрепа радостно укладывала молочные бутылки и банки из-под сметаны в яркий полиэтиленовый пакет.

Подоспел обед.

Растрепа есть отказалась. Она стояла у заветного окна в коридоре и ждала.

— Не придет, может, — пошутила Шура. — Останешься голодной до ужина. Ешь!

Но Растрепа даже не ответила.

Четверо выписанных уже толпились возле столика акушерки и принимали из ее рук необходимые для регистрации ребенка бумаги. Растрепа все ждала.

Собственно говоря, ну и что такого? Выписка продолжалась до шести вечера. Официально. А на самом деле, пока не приедут родственники. Так нет, подавай им встречу ровно в два, и только!

К этому времени возле роддома мелькали машины-такси. Водители тоже знали.

В половине третьего Растрепа с потемневшим лицом вернулась в палату и легла носом к стене. Все тактично молчали. А Шура, сознавая свою вину, — накаркала — принялась с понурым видом убирать со стола.

Тогда Таня сказала:

— Ничего! Ты-то вечером уже дома будешь, а нам тут на процедуры ходить.

Растрепа подняла от подушки мокрое лицо и, всхлипывая, стала кричать, что ни в какой такой дом не поедет, а прямо на автовокзал и в деревню, к маме! Вся жизнь у нее так! Другие люди как люди, а этот даже сегодня не мог вовремя явиться!

Таня растерялась и стала утешать: «Да мало ли какие у человека дела? Не надо волноваться — молоко пропадет».

Но тут Растрепу позвали, и она, счастливая, все забыв, снялась с места.

Света уже ушла в детское отделение. А Шура, Таня и Галя стояли у окна, дожидаясь выхода новоотпущенных. Какими разными проходили мимо те, кто только что сменил ситцевые застиранные халаты на свою привычную одежду! Оставшиеся словно впервые их видели.

Неужели это смешливая полудевочка Света? В норковой шапке и дубленке, с высокомерным выражением личика? Обернулась к окну, на секунду опять стала кокетливой, свойской и — поплыла в открытые ворота, как такси, держа в руке хризантемы.

Растрепу и вовсе было не узнать — дама! В шубе, в меховой шляпе с полями. Подбородок — выше горизонта! Таня и Шура долго говорили об уходе девчат, а у Гали тихо кружилась голова, хотелось спать.

Вспоминали, что Растрепа очень хотела подружиться со всеми, первая заговаривала с соседками. А то с искусственным оживлением принималась восторгаться:

— Вот я гляжу — откуда это у Пухлатика: и глазки, и волосики, и ручки, и ножки? Неужели из какой-то одной клеточки? Чудно! Как это вырос целый человечек?

Галя сквозь сон подумала, что и ей казалось странным — как ее дочка была с ней одним целым, как-то помещалась в ее животе, и она носила ребенка, удерживая только мышцами и связками...

В другой раз Растрепа, помнится, с тем же фальшивым глубокомыслием — она никак не попадала в тон — заговорила о войне. Будет ли?

И в палате повисла тишина. Галя рисовала себе виденные в кино пушки, самолеты, крылатые ракеты, на морском горизонте корабли шестого американского флота... И представлялось ей, что все это нацелено в ее новорожденную дочку. Против такой маленькой, беззащитной...

Растрепа, довольная произведенным эффектом, решила закрепить успех:

— Думаете, будет?

— Откуда мы знаем, — испуганно и недовольно сказала Света. — Не допустят наши, наверное.

Все они мысленно были сейчас в соседней детской палате. Там, где лежало, сладко посапывая между кормлениями, будущее человечество, люди третьего тысячелетия.

— А сейчас не гибнут, что ли? — задумчиво сказала Таня. И все подумали про Афганистан, про «выполнение интернационального долга».

— Рожай тут,— вздохнула Шура.— Так уж и быть, вас, невест, защищать будем!

— Мы и сами себя защитим,— обиделась за дочку Света.

— Без мужиков войны не выиграешь,— вставила слово и Галя.

— Без них и не начнется,— поправила ее Таня слабым голосом со своей постели.— Наше дело рожать, а они испокон веков только дерутся да строят. Опять все порушат, опять построят.

Растрепанная молчала. Опять ее попытка примкнуть к коллективу сорвалась. Как будто вокруг нее был очерчен заколдованный круг.

В открытые двери палаты (жара!) было видно, как прошла к детскому отделению высокая нескладная женщина и негромко спросила врача. Тоже, наверное, хотела проситься домой. Но какие-то необычные слова, долетавшие в пятую палату, заставили всех замолчать и настороженно прислушаться.

— Заявление... Не отказываюсь... Нет возможности...

Шура первая догадалась:

— Ой, ли-и-ишенько!.. Это ж она ребенка оставляет. Куда ж его теперь, Таня?

Таня не знала. И Шура удивилась — муж в исполкоме, а не знает. С Таней часто советовались по жилищным, декретным и всяким юридическим вопросам. А та, вздыхая, честно напрягала умственные способности, чтобы поддержать репутацию жены ответственного работника.

Ужин привезла хмурая санитарочка тетя Сима. Болтали, она отливала часть материнского молока из кастрюли возле детского отделения в бидончик и приторговывала им. Услышав про отказного ребенка, она разразилась:

— А еще грудью кормила! Говорит, оставляет на год. Уж отказывалась бы совсем — очередь за ними какая! А то кто родить не может, а кто — как кукушонка кидает!.. На что люди только не идут! Одна четыре месяца подушку к животу привязывала, чтобы соседи не догадались, что чужой ребенок. Уговорила положить ее в роддом и оттуда привезла усыновленного. Вот ведь! А тут!..

И тетя Сима безжалостно рассказала, что женщина — студентка пятого курса педагогического института. И сдает дочку в дом младенца на год, чтобы закончить учебу, устроиться. В это санитарка не верила.

— Перевидали таких-то! — вздыхала она. — Уж отказывалась бы сейчас, сразу.

И пятая палата весь вечер рассуждала об оставленных детях и невезучих, глупых матерях. Правда, отказалась бы, глядишь, Шорина взяла бы, если свой не выживет...

Вздыхали, пока Шура безо всякого перехода не сказала:

— Да-а! Не выдумывайте. Вон, в техникуме, напротив нашей малосемейки, учились иностранцы, так девки тоже младенцев все сдавали. Даже у мужиков жалости больше — один все ходил, ходил в больницу, смотрел на своего негритенка, потом так его к матери и отправил в Занзибар. Это называется «установление отцовства», — авторитетно произнесла она и опять принялась ругать молодежь за легкомыслие — жениться надо!

— Лучше пробный брак, — сказала Таня. — В Болгарии есть такой обычай. Приходит девушка в дом жениха, прикоснется рукой к печке и — принимают ее в семью. Сойдутся — свадьбу играют через несколько месяцев. Нет — расходятся. Интересно, как у них с разводами? Меньше, чем у нас, наверное.

Шура начала изумляться. А Галя подумала: хорошо, что с самого начала она не настаивала на регистрации, — разводиться бы сейчас с Вадимом пришлось. А так — все очень по-европейски: неудавшийся брак, пробный. Хотя европейцы, надо полагать, в таких случаях с детьми не торопятся... Впрочем, ведь колебалась она до последнего часа, когда в регистратуре женской консультации равнодушно спросили:

— По болезни или беременность?

— Беременность...

— Будете рожать?

— Буду, — выдохнула она. И как во сне шла по коридору, отыскивая нужный кабинет, оглушенная этим своим «буду».

Да? Неужели? У нее появится собственный ребенок?! Ей никогда не приходилось иметь дел с младенцами. Стало жутковато и ново, словно жизнь делала неведомый сладостный виток, от которого замирало дыхание.

«А если вы, Вадим Алексеевич, не понимаете, что это значит для женщины, считайте наш пробный брак распавшимся,— думала Галя.— Тем более что это не я пришла в ваш дом, а вы, вы притронулись к батарее центрального отопления в моей квартире остывшими руками. И уйти отсюда вам, видимо, труда не составило?..» И он посмел ей сказать, что не готов стать отцом!.. Трус.

Но тут она внезапно почувствовала слабость, в висках застучало, и ей стоило большого труда не расплакаться.

Вначале в дверях палаты показался полосатый матрас. Его крепко обнимали две мощные руки. Из-за матраса выглядывало лицо санитарочки тети Симы. Она принялась перестилать койки для новеньких. Затем появились и новенькие. Одна из них молча улеглась и сразу заснула. Галя даже позавидовала ей. Должно быть, ее новая соседка температурила — такое уж у нее было горящее лицо. А когда тетя Сима небрежно кидала на ее кровать простыни и пеленки, та ждала, опираясь на тумбочку.

Вторая, Вика, лет двадцати, высокого роста (счастливица,— думала Галя,— высоким рожать легче), сразу принялась рассказывать о себе. Говорят, после операции и родов иногда нападает болтливость. Вику спустили с четвертого этажа из-за миндалин.

— А роды принимала Нина Кваша.

В пятой палате заахали. И у Шуры, и у Гали принимала Нина.

— Я ее не слушаюсь, кричу,— со счастливой улыбкой рассказывала Вика,— а она меня по голове гладит, успокаивает! Показывает мне ребенка, говорю, не вижу я. Пошла в предродовую, очки мне принесла. А я и спасибо не сказала.

Шура, человек практичный, посоветовала написать сейчас благодарность. И принесла книгу с тесемочными завязками.

Нину Квашу благодарили часто. Исполненные ревности, в пятой палате решили сочинить особенно душевно.

— Я бы написала, что у меня это четвертая беременность. Все не вынашивала,— сказала Вика.— И вот наконец-то.

Таня слабо посоветовала:

— Про доброту ее напишите...

Все опять задумались. Как бы так помягче написать, никого не обижая,— врачи здесь привыкли к крикам, а Нина рожениц жалела...

— Напишите,— опять вмешалась Таня,— для кого-то дежурство, а она душу вкладывает.

И принялась рассказывать про свое: рожали одновременно она и Света, которая все говорила, что, если врач придет мужчина, она от помощи откажется вовсе. А как боли начались, забыла все. Хватает его за руку: «Доктор, миленький, посмотрите меня. Скоро уже? Сделайте хоть что-нибудь!»

Все рассмеялись.

Шура все постукивала кончиком авторучки по губам и наконец решительно принялась что-то записывать. Потом прочла: «Мы, женщины пятой палаты, от всего сердца благодарим акушерку первого отделения Нину Квашу за чуткость и отзывчивость. Просим администрацию роддома номер четыре поощрить тов. Квашу ценным подарком или материальной премией за добросовестный труд на благо будущего». Получилось не хуже, чем у людей.

Все расписались.

Галя вспомнила, как Нина держала ее за руку в предродовой и подбадривала:

— Молодец, молодец,— потом повела в родовую, помогла взобраться на стол.

Потом вдруг все кончилось. Живот ее опал. Внутри стало тихо и пусто. И на душе наступил покой. И вся она превратилась в слух, ожидая, сразу ли закричит ребенок. И еще — покажут ли его?

Но когда раздался детский писк, когда Галя поняла, что с ребенком все благополучно, вдруг почувствовала странное равнодушие. Не хотелось на него даже взглянуть.

— Девочка! — сообщила Нина.

Она придерживала фиолетового младенца рукой, и он свешивался с ее ладони вниз — голова не держалась на слабенькой шейке. Рука Нины обхватывала грудь ребенка так, что пальцы держали его под мышки, коротенькие ручки болтались локтями кнаружи, а стопы сведены были друг к другу.

— У нее все нормально? — спросила Галя. — Не шесть пальчиков? Заячьей губы нету?

— Нету-нету,— нараспев сказала Нина. — Хорошая девочка!

Во время кормления Шорина опять плакала. Ей сына не принесли. Галя не выдержала и спросила, стараясь говорить как можно сочувственнее:

— За что он тебя?..

И когда все уже решили, что ответа не будет, Шорина обронила:

— Приревновал.

Палата ахнула. Шура возмутилась так, что замотала головой: «Это на седьмом-то месяце?! Ой, мужики-и!..»

Таня поддакнула:

— Да не дурак ли? О ребенке бы вспомнил!..

А Галя подумала: вот бы Вадим ее ревновал так...

Вика сказала:

— Заяви в милицию. Не старые времена.

— А я бы сразу развелась! — неожиданно для себя поддержала ее Галя.

— Не стану я никуда писать, — безжизненно произнесла Люба.

Все возмущенно загалдели.

— Ну, терпи! — язвительно заметила Вика. — Дожди-дайся.

Чтобы сменить тему, Таня принялась расспрашивать опытную Шуру, как быть, если ребенок станет плакать или перепутает время суток — вздумает гулять по ночам.

Шура ничуть не вознеслась из-за своей менторской роли, а обычным голосом принялась рассказывать про свою Оксанку и о том, что знала от соседок.

— Носишь ее, носишь, а — кричит! Даже к окну подходить страшно. Думаю, выброшу сейчас, не выдержит сознание... Старайся к рукам не приучать. Некоторые поэтому и кормят лежа...

Шорина встала и тихонько побрела в коридор. Шура виновато смолкла.

Утром Таня сказала, моя руки под краном (позади нее выстроилась очередь):

— Дурак думками богат! После вчерашнего приснилось, что выиграла я в спортлото и мы всей семьей едем на море.

Она чувствовала себя гораздо лучше, уже не говорила, что каждый шаг стоит миллион.

— Шорина! В процедурный! — крикнула акушерка.

Пока остальные собирались кормить детей, Люба стояла в коридоре у окна и смотрела на улицу. От крика она вздрогнула и как-то нехотя пошла...

— Девчата, эй! — раздалось с улицы.

— Прише-ел,— язвительно протянула Таня.

Детей еще не принесли, поэтому Шура поспешно взгромоздилась на подоконник и закричала злополучно-му Шорину:

— Нету ее, на осмотре. Жди!

— Ну как она? — помявшись, неуверенно спросил Шорин.— Что там говорят?..

— Опомнися! — брезгливо усмехнулась Вика.

Шура неопределенно кивнула, сам узнаешь, мол. Но вдруг набралась решимости и сурово воскликнула:

— А ты что думал? Спятил — беременную бабу колотить? Самому б тебе наподдавать следовало б! — И, повернувшись к палате, Шура откомментировала: — Трезвые-то они все хоть куда! — но смягчилась и послала Шорина к «переговорному» окну. Обещала сказать об этом Любе.

Послышались шаги медсестер.

Вике должны были принести ребенка в первый раз, и она углубилась в себя. Шура затягивала невымытые волосы в два хвостика. А в коридоре уже раздавались голоса дежурных.

Когда Гале в первый раз принесли ее детку, кормить было еще нечем. Галя совала пустую грудь, девчонка тоненько кричала, потом, видно поняв, что мать не разжалобить, надумала перебить голод сном. Бровки у нее обозначились едва заметными валиками, ресницы были совсем короткие. Зато лоб покрывали пушковые волосики, и лоб казался темнее, чем все лицо. Голову туго охватывал белый платок, поэтому на щеках проступали тонюсенькие сосудики, румянец.

О крохотном носе и таких же неопределенных губах ничего сказать пока было нельзя. Вот только на лбу у нее оказалось штук десять морщинок. Наверное, нашлось о чем подумать в последние недели перед рождением.

Минут через десять детка заворочалась и смешно зевнула, издав какой-то писк, словно котенок или щенок из мультфильма. Потом еще смешнее чихнула и открыла мутные голубенькие глаза.

— Мы чихаем! — испуганно доложила Галя медсестре. Она думала, что для младенцев самое страшное — простуда.

— Живой человек — вот и чихает,— сказала та.— Ничего!

Галя смотрела, как дочку уносят, и с гордостью ду-

мала: «Мой ребенок, мой! Это я его создала! Может быть, за всю жизнь ничего лучшего сделать и не сумею...»

И тут же принялась нетерпеливо ждать следующего кормления, чтобы еще раз хорошенько рассмотреть не очень знакомую пока девочку.

Гале хотелось сдвинуть немного платок за ушком — посмотреть, какие у нее волосы. В родовой показалось — они облегают голову черной шапкой. Мягкие, наверное. Хорошо бы развернуть и пеленки, да страшно задеть ручку или ножку, не повредить бы... А уж как ее купать дома, пеленать-переворачивать?

Чувствуя, что теперь у нее началась совсем новая, особенная жизнь, Галя старалась не слушать чужие разговоры. Она вдруг заметила, что боли почти прошли, и стоило изменить позу, как все тело отзывалось сладкой усталостью и желанием покоя. Руки были еще слабы, чтобы удержать трехкилограммового ребенка, она кормила лежа, и хотелось гладить то место на простыне, где только что спала дочка.

Медсестра Марина рассказывала, что новорожденные кричат ночью, в основном первые шесть недель. Кто — чуть меньше, кто — больше. Но Гале сейчас казалось — она справится и с бессонными ночами (сколько бы их ни было) и с другими заботами. Она уже не сомневалась, что появится молоко и никакие волнения не заставят его исчезнуть, раз оно так нужно ребенку. Пусть потом изменится форма груди, лишь бы этот черненький цыпленок рос здоровый...

Уверенность в том, что она справится с трудностями, приводила Галю в такое возбуждение, что внутри начинало что-то дрожать. Она лежала с закрытыми глазами, положив ладонь на теплую еще простыню рядом с собой, и строила планы: главное дома — не надо суетиться. Лишь бы еда была да чистые пеленки для Зайца.

Пропала Галина раздражительность и неуверенность. Вместе с ребенком как будто появилось и ее новое «я». И все вокруг казалось иным. И казалось, Галя совсем не думала теперь о Вадиме. Но вот ей захотелось сделать что-нибудь сейчас же, и она... пошла к трюмо, в коридор. Пристрастно себя осмотрела. Возле серой радужки левого глаза было красное пятнышко (лопнул сосуд). Лицо ее, Галино, слегка похудевшее. Фигура была чужая — больничный халат сидел мешко-

вато, но не мог скрыть округлившейся груди, а главное — исчез большущий живот. За последние месяцы, признаться, Галя сжилась с ним. Совсем особое чувство посещало ее по вечерам, когда она лежала дома в постели и прислушивалась к себе — что там происходит? Кто это расхаживает — то справа вверху около печени постучится, то возьмет левее, то внизу упрется локтем. Право, в некотором смысле ей даже недоставало живота!

Но больше всего вдруг стало жаль, что она не воспользовалась привилегиями своего положения. Галя пожалела, что не вовремя рассталась с Вадимом! Как, должно быть, счастливы женщины, которых оберегают и балуют во время беременности!

— Дорогой, я хочу пить... Что это ты мне принес? Я не просила молока, принеси чаю с лимоном... Знаешь, унеси чай, я передумала, дай мне воды... Ты налил из крана? Лучше кипяченой...

И постоянно выдумывать, что тянет тебя то на кислое, то на соленое, — только бы видеть внимание и заботу! Эх, надо было сначала родить, а уж потом разойтись!..

— Не понимаю я Любу, — задумчиво сказала Галя. — Ехала бы к матери, подала б на алименты. — И подумала: а что стала бы делать сама в ожидании ребенка, не будь у нее квартиры?

— Может, встретила бы еще человека, — подала голос и Таня. — У меня соседка в пятьдесят восемь лет замуж вышла.

Да и другие недоумевали, как это — простить такое? Где у Любы ум-то?!

— А если она его любит? — после долгого молчания вздохнула Шура. — Ведь и не такое простишь!..

Они кормили детей. Вика, в первый раз держа на руках сына, рассматривала его лицо, словно свою будущую судьбу. Да и остальные погрузились в созерцание завтрашнего народа. Нет, они не думали, что держат представителей будущего поколения, что в соседних палатах, в роддомах других городов лежит рядом с матерями все новорожденное человечество. И пройдет двадцать с лишним лет, их дочери попадут в такие палаты, чтобы стать главными участницами этого чуда — явления человека на свет, а сыновья будут часами простаивать у окон, ожидая известий...

Ни о чем этом никто, конечно, не думал, но у всех, даже у флегматичной Шуры, было несколько приподнятое настроение при встрече с ребяташками. Когда после кормления медсестры унесли детей, Шура вдруг сказала, как она родила Оксанку. Со смехом рожала.

— В предродовой у нас была одна молоденькая девочка. Акушерка ее зовет: «Пора. Пойдем в родовую». Она испугалась: «Не пойду!..» Как так? Акушерка за врачом сбегала, уговаривают ее, а она вцепилась в дверную ручку, слушать никого не хочет. Но тут ее так прихватило, как крикнет: «Ой!» Как дернется — дверную ручку оторвала. Ее на каталку, везут в родовую, говорят: «Брось ручку!» А она ладонь разжать не может от страха. Все, кто видел, ну хохотать! И сразу же всем рожать приспичило!..

Вика достала круглое зеркальце, переданное ей в пачке печенья, стала выщипывать брови пинцетом. И пошел живой разговор о том, как беременность меняет женщин. Больше всего дружно переживали из-за веса. Вика со вздохом созналась, что поправилась на двадцать два килограмма, боялись даже скрытых отеков. Пророчили крупного ребенка, а родился мальчик — два в семьсот.

Шура откомментировала:

— Моя мама говорит, от женщины зависит: одна сколько ни ест. — все в себя, все в себя. А другая и мало прибавляет, а все — в ребенка, в ребенка!..

— А еще говорят, беременность красит, — вздохнула Вика, глядя в зеркальце.

Таня в ответ простонала:

— Без забот, конечно, прожить легче..

— Да мало кто откажется от таких забот, — глубоко-мысленно заметила Шура.

И заговорили о том, решится ли Шура на третьего ребенка. Та, подумав, ответила:

— Не зарекаюсь!

Вика осуждающе фыркнула.

— Уж так трясутся над единственным ребенком, — в пику ей сказала Шура. — У меня соседка, старушка. Девять душ в молодости родила. Последняя девочка недоношенная была, еле дышала первые месяцы. Мать ее все за подушки прятала, чтобы старшие не играли с ней, как с куклой. Вот временами зайдется, аж синеет.

Она — к соседям бегом: «Ой, поглядите, жива у меня девка, боюсь сама!» А ей говорят: «Да что ты с ней мучаешься? Закопала б давно». Ничего себе, шуточки?! А мы над своими бьемся-бьемся...

Таня сказала, что, слышала, кто-то вчера шестого ребенка родил в их отделении.

— Не в отделении,— подала голос молчаливая соседка, которая почти сутки до того спала.— Не здесь, а в машине «Скорой помощи». Я и есть.

И рассказала оживившимся слушательницам, что поздно вызвала «скорую». Досиделась, что называется. Фельдшерица впоследствии говорила — роды стремительные. Уж так ругала, так ругала. Ребенка, мол, пожалела бы — риск какой. А ничего, обошлось. Остановили машину, шофер вышел, чтобы стонов не слушать. А фельдшерица в тесноте, полусогнувшись, доставала ножницы, бинты, прочие перевязочные материалы.

Машина остановилась на мосту. Было слышно, как мимо проезжают троллейбусы, грузовики, легковые... Жизнь шла своим чередом...

— Не так все страшно,— заключила Шура.— После четвертого счет, наверное, теряется...

К Шориной пришел перед работой муж, и она рассказывала ему под окном, что ее вместе с ребенком переводят в больницу напротив роддома. Это было хорошее известие. Значит, здесь для них уже сделали все, что возможно.

— В следующий раз у начальника отпрашивайся, не убегай,— слабо корила Люба мужа.— Ищут же, наверное... Мне уже лучше.

— Вы там... того... поправляйтесь...— отвечал, потупясь, Шорин.

Галя заметила, что с завистью прислушивается к их разговору, а потом самолюбиво подумала: а чему завидовать?..

И настал наконец день, когда Гале объявили, что ее решено выписывать. Она принялась звонить на работу соседке по квартире, Ирине. Ирина ахнула, узнав, что все уже позади, принялась раскисаться: почему не навестила, не догадалась позвонить в роддом? После тропливых вопросов, восклицаний и поздравлений обещала непременно заехать. Вот только не сегодня, а... завтра. Это Галю обидело. Хорошо еще Ирина удосужилась

заскочить после работы и взять ключ от Галиной квартиры, чтоб забрать белье для ребенка.

Часы тянулись томительно. Наконец пришла акушерка, объявила Гале:

— Собирайтесь. За вами пришли.

Таня сказала с грустью:

— Счастливая!.. А нас-то когда?..

Галя наугад ответила, что выписывают Шуру послезавтра, а Таню — в праздники, на Новый год.

— Там выходные, некому будет,— засомневалась Таня.

(Как будто в роддоме нет дежурных врачей!)

— По праздникам, наверное, не выписывают,— опять приуныла Таня.

Галя ее успокоила: роженицы ведь поступают в любой день, койки все время нужны. А задержи-ка выписку на два-три праздничных дня, так вновь поступивших — хоть в вестибюль!

Обрадованная Таня сказала, что они обязательно подойдут к окну помахать Гале на прощанье. В знак признательности. А Люба неосторожно спросила, кто еще, кроме мужа, собирался прийти за ней сегодня. Галя запнулась, не зная что сказать, но Шура быстро пришла на помощь — сообщила, что Галин муж сейчас в отъезде, что придет подруга.

— Главное, не болейте!..

— И чтоб молоко не пропало!..

— Уж держитесь!.. — зашумела палата, когда Галя подошла к дверям, держа полиэтиленовый пакет в руке.

— Конечно,— ответила она.— И вам тоже — растите красивые и умные!

В детском отделении ее попросили зачем-то расписаться в журнале с адресами родильниц.

— Врач из детской поликлиники послезавтра придет,— пояснила медсестра Марина.— Бывает, в паспорте одно, а живете у папы, у мамы... Забирайте одежду, переодеваться там, ребенка сейчас принесут.

Галя выглянула в большой зал, где уже поджидали своих жен, сестер, дочерей человек десять. Прижимая пакет к груди, Галя поискала глазами Ирину. На кафельном полу в зале лежали желтые солнечные половники. Галя на секунду отвела взгляд и заметила, что за окном — солнце и тени от забора синие, как весной...

ХОЗЯЙКА

рассказ

Завтра нашей Тане исполняется тридцать один. Не юбилей, не круглая дата, а каждой матери хочется в день рождения ребенка побаловать. Вот собираюсь подарить ей перстень «шахиня» с высоким ограненным камнем, какие сейчас в моде. Младшей, Вике, тоже купили недавно перстенок, но поскромнее, девичий. Два золотых листочка и небольшой александрит. Мало кто — поглядеть на руки и уши — понимает толк в украшениях, лишь бы драгоценный металл, лишь бы потяжелее да подешевле. А ювелирное изделие надо уметь подобрать, как картину выбирают или подходящую косметику...

У нас в семье вообще не заведены дешевые подарки — ну, сами подумайте, к чему эти рублевые сувениры, только захламлять комнаты? Духами и так весь подзеркальник уставлен. Ночные рубашки да чашки с ложками — это «подарок с полочки». Так дарить — чтоб действительно память была, и на черный день подспорье, я считаю.

Экономить деньги — тоже целая наука. А расходов с детьми, сами знаете...

Со старшей был случай в десятом классе. Собрались они в школе на какой-то вечер, переоделись, все в классе пооставляли — сапожки, шубки, кофты. Возвращается домой моя Татьяна — ревет.

— Что?

Украли шапку лисью, новую. Говорю:

— Теперь ходи так. Не напасешься на вас!

В мохеровом осеннем беретике мороз-то прохватывает. Я не выдержала, конечно, купила ей «боярку» из искусственного меха. Ну, она — ничего. Всю зиму носила. Только уж осенью, когда в институт поступила, стала настоящую просить. Мол, в каникулы поедет со студенческим отрядом на целину, заработает, песца себе купит.

Этого нам только недоставало! Оставляю я разве их без присмотра?!

— Ладно, — говорю, — будет тебе песец. А на каникулы опять в Крым поедет. Нечего тебе на целине делать, обойдутся.

Отложила пенсию, две зарплаты сэкономила — купила шапку из голубого песка.

А на тридцатилетие мы ей серьги с бриллиантками достали. Сложилось с отцом. Разве она в своем книжном коллекторе заработает на такие?! Не бог ведь что получает. Но я так считаю — самая подходящая работа для девочки — спокойно, не ответственно и окружение приличное. Книги можно брать читать. Я из редакции тоже новинки журнальные приношу — у нас в семье читать любят, интересуются.

Живешь-живешь спокойно, вдруг — на тебе! Как-нибудь хлопоты. Отец однажды, ни с моря, ни с Дона, сообщает:

— Я после демонстрации зайду с товарищем. Обед готовьте.

У меня сердце так и екнуло. Что за товарищ? Уж, кажется, отучила его от холостяцких компаний, неспроста это. Знала бы, что он Татьянке велел принарядиться, — догадалась бы.

И приходят: откуда такой «товарищ» взялся, лет на двадцать моложе нашего папочки! Из своих подчиненных, трестовских, выбрал небось?

Когда усадил отец Татьяну и гостя рядом, у меня глаза и открылись. Разумеется, я магнитофон включила и телевизор (звук убавила) — парад войск там идет, зрители тарашатся, иностранцы толпятся. Девочки мои нервничают. Таня вилки роняет, соус на платье-марлевку капает. Вика вместо хлеба салфетку ко рту несет...

Я глазами показываю отцу — видишь, до чего довел детей? Этого ты хотел?!

За полчаса сменила им пять блюд, как в ресторане, где очередь на комплексные обеды. Девочки мои растерялись, посуду относить помогают.

За чаем говорю молодому человеку:

— Уж извините, чем богаты, тем и рады. Заходите еще в ближайшие праздники. У нас, сами видите, только свои...

Папочке делать нечего, убито глянул на меня и провожать пошел «своего товарища».

А я девочек спрашиваю:

— Ну как вам понравился Женя?

Вика отвечает: «Ничего, только старый». Танюша молчит, красный соус на платье вытирает.

Я чувствую, что не тот взяла тон, давай отца ругать:

— Но хорош наш папочка!.. Привел человека, а тот и рта не может раскрыть. Или уж такой молчун безропотный? Или слишком хитрый — в дом хотел втереться, чтобы начальнику своему угодить? Скромным решил показаться. Не обижайся на отца, Таня. Просто скажи — что за бестактность! Я сама вмешиваться в это не хочу. Ты же знаешь, и я, и папочка тебя любим, а знакомство это он затеял не от большого ума. Разве ты камень на шее, чтобы вот так от тебя отделяваться? Не старые времена, не обуза же ты в семье! Зачем расстраиваться? Ты ж моя помощница, умница... Папочка не хотел тебя обидеть.

Вижу, у Татьяны уже и глаза покраснели, готово дело. О чем уж они говорили с отцом после, не знаю, но он неделю ходил как в воду опущенный. Никого мне больше в дом не приводил.

И девочки этого Женю не вспоминали...

Они у меня обе не красавицы, не в маму. Да к тому ж зрение себе учебой испортили, очки носят. Я порой посмотрю на нынешних девиц — шапки с головы у них не собьешь: крепкие, вальяжные. Как это выращивают матери таких дочерей!? А мои — худышки, по две косточки...

Конечно, я сама их в школе строго держала: Но после-то, после даже одергивала: «Хватит учить, погуляйте, посидите у подъезда, подышите». Невозможное дело — на улицу выпроводить. Бедняжки, голов от книг не поднимают.

Ну, Таня уже на ногах. Викочке недолго осталось — через год получит диплом, и нам легче будет. Надо уже приниматься думать о распределении. Чтобы в городе осталась, главное. А работу подыщем. Да взять хоть наш отдел писем — дело чистое. Техническое. Я за год освоилась, как вышла на пенсию и после типографии сюда устроилась. Вика, кстати, филолог, ей это будет даже интересно. Не в школу же идти. Там такие детки!.. И чем дальше — тем хуже. Спасибо, пока учителей не бьют. А грубостей и безобразий нам с Викочкой не надо.

Я насмотрелась, еще во время учебы дочерей. До сих пор вспоминаю эти родительские собрания с разбором происшествий. По каждому поводу — хоть статью в газету.

Как-то к Татьяне приходит один из «этих» мальчиков.

Она мне:

— Свари нам кофе, мам!

Я говорю:

— Да ты хоть знаешь, что твой приятель отчудил? Как его родителей классная руководительница отчитывала?.. А ты его в гости!

Вижу, бледнеет моя Таня и робко врет, что шефствовать над ним поручили ей. Конечно, я его по-умному выпроводила через двадцать минут, а ей говорю: « Попрошу учителей уволить тебя от такого шефства. Кто поручил, скажи?»

Старшенькая моя сразу в слезы. Младшая, на нее глядя, тоже. Я виду не подаю, весело ее спрашиваю:

— Викуля, а ты чего ревешь, глупыш? Не пришлось бы после пожалеть сестренку...

Берегла вот к празднику, да ладно — достаю из шифоньера туфли югославские Танюшке, утешься только. Вижу, обрадовалась, примерять стала. Вика канючит: «И мне...»

После этого случая мальчик к нам больше ни ногой. Обе дочки — у меня строго — с пяти часов дома. Я и нахваливаю:

— Молодец, Танюша. К выпускному нужно ей, отец, золотую цепочку подарить...

Платье бальное сшили ей в лучшем ателье. Тоже в копеечку встало, но такое событие раз в жизни. Отец с книжки снял денег. И на пошив, и на цепочку. От себя подарил еще китайскую авторучку с золотым пером, для института.

Приходили сверстницы со двора, смотреть подарки, ахали. Одна говорит:

— Сейчас с золотом трудно. Очередь с ночи надо занять, чтоб взять в «Рубине» что-нибудь стоящее.

Гляжу и глазам не верю — Таня моя вспыхнула, говорит сердито:

— Не в деньгах счастье!

А девчонка так по-взрослому головой покачивает: мол, цепочку-то носить и тебе хочется. Невежа! Верно замечено: что верхки, то и корешки. У нее мать жадная. Я сделала вид, будто не замечаю ссоры, и сказала:

— Девочки мои! Все золото отдам. В последнем халате останусь — у меня в кладовке там висит рваненький, — а только чтоб новой войны не было.

С тем и ушли соседки. Танюшка расстроилась, цепочку сняла. Да я и тут нашла верный ход: правильно, на экзамены в институт, на подготовительные курсы

нужно ходить поскромнее, вот уж потом, когда поступишь, тогда и принарядиться можно.

Послушалась. Таня у меня тихая девочка всегда была. Викуля упрямее. В пятом классе моя младшенькая стала косы заплетать. Говорю:

— Давай отведу тебя к своему парикмахеру — лучший в городе, на конкурсах призовые места получал. Сделаем тебе модную стрижку.

Нет, уперлась. Но меня ведь не переспоришь — что за морока ей голову промывать! Год убеждала и остригла наконец.

С Татьяной всегда проще. Скажу ей:

— Какой пример ты сестре подаешь?!

Она сразу и примолкнет. А младшая повзрослела только в институте. У них на факультете одни девочки, тихони...

Только иду однажды с работы. Навстречу — Викочка, третьекурсница моя, с каким-то молодым человеком. А говорила, занятия на вечер перевели.

Нет, я понимаю, возраст, но зачем обманывать-то? Увидела меня — чуть не остановилась, запнулась даже. Я, конечно, выдержку проявила, не кивнула, не оглянулась. Но вечером спрашиваю ее:

— Это что ж, с вашего курса мальчик? В общежитии живет? А почему родители ему комнату не снимут? Обеспеченная семья?

Вика тут разрыдалась, ее, видите ли, это не интересует.

Я ее обняла, приласкала и говорю:

— Деточка моя! Тебе так кажется, что не интересует. Вы ж у меня избалованные. Ну, хочешь три сезона одну пару сапог носить? Выходи за него... А сейчас просто кажется: нищему одеться — только подпоясаться. Ты ж не собираешься за такого замуж?

Викочка плачет и смеется уже.

— Нет, — отвечает, — до свадьбы еще дело не дошло.

— И прекрасно! Зачем тебе такой? Живи-ка с нами, как Танюша. Все равно лучше нашего папочки никого нету, и не найдешь: не пьет, не курит, всю зарплату домой приносит. Вся уборка в воскресенье на нем. Вот и письмо знакомым написал в Киргизию, чтоб вам хорошие дубленочки прислали, там есть.

Вижу, заулыбалась. Стала про дубленки расспрашивать.

И весь конфликт, как говорится, исчерпан. Просто

надо найти подход в каждом отдельном случае. Тогда из любой ситуации найдется выход.

Вот совсем недавно Вика едва не наглупила. Очень нас напугала! Уж и не рассказывать бы про это, да я сама тревогу подняла, всех на ноги поставила, так что тайны ни от кого нет. Ну и страшного ничего, чтоб трагедию изображать.

К ужину Викочка всегда была дома, а тут спать пора — ее нет. Отец своим хладнокровием — всё «подожди» да «не спеши» — до крика меня довел. Никто мне не помощник. Танюшка тоже молчит, но как будто что и знает. Ладно. Обзвонила я девочек, школьных подруг Вики, к соседям забежала — может, они ее видели где.

— Да не волнуйтесь, — говорят, — она раньше-то предупреждала, когда уходила или задерживалась?

Ах ты, господи, ну куда ей уходить? Где задерживаться?..

И уж когда она после двенадцати не явилась, я в милицию позвонила, декана с постели подняла.

Утром пошла в институт вместе с Татьяной. Вызвали к декану всю Викину группу. Сидят студентки, жмутся перед столом. Какая-то девчушка — невзрачная, в стоптанных туфлях, с хозяйственной сумкой, — сказала-таки:

— Не плачьте, я покажу дом. Знаю, где ваша Вика.

Таня так и вскинулась — тоже, видно, переживает за меня.

И слава богу, обошлось. Пришли к старому трехэтажному особнячку. На втором этаже звоним. Открывает дверь Вика. Я ничего не понимаю, не вижу никого, кроме нее. Жива! Почему-то в халате нейлоновом. (Таня дарила на двадцатилетие.) Я плачу: «Зачем же нас так пугать?! Ну, хочешь замуж выйти — посоветуйся, обдумаем вместе, а это что ж за мода такая — побегом!.. Пойдем домой, отца успокоим. Он на работу не пошел, звонит по телефону во все концы, не переставая».

Вика, бледненькая, залепетала что-то, на Таню укоризненно смотрит. Таня вдруг начинает рассказывать, как мы в деканате узнали всё. Вика меня по плечу гладит: она, видите ли, решила тут остаться. Знакомит с мальчиком каким-то, а тот норовит в кухне спрятаться, вовсе оробел.

Я говорю:

— Ладно-ладно. Что и было, уж не вернешь. Надо о сегодняшнем дне думать. Там папе «неотложку» вы-

звали уже, наверное. Где твои вещи? Сумка? Давай понесу. Обувайся.

Я ее за руку — и увела.

Отец мне потом выговаривал: не надо было трезвонить, шум поднимать. Позор, дескать. А что такого? Она не убила, не ограбила никого. Ну, поторопилась я, так на моем месте любая мать начала бы метаться...

Целую неделю я Вику от себя не отпускала. Провожала и встречала. А время прошло, Викочка от своего столбняка очнулась. Я ей говорю:

— Съезди-ка, проветришь. Папа тебе путевку взял в Венгрию. Понравится — через год в Финляндию отправим тебя. Или в Японию, если хочешь.

Хорошо еще, что без последствий обошлось... В Венгрии она очень поправилась, поздоровела. О женихе своем без досады и вспоминать не могла. Говорит нам с Таней:

— Настоящих мужчин сейчас нет. Слабаки. Нянькой при нем быть?.. Уж лучше пожить независимой, хоть мир увидеть.

Я после таких ее слов успокоилась окончательно.

Все они у меня под крылом, и душа на месте.

А приведет в дом бог знает кого — прощай, покой дорогой! Прощай, заведенный порядок! Или отпустика на сторону?.. Тут ее холишь-холишь, лелеешь-лелеешь, и вдруг неизвестно кто на нее права предъявлять начнет. Еще и бить, пожалуй, станет. Я по газетной почте сужу — сколько угодно таких случаев. Мы это не печатаем, разве что только проблема стоящая. Ведь читателю неинтересны письма, над которыми может поплакать родной человек. Но жалоб от женщин сколько идет, жалоб-то!..

Да вот моя соседка, Майя Сергеевна, выдала дочь. Сперва в гости друг к другу сватья ходили, улыбки, шампанское по праздникам. Потом жалуется в слезах: дочку там зашпыняли — подай, принеси, приготовь... Она за мной жила как за каменной стеной, ее бы постепенно к хозяйству приучать, а тут крик, насмешки: «Брехать — не пахать!.. Помелькай с утра немного на кухне, пока муж на работу не ушел. Днем отоспишься, чего тебе сделается?» Ну зачем это беременной женщине?!

Родила — сразу почти молоко пропало. Уж на что терпеливица Майя Сергеевна, а не удержалась, пришла к сватам и говорит:

— Выпили молочко внука-то?!

Те оправдываться. Скандал!

Да кого ни взять, одна история. Спрашиваю литсотрудника нашего, Диму, из отдела информации:

— Чем дело кончилось? Так и развелся-таки?

Говорит:

— Любовь присудить нельзя.

Во-во, на фразу они горазды, а жизнь вместе прожить — толку нет.

Ах, доченьки-доченьки, живите-ка спокойно. Все только для вас. Конечно, есть люди обеспеченнее, но мы за ними не гонимся. Лишь бы вам хорошо было.

Улетите из своего гнезда, а там?.. Уж на что наш папа золотой, покладистый, всё — в дом, всё — в семью, а чего мне это стоило? Сколько лет с ним промаялась, прежде чем отучить его от рыбалки, от охоты, от шахматного клуба, от всяких друзей!.. Сколько нервов извела, пока он в хозяйстве помогать стал! Пусть хоть теперь отдохнет на славу. Теперь дочери — помощницы.

Смотреть бы на них да радоваться. А живешь рядом с молодыми — и сама не стареешь.

**ПОЗДНИЙ
ПОКОС**



Алексей
Грякалов

рассказ

Косили на полянах старого Райского леса. Сенокос, как и всегда, колыхнул души праздником, но радость эта скоро пропала и привычно сменилась ожиданием чего-то тревожного, что уже случилось, но пока не нашло нас на этих залитых солнцем полянах. Далекий фронт изменил будни — жизнь их обесценилась и притихла, питаемая только надеждой и работой. Время, при всей его нынешней убыстренности, двигалось неохотно, и никто не смел его торопить. Одни ждали вестей и были довольны тем, что есть, другие, кто почти уже не ждал, тоже не подгоняли его — пусть медленнее отходит от прошлых счастливых дней, когда каждый дом был как дом.

Перестоявшая, роняющая семя трава равнодушно ложилась под косами. Стучал одинокий молоток, звенел оселок — только и осталось от прежнего радостного действия. И от того, что звуки эти, сменявшие друг друга, были скрыты и слабы, казалось, что они потерялись в лесу с прошлых времен и теперь бродят тут, как вечное эхо.

Заканчивая длинный прокос, женщины скрылись за кустами. Оттуда слышались их неясные голоса, и он хотел, чтоб они тоже слышали его работу. Плохо отбитые косы быстро тупились на перестоявшей траве. В мирной жизни каждая коса своего хозяина знала, а для его рук все они были одинаковыми. Так ведь по прежней многолюдной жизни и косы-то никто бы ему не доверил! А теперь каждый человек годился для всего...

Теперь никто не делил и не выбирал: мое — не мое! Хорошие слова нашлись, мыслям не мешают, рукам — в помощь. Он вел оселок так, чтоб по косе попадало местом, где он был меньше сточен. Место на оселке хорошо нашел, теперь — мое-е! Вот тут, ближе к ручке.

Выправить бы все косы до обеда. Председатель говорил утром: «Ты там, Иван, за главного мужика! Так что смотри!» А что смотреть? Дело свое знаю! Поет оселок, почти сливая два звука. Рука вдруг отдернулась от косы...

А-а?!

Тысячи раз водил бруском... Вздогнул, так быстро воздух втянув, что холодно стало внутри. Подтолкнутая этим холодом, из глубины зашепила кровь, закапала, обливая брусок и пропадая в серой земле, вытопанной его коленями.

Пока он бежал к бочонку с водой, два раз споткнулся на ровном месте. Левая рука с кружкой непривычно искала воду. Верх бочонка успел высохнуть и потеплеть, а низ холодил колено. Лил из кружки на распухшие пальцы, вода становилась розовой, текла по руке и потом на землю. Смотрел на пальцы, а в голове мысли шли сами собой. Как теперь оселок держать? Кто косы править будет? Как оправдаться? Да, оправдываться надо, виноват-то сам! Ведь даже голос слышал... Отец говорил: «Не доверяй косе, хоть всю жизнь ее в руках держишь!» Говорил, да ведь когда было то время!..

Из слов, нацарапанных на кружке, тоже рождались голоса. Тоже советовали, спешили, спрашивали, головами качали, облекаясь в плоть хозяев, бывших сейчас на войне. Еще сегодня утром он сам хотел выцарапать свое имя на кружке, а теперь и гвоздь в руке не удержит. Главный мужик на покосе!..

Еще воду лил из кружки, а кровь не унималась. Мысли спешили, цепляясь одна за другую. Глаза боялись того, что перед ними, а память свободно гуляла там, где хотела.

Разделилось все в этом дне! Разделил на свою голову: мое — не мое!.. Вот и в этот миг он был тут, у бочонка, чувствовал коленом его прохладный бок и смотрел на себя чужими глазами, видел себя на коленях, с отставленной в сторону рукой, похожей на заломленное крыло молодого гусенка.

— Ваня!

Он оглянулся.

— Ваня, намери мне водички. А то я не достану...

Девочка держала в руке пучочек земляничных ягод — гостинец младшему брату от зайца из Райского леса. Он подал левой рукой кружку и почувствовал жар ее только что разжатого кулачка. Девочка взяла круж-

ку и посмотрела под ноги, выбирая дорогу, где меньше колючек. На земле она увидела закапанный кровью узелок с харчами. Иван шагнул в сторону, но девочка успела заметить руку в крови. Она повернулась и быстро пошла, а потом побежала не оглядываясь, расставив руки, берегущие воду, побежала, напоминая еще не умеющего летать птенца. Не оглядывалась, не выбирала дороги... Он понял, как она напугалась.

Он и сам уже начал бояться: никогда кровь так долго у него не шла, и никогда он не оставался с нею один на один. Глянув девочке вслед, чуть не пошел за ней — туда, к людям, за помощью и утешением. Уже и путь короткий глазами провел, но знал, что идти нельзя и он не пойдет. Пусть люди увидят его, когда по своему делу придут. Сам виноват... Не уберется — всем теперь станет трудней.

Листки подорожника, росшие прямо под ногами, успокоили его. Подорожник рану заживляет. Он сорвал зеленый листок, потом выложил харчишки из сумки и попробовал разорвать полотно. Но швы были такими крепкими, словно сумка собиралась пережить всех своих хозяев.

Глянув на поляну, он увидел, что девочка вела за руку кого-то из женщин. Повел руками, чтоб закрыться от солнца и угадать, кто идет. Но руки не подчинились: левой было непривычно, а правой — больно.

— Вот он, бабушка! — старался голосок. — Вот он!..

Старуха подняла у него из-под ног закапанный узелок и переложила еду девочке в передник. Потом повернулась к нему.

— Эх вы, косари! Сами себя сберечь не можете!

Не понимая, он глянул на нее. О ком она говорит? Да пусть говорит что хочет!..

Липкие листки подорожника, плеснув на них водой, она бросила в середину колючего куста.

— Пусть не валяются под ногами!

Взяла его за руку повыше кисти, и пальцы его попробовали выпрямиться впервые после того, как он отдернул их от косы.

— Держи тут! Держи, а я лекарство поищу...

Иван сжал руку, не давая хода сбившейся с привычных кругов крови. Девочка поднесла ему кружку, и он стал пить, радуясь воде, переставшей быть лекарством от боли и страха, простой воде, — вот капли ползут к темным локоткам девочки, оставляя влажные полоски.

Пил воду, искоса следя за старухой, которая шла над краем оврага, что-то высматривая на земле.

Время, с тех пор как день пошел измененным ходом, очень растянулось, сделав каждую минуту бесконечно длинной. Казалось, что старуха давно уже ищет лекарство, бредет, не поднимая головы, и никогда ничего не найдет — лес обиделся за отвергнутый подорожник и все скрыл. Напуганный кровью, Иван потерялся в этом дне. Снова заговорили имена, нацарапанные на кружке. Вот почему старуха сказала обо всех косарях! Пожалела всех сразу, кто не уберется и еще не уберется, еще будет переживать растерянность и страх, будет поддержки ждать и помощи. Случай караулит и тут, дома, и там — на войне. Утром говорил председатель: «Ты там, Иван, смотри!» Вот и высмотрел... На войне, может, тоже кто-то так говорит...

Старуха принесла наконец то, что искала. Дети называли это чертовым пальцем.

— Получше травы будет... — Она скребла стерженек ножиком и посыпала порезы желтой пылью. — Шевели пальцами! Жилы вроде целы... А что ж кровь не утихает? От жары, или буйная она у тебя... Да ты... Ваня, сынок! Дай я тебе пошепчу!.. — Она оглянулась на девочку. — Иди, на обед всех зови... — Иди-иди!

Встала и провела девочку шагов десять, потом стукнула кружкой у воды и снова вернулась.

— Кровь-то я смыла у бочонка... Не надо, чтоб под чужим следом она была, — и так нет ей сегодня покоя.

Сдавила Ивану руку.

У нее вдруг переменился голос.

— На море, на окияне, на острове на Буяне стоит светлица, во светлице три девицы: первая иглу держит, другая ниточки делает, а третья девица кровавую рану зашивает. Ты, конь, рыж, ты, кровь, не брыжь; ты, конь, кар, а ты, кровь, не кань!..

Ее руки стали не такими жесткими, и он теперь больше им доверял. Он слушал шепот, и в один миг показалось, что рядом не эта старая женщина, а другая, молодая, встречаемая теперь только во сне, говорит и хочет утешить, зовет в прохладу куста — подальше от усталости и боли, от жары, от всей стронувшейся с привычного пути жизни. Была б она рядом, кто знает, как пошел бы сегодняшний день... Прибавила два года — и на торфоразработки в Гатчину. Поехала приданое зара-

батывать, да война там и захватила... Где они, эти чужие болота?

— Летит ворон через сине море, несет в зубах иглу, в игле шелковая нитка, коею будет зашивать кровавую рану у раба божьего Ивана, будет зашивать рану от пораженного, от молитвенного, от тридевять жил, от тридевяти пожилков, от тридевяти суставов, от тридевять суставчиков. Едет мужик Аникан, говорит он: «Как слюна моя не канет, так и руда у раба божьего Ивана не канет...»

Она не выпустила руку, которую Иван потянул при последних словах. Он не стал противиться больше, стал засыпать, чувствуя себя в устроенном и нестрашном мире. Далекие голоса были слышны за стеной родного дома. Отец, защита, наклонился с советом: «Не спи, сынок! Не спи...»

Голоса приближались, и один, тоненький, торопливо рассказывал — о нем, о том, как кровь текла...

— Не спи! Вставай!

Он открыл глаза, все вспомнив. Встать надо... Сейчас придут люди. Надо встать! Нельзя, чтоб смотрели на него сверху вниз, будто проведать в болезни пришли, а он и подняться не может. Иван двинул рукой в подсохшей и потерявшей яркость крови. Боли не слышал, в руке висела непривычная чужая тяжесть.

Подходившие женщины говорили о том, что осталось мало воды, а день для работы хорош. Он прислушался: о нем — ничего. Еще не знают, наверно. Или вслух говорить не хотят?

— Пойдем рубашку застираю, а то мать дома напугаешь! — позвала старуха.

Он пошел, надо ж показаться. Спокойно, чтоб быть похожим на главного мужика на покосе, потянул рубашку, перехватывая одной рукой. Напряг больную руку, сразу ответившую болью. Тянул рубашку, а она как прилипла к плечам. Спрятался, словно маленький за ладошку! Сейчас подойдет кто-нибудь и поможет. Чувствуя, что болит сильнее, заспешил, дернул, помогая плечом больной руки, рванул, чтоб не стоять спеленатым перед всеми. Открылся, вырвался, показал всем, что не слабый он, а здоровый, злой. Смотрел на людей, а они расплывались, будто стояли не в десяти шагах, а далеко, на краю видимой земли, где, радуясь жаркому дню, играло марево, вдруг залетевшее сюда, на поляну, и

качнувшее его. Оседая на землю, он услышал, как закричала девочка:

— Бабушка, у него опять!..

Криком своим она напугала всех. Старуха, как-то очень припадая на ноги, быстро подошла и больно придала руку.

— Сиди, не рвись! А лучше приляг... Ослабнешь ты совсем...

Он неудобно лег, глядя в пустое небо. Старуха подложила ему под голову кофту и подгрестила сена, чтоб было повыше. Ему стали видны верхушки деревьев, и он смотрел, как они тихо качались.

Женщина повернулась к людям спиной и положила его руку к себе на колени.

— Я потихоньку...

Переменила голос и снова.

— ...Выйду благословясь, из ворот в ворота, из дверей в двери, погляжу в чистое поле: едет из чистого поля богатырь, везет он вострую саблю на плече, секесть и рубить он по мертвому телу: не течет ни кровь, ни руда из этого мертвого тела...

Она повторяла и повторяла последние слова, и ему послышалось, как кто-то вскрикнул.

Женщины давно смотрели на него, худого, с черными от загара руками, сейчас похожего и на мальчику, и на взрослого мужика.

Нужно показать, что не так ему больно и он сам, без заговора, может побороть слабость и боль. Надо выбрать миг и спокойно, несуетливо встать.

Он ждал, когда боль станет слабее, а сам он — сильнее. Но старуха повторяла слова о мертвом богатыре, и Иван, не дождавшись своей силы, стал поддаваться чужой. Кто-то из женщин плакал в голос. Его жалели, над ним плакали, или над своим — над далеким мертвым богатырем?

Мертвый богатырь!.. Нужно вырвать руку и уйти, не слышать больше слов старухи. Дальше от плача женщин, от их взглядов, от слов, отбирающих его у самого себя, заставляющих смотреть на себя со стороны.

Весь день был разделен, и сам он разделился в этом дне. Как свести все? А с людьми как? Крикнуть на них? Раз сказать хорошо? Мужики так делают. — Нет. Он знал, что если не угадает правды, то потеряет себя и ничем не поможет им.

Пусть постоят над ним, пусть поплачут. Теперь больше не над кем. И не перед кем! Сейчас он единственный за всех: и работник, и богатырь, и Егорий-воин на белом коне, встречающий татя ночного и не дающий ему дороги...

Подумал об этом и поразился: неужели всё оставили на него одного?! Еще год назад никто его за мужика не считал!

Стал о себе думать и отошел от всех. А когда перед собой глянул, ужаснулся даже: как мог их оставить?! Ему утешать, и никто не поможет. Ему утешать! Он бы всех обнял, всех по плечам погладил, да ведь две руки всего... Да теперь — одна! А каждую по-своему погладить нужно, каждой женщине свое сказать!..

Себе-то ясно. Сиди не сиди, а вставать надо. Начать надо, потом само пойдет. Вот у отца были руки! Что правая, что левая — мастерицы! Надо учиться... Кому же еще?

Когда он встал, то и вправду показался себе большим, даже ссутулился, чувствуя себя взрослым. Но чего они не знают, что знает он? Нет такого. Надо просто вернуть их назад, к той жизни, которая была сильна сама собой.

Солнце совсем остановилось. Далеко виднелись самые высокие тополя хутора, но и оттуда — ни движения, ни помощи.

Дорога стояла, и если б на ней показался сейчас почтальон на сером коне, то он и в самом деле мог бы сойти за вызванного заговором всадника, только сейчас коснувшегося земли, а до этого мелькавшего за облаками.

Почтальон!.. Этот утешит! Тяжела его зеленая сумка с гербом.

— Пойдемте... — вслух сказал. — Надо...

Люди не поднимались. Они и без него знали, что пора.

— Пойдемте! Поплакали—хватит... Вставайте! Гляньте, солнце уж где!

Солнце тронуло всех. Оно всех соединяет и видит. Оно и тех, кто далеко сейчас, тоже видело. Надо качнуть его и склонить день, а то так и будет стоять. Пусть движется... И мы пойдем!.. Пойдем... Ведь работы-то у нас! Люди добрые! Сколько у нас работы!..

**СОЛДАТ
И СОЛДАТКА**



Сергей
Карпущенко

рассказ

Лежал в госпитале сержант Петр Телега и все пытался понять, как же удалось накрыть его расчет вражескому минометчику.

Вспоминал Петруша, что в разгар боя, весь заляпанный грязью, пробрался к его гаубице связной от комдива и приказ принес: в пятом квадрате любой ценой дот пулеметный накрыть. Уж больно крепко он высоту держал и наших ребят там изрядно положил.

— Трудись, Телега, — сказал связной. — Приказано тебе передать: раздолбаешь дот за четверть часа — для ордена дырку крути, а нет — под трибунал прямо с поля боя уведут.

Знал сержант, где этот дот укрылся, давно заприметил. Сделал расчет аккуратно, сам навел. Бетонобойным зарядить приказал и пошел один за одним снаряды в цель укладывать. Минут десять без передышки работал, от гильз пустых проходу не стало, и только поднял снова руку, чтобы команду подать, завыло вдруг над головой натужно и сладко. Слова сказать не успел, не то что залечь, — брызнули яркие всполохи в глазах, и тут же словно кто тяжелый черный тулуп на него набросил. И всё. Не помнил уже Телега, как валился на раскоряченные станины и как потом волокли его на себе две молоденькие санитарки.

Очнулся Петр Телега уже в медсанбате и даже испугался немного. Бой вспомнил, как гильзы под ногами звенели, друг о друга колотясь, как «огонь» кричал — и вдруг все провалилось куда-то. Только койки стоят, а на них раненные бойцы стонут.

Головой двинуть нельзя — как ушанка, плотно сидит у него на голове повязка, на подбородке крепко затянута, так что и рта не открыть. Глазами в сторону повел — рука его левая на какой-то подставке лежит и

вся бинтами опутана, чуть тоньше запеленатого младенца. Болит рука сильно. И голова тоже болит. «Да,— думает Петр,— не повезло». И видит: идет к нему доктор в белом халате и внимательно сквозь кругляки очков смотрит. Ничего не сказал, только руку правую взял, пульс пощупал, на высокий табурет сел и улыбается:

— Ну как, Петр Телега, живой?

— Живой; — как смог промычал Петруша.

— С головой у тебя, брат, ничего, не сильно чиркнуло. Мышца рассечена и уха клочок отрезало, а вот с рукой дело хуже. Просто в ступень твою ладошку размолотило. Поправить нельзя, надо кисть резать. Ты готов?

Не ожидал такого вопроса Телега, приуныл.

— Какой же я буду артиллерист безрукий?

— Ничего,— смеется врач,— мы уже в Померании. Будь спокоен, сержант, добьем фашиста.

— Везите тогда.

— Только вот что, Петр Телега,— нагнулся к нему врач.— Так уж получилось, извини, весь новокаин и морфий у нас вышел. Много раненых. Операций много.

— Ну так что ж?

— Надо бы тебе анестезирующее средство принять, чтобы не так больно было.— А сам подзывает рукой санитарку.— Машенька, спиритус вини и сала шматок на хлебе.

Через минуту несет санитарка стакан и графинчик, на табуретку ставит.

— Машенька, дайте сержанту грамм двести, и в операционную сразу.

Понял Телега, упрасивать себя не стал. Только Машеньку попросил голову поддержать.

И минуты не прошло — сморило Телегу. Только и помнил, как два санитары его на носилки укладывали и куда-то несли. И то ли спирт какой-то сверхкрепкий попался, то ли ладошка уже на честном слове держалась, но как резали руку — он не помнил. Вновь очнулся Петруша уже на прежнем месте, а поверх его закутанной руки, но вроде покороче ставшей, пузырь со льдом лежит.

Перевели Петра Телегу в тыловой госпиталь, чтобы лежал он там до полного выздоровления, а медсанбат на запад с боевыми частями покатился. Стал поправляться Петруша. Голова уже совсем не болит, даже по-

вязку сняли, только на ухе, где кончик оторван, маленькую нашлепку оставили.

Лежит Петр Телега на чистых простынях и о товарищах-артиллеристах думает: как они там? Стал по сторонам посматривать. У кого рука совсем отрезана, у кого нога, а есть такие, что и вовсе безногие. Стыдно стало Петру, что без дела лежит с такой пустяковой болячкой. Принялся докторов просить, чтобы сняли бинты, думал, быстрее заживет. Не пошли ему навстречу доктора, повязок трогать не стали. «Не суетись», — сказали и накрутили новых бинтов.

Полежал Петруша еще чуток, наконец увидел свою культю. Увидел и заплакал. Где ж теперь воевать? Отвоевался! Убрал свой огрызок под одеяло, лежит и не смотрит. А ночью проснулся Петруша от странного чувства: будто не резана кисть, а, как прежде, здорова. И даже чешется малость. В точности пересчитал каждый палец, а на мизинце знакомую бородавку почувял. Выпростал из-под одеяла руку. Темно. К ночнику подошел — нет ладошки! Даже вспотел сержант.

Улегся Петруша, притих. Чувствует, будто снова рука вырастает и пальцами двигает, а главное, чешется очень, просто зверски свербит, точно клопами облеплена.

Не выдержал Телега, поднялся. Сестру разыскал, девушку молодую, — сидит в коридоре под лампой и книгу читает.

— Что же вы читаете, сестричка? — вежливо наклонился над нею Петруша.

— «Анатомию», товарищ. После войны в медицинский институт подавать собралась. А вы почему не спите? Все спят, и вам нужно.

Молчит Петруша. Про свою беду сказать стесняется. Как бы за дурака, боится, не приняли. Решился наконец:

— Вот вы скажите, милая девушка, отчего ж у меня на месте ладошки отрезанной, которая уже давно где-то в мусоре гниет, будто бы новая кисть вырастает, но если по бородавке знакомой судить, то я ее за свою давнишнюю признаю.

— Знакомый симптом, — серьезно отвечает сестра. — Фантом называется. Замечен почти у всех, кому ампутруют конечность. Нервные окончания еще свежи, поэтому и создают иллюзию наличия периферийного рецептора. Это скоро пройдет.

— Понятно, милая, понятно, — не понял Петруша, но ободрился. — А то, что зудит сильно? Как тут быть?

— Почешите симметричный отдел на сохранившейся конечности. Думаю, поможет.

— Понятно, милая, почешу.

Уже собирался идти Петруша, но медсестра вдруг сказала:

— А вы что же, товарищ, в одном белье по госпиталю разгуливаете? Или, думаете, раз война, то медицинского работника за женщину принимать не стоит?

Опешил Петр Телега, сконфузился очень. На себя посмотрел — действительно: стоит босиком, в одних подштанниках, и не слишком свежих вдобавок. Напротив — молоденькая девушка, которая, быть может, и не целовалась даже ни разу. Петруша здоровой рукой пониже рубаху спустил, извинился, как смог, и назад в палату пробрался. Лег и думает: «А ведь на самом деле, Петр Телега, обнахалился ты вконец на этой войне. Баб, почитай, четвертый год не видел. Уж и забыл, как этот фрукт пахнет. Эх, война, война! Всю природу человеческую наизнанку вывернула. Тех, кто раньше и мышь не обидел, людей убивать научила, а тому, кто прежде к женскому полу лишь через мехи гармони прижимался, стыда поубавила. Эх, непутевщина!»

Через неделю совсем поправился Петруша. Перед врачебной комиссией предстал. Культю свою вначале за спину прятал, считал, не заметят. Потом ею по столу стучать начал. Кричал, что таким обрубком снаряд ловчее в ствол загоняется.

Не поверила Петру комиссия. Демобилизовала. Еще и шутили:

— Давай, Петр Телега, оглобли к дому поворачивай. Фронту безрукие не нужны. Домой поезжай, там пригодишься.

Выдали напоследок Петруше из вещевого довольствия сапоги яловые, чуть ношенный френчик без погон, сухим пайком снабдили и документик выписали для проезда в родную Харью, что недалеко от Костромы находилась. Взметнул Петруша вещмешок на плечо и побрел на станцию.

А пассажирские поезда в ту пору ходили нечасто. Все составы, почитай, на фронт работали. То снаряды везут, то солдат к фронту, то технику тащат. Для праздных пассажиров места не оставалось, оттого и мыкались

неделями на станциях те, кто в такое неурочное время вояж затеял.

Пришел недавний сержант на станцию, а там народу — как семян в огурце. Состава дожидаются, в зале повалку лежат. И старики, и дети, и солдаты, как и он, покалеченные. Кто курит, кто закусьвает, если запаса, иные просто без дела сидят, с соседями о жизни разговаривают. Воздух в зале крепчайший, хоть бревно вешай. Понятно — какие сутки народ мурыжится!

Нашел Петруша уголок свободный, подсел к старику седому, закурил, накрутив кое-как здоровой рукой цигарку. У деда спросил:

— А что, дедуля, скоро ли поезд?

— Кто знает, как скоро. Иной говорит, добьем супостата, тогда и пойдут. Сидим покамест.

— Понятно, сидим.

Вдруг в дальнем конце зала, где портрет Ворошилова, на лошади едущего, висел, шум какой-то слышался. Народ с места повскакивал, бросился куда-то.

— Что, что? — спрашивают те, кто поближе к Петруше сидел. Никто понять не может.

Наконец крики раздались:

— Вот ты нам всем громко объясни, чтоб каждый знал, а не одному-другому на ухо!

И катится толпа из угла к центру зала, шумит и руками взмахивает. До середины докатилась и кого-то повыше подняла.

— Тише, тише! — кричат. — Комендант говорить будет!

Стихло все в зале. Комендант фуражку с черным околышем поправил, кашлянул:

— Граждане, знаете сами, время какое. Потерпеть еще немного надо. Прямо вам скажу — ни сегодня, ни завтра поезда не обещают.

Взгрустнулось Петруше, но, нечего делать, приготовился ждать. Шинелку снял, под себя постелил. В вещмешке пошуровал, буханку хлеба достал, банку консервную, ленд-лизовскую. Ножиком вскрыл и уже закусить собрался, как вдруг окликают его:

— Товарищ, товарищ, на минутку вас можно?

Поднял Петруша глаза. Стоит перед ним женщина и будто что-то важное спросить хочет. Отставил Петруша банку открытую и поднялся. Женщина улыбается, смотрит в глаза, что-то вроде спросить хочет, да, видно, не решается.

— Ну, весь во внимании, хорошая, — подбодрил ее Петр.

— Я вот вижу, хлеб у вас есть, — начала молодка. — Дай, думаю, попытаю, может обменяет товарищ на сало. Буханку на фунт.

— Во как! — удивился Петруша. — Хороший обмен. Или не жалко? Ведь сало недешево!

— Ничего, — улыбается женщина. — Поросенка недавно резала, вагон того сала натопила, а вот хлеб весь вышел.

Вспомнил Петруша о второй буханке, что в мешке болталась, провел по небритой щеке рукой здоровой и головой кивнул:

— Что ж, подавай свое сало, хорошая.

Женщина, видно, сробела немного, стушевдалась:

— Да вот беда-то какая. Не из дому я на станцию забрела, на почту ходила. Дай, думаю, загляну, попытаю сначала. А живу я на хуторе, два километра отсюда. Сходим, солдат, авось и шей у меня перехватишь.

«А чего мне здесь в вонище сидеть? — думает Петр. — Кто знает, когда паровоз подадут. Да и шей похлебать не мешало б».

— Что ж, веди, хозяйка. Фунт сала — дело интересное. Можно и ноги маленько повыкручивать.

Поднял с заплеванного пола шинелку, стал свой огрызок в рукав просовывать и вдруг заметил, что смотрит молодка на его некомплектную руку с большим таким сожалением и даже немного с досадой. Про себя подумал: «Спасибо, ягодка, что жалеешь», а вслух сказал, ни про что худое не думая:

— Не смотри, что без лапы, хорошая. Мужская сила не в пальцах сидит.

Женщина вспыхнула, зарумянилась.

Вышли они из вокзала. На улице мокрын, слякоть — к весне дело идет. Привокзальные домишки миновали, потом деревенские избы, крытые дранкой. На проселочную дорогу вышли, что меж ельника крутилась. Идут молча. Петруша к спутнице приглядывается. Разглядел — хороша молодка! Длинные бровки в разные стороны разметались, носик, чуть больше вишни, на самом нужном месте прилепился, губы как долька помидора, все лицо красят и румянят. «Гляди-ка, — думает Петруша, — в такую годину красоту сумела сберечь, будто война мимо нее воробьем стреланула!»

И одета не по-деревенски молодка. На ногах — не

сапоги, а ботики городские, короткие, блестящей пряжкой на сухой щиколотке перехвачены. Выше — чулки синие виднеются, не простые, со стрелками. Тулупчик на ней барашковый, но не кожей наружу, а черным драпом покрыт, воротник кудрявый на плечи выпущен. Шалька цветная длинной бахромой на спине плещет. «Откуда такая?» — удивляется Петруша.

А молодка идет себе, внимательно под ноги смотрит, аккуратно лужицы обходит. На Петра не смотрит и все молчит, будто до него ей и дела нет, и если б не хлебный интерес, то вряд ли с таким пошла.

Кашлянул, однако, Петруша, решил для приличия разговор завести:

— Я извиняюсь, гражданочка. В ваших краях как корова доится?

Рассмеялась хуторянка:

— Дойтся, пока снится, а утро пришло — молоко ушло.

Осмелел Петруша, ушанку поправил, ближе к женщине подошел:

— А что ж, хорошая, коль случай выпал встретиться, для порядка знакомиться надо. Меня Петром зовут, по батюшке Семеныч, а фамилия смешная малость — Телега.

— Ну, а меня — Наташей, — охотно отозвалась молодка. — Наталья Ивановна я. А что же смешного в Телеге? Приличная фамилия, посмешнее встретишь, Небаба, к примеру. Ну как мужчине с такой фамилией жить?

— А отчего же не жить? — возразил Петруша. — Небаба! Вот если бы Немужик, тогда неприятно, обидно даже!

Наталья рассмеялась звонко, сверкнув белыми зубами и золотой фиксой, и больше они не разговаривали, а скользя по талому снегу, поднялись на пригорок, обсаженный густым осинником. Деревья скоро раздвинулись в стороны, и в липких чернильных сумерках проглянули четыре-пять строений с тускло горящими оконцами.

— Лучше б нам не по дороге. Краем обойдем, — повернула Наталья на едва приметную тропку.

На крыльцо Наталья взошла первой, оставив Петрушу во дворе. Хлопнула дверь. Слышно было, прокричала в дверях:

— Лампу несите, пострелы!

В сенях застучали шаги, загремело упавшее ведро, чьи-то взволнованно-радостные голоса вылетали во двор. Сени скоро осветились.

— Заходите, Петр Семеныч. Я лампу держу. Пять ступенек наверх, не споткнитесь, — ласково позвала Наталья.

В сенях Петруша зацепился за упавшее ведро, шуму наделал, чертыхнулся.

— Ну вот что с этими сатанами делать? Куды все побросают, сороки! — громко и строго крикнула в комнату Наталья.

Петруша ноги вытер и в комнату прошел. Наталья лампу за ним несет. В комнате, с половиком лоскутным под ногами, на большой железной кровати сидели двое малых: брат и сестренка, как видно.

— А ну-ка с кровати слазьте! Сколько ж мне вам говорить, не про вас поставлена! Слезли? Вот так. Теперь поздороваться надо, гости у нас, — приказала Наталья строго и ласково вместе.

Девочка лет четырех во фланелевом платьице к Петру подбежала, ладошку вперед сует.

— Нюрочка я. А вы, дядя, кто?

Наклонился Петруша, руку девчужке пожал.

— Я — дядя Петр. Был солдатом. Сержантом даже. Из пушек стрелял, пока самому не попало.

— Из пушек, говорите? — переспросил мальчонка лет семи, что стоял в сторонке и к Петру подходить не спешил. — Из пушек? А батю нашего вы там видели? Он тоже из пушек стреляет. Павла Кудряшова?

— Нет, милый, не слышал о таком, — замотал головой Петруша.

— Ну так и не стреляли вы, значит, из пушек, а врете вы всё!

— Да ты что ж за поганец? — подлетела к мальчонке Наталья и за ухо схватила. — Уж я тебя поучу, чтоб сам не врал! Разве из пушек твой батька стреляет? Из пушек? В пехоте он, в пехоте!

Мальчонка пронзительно заревел, а Петруша вступился:

— Пожалейте мальчишку, Ивановна. Ему еще уши пригодятся, чтобы пилотка на щеки не сползала.

Рассмеялась Наталья, бросила сынишкино ухо, голову его к животу прижала, гладит:

— Ладно, не реви бычком, помиримся. Иди поиграйся с Нюркой, а я на стол соберу. — И к Петру обраща-

ется: — А вы, Петр Семеныч, побудьте у нас. Шей нагрее, картох отварю, а там и дело за салом не станет. Успеем договориться, ладно?

Ушла Наталья на кухню. Слышно, лучину щепит, печь разжигает остывшую, а Петруша в комнате остался. Сидит за столом у лампы. Тепло ему и уютно. Сидел бы таким манером лет пять, кажется. Сапоги б еще сбросить — зверски жмут ялычи неразношенные, но где же здесь сбросишь? Неудобно!

Ребята опять на кровать забрались, сидят — ни гу-гу! — на Петрушу посматривают, а он на них. Нюрочке подмигнул, рожу смешную скособочил. Та смеется! Потом не утерпела. Платышко задирая, с высокой кровати на пол спустилась, к Петруше бежит, на коленку забраться хочет — высоко! Подсадил девчущку Петруша, и будто бы обожгло пальцы, когда за теплое тельце взялся: четыре года в руках, кроме стали холодной, ничего не держал, а здесь все живое и теплое, — прямо затрясся! А Нюрочка обе ладошки ему на здоровую руку кладет и в глаза заглядывает:

— Дядя Петр, ты домой едешь, к мамке?

— К мамке, милая. Да не знаю, увижу ль живую.

— А к нам, дядя Петр, ты зачем пришел?

— Я с твоей мамкой меняться задумал. Хлеба у меня две буханки, а у вас хлеба нет.

— Как же нету? Есть у нас хлеб, дядя Петр, — пропищала девчущка. — Мамка сегодня пекла.

Не поверил Петруша:

— Врешь ты, поди, воробей. И откуда здесь хлеб?

— Не вру я, не вру, — прыгнула Нюрочка с колена и к буфету бежит, дверцу открыла.

Мальчик с кровати пугнул сестренку:

— Вот подожди, излупцует-то мамка!

Глянул Петруша на полку буфета, а там в полотенце завернуто что-то. Отдернула Нюрочка уголок, а в полотенце два хлеба лежат. Большие. С тыкву, не меньше.

— Видел, дядя Петр?

«Ого, — думает Петруша, — это что же за пироги такие? Или бережет для какого случая? Нет, навряд ли. Зачем ей беречь?»

Струхнул маленько бывший сержант, понять ничего не может. «А нет ли подвоха какого? — подумал. — Вражеской каверзы?» Уже собирался в сени пробраться и деру дать, но будто бы кто надоумил, соображение

нашлось. Вспомнил Петруша Натальины губы, как помидор красные, и городские ботики с застежками. Улыбнулся тут Петруша и о себе с достоинством подумал: «Вот, дескать, и я, безрукий, у баб применение найти могу». Вспомнил, как смотрела на его обрубок Наталья, то ли с сожалением, то ли с досадой, и усмехнулся.

Между тем хозяйка в комнату вошла, улыбается. Кофта на ней атласная, под грудью туго натянута, юбка плисовая складками шуршит, на плечах шалька пестренькая, не та, что раньше на голове была, новая. Фитиль у лампы сильней вывернула — светлей стало в комнате, радостней.

— Керосином освещаемся, а вот до войны лампочка висела. Теперь ведь станцию немцы разбили, а починить некому, — словно извинялась перед гостем Наталья.

Потом скатерть со стола сбросила, новую постелила, посвежей. Снова в кухню ушла, глядь — казанок несет, а оттуда пар густо валит. Крякнул Петруша и в вещмешок полез. Хлеб достает, словно здесь его только и не хватало, и банку консервную, на вокзале открытую. Наталья огурцы на стол поставила и дверцами буфета скрипнула. Слышно, как звякнули рюмки. Потеплело у Петруши в груди: «Вот так приключение! Одно слово — нарвался. Повезло!»

На четыре тарелки Наталья щи разлила, передник сняла и сама за стол уселась, рядом с Петрушей. Налили по целой. За скорую победу выпили, и сразу еще по одной, за то, что живы остались. Стали щи хлебать. Петруша руку с культей на колене держит, все одной рукой управляет. Сам на хозяйку поглядывает, та на него. Разговорились. Она все о фронтовых делах спрашивает, а Петруша охотно отвечает — есть о чем рассказать. Наталья слушает. Слушают и ребяташки, притихли. Хозяйка то смеется, то вдруг за платочком в рукав лезет, на Петра с удовольствием глядит, сама чуток охмелела.

Чувствует тут Петруша, что нога Натальи к его ноге под столом прижалась, да так и осталась на месте. Плотная такая нога. Под тонким плисом так бедро и играет.

Перехватило у Петруши дыхание, слова сказать не может, но помог ему случай один: Нюрочка на платьишко ложку щей пролила. На мать глядит и плачет — то ли платья жалко, то ли ждет, что отшлепают.

Наталья ради гостя дочку шлепать не стала, а сказала лишь:

— Э-эх, и порося же ты, Нюрка. Грязное порося!

Поели картошки. Еще выпили. Поднялся Петруша, чтоб покурить в сенях. К окошку подошел и на улицу смотрит, а на дворе уж ночь гуляет. «Эге, — думает Петр, — если прогонит, придется дорогу до станции задом искать». В это время Наталья подходит, плечом к нему жметя:

— Петр Семеныч, ну куда ты пойдешь? Сам видишь, тьма кромешная. Того и гляди, какой дурак привяжется. Хочешь — оставайся. Места хватит. Я тебе в кладовке постелю. Ладно?

Только кивнул Петруша и через сени на крыльцо вышел, сигарку свернул. На дворе тепло. Навозцем, на снегу замокшим, пахнетпряно, корой березовой от сложенных рядом дровишек. Тихо. Только где-то вдали звонкий песий лай буравит темень: цань! цань! цань!

«Вот уж повезло! — улыбается широко Петруша, так что губы сигарку не держат. — Ведь четыре года, кроме гаубицы да винтовки, женского рода ни черта не видел. А тут на тебе!»

Не докурив даже, в дом вернулся. В комнате ребята спать собрались. Лежат на большой кровати. На Петрушу головы подняли, смотрят с интересом.

— Эх, воробьи-воробушки! — подмигнул им Петруша, а сам за стол уселся и самогону еще налил. Выпить не успел. Смотрит, а из сеней Наталья ему рукой машет. Петруша рюмку поставил и к ней идет.

— Сюда заходи, Семеныч. Здесь твоя лежанка, — улыбается Наталья и на дверь показывает. — Кладовочка тут. Заходи и ложись. Иль ты всю ночь сигарки смолить собрался? — И хохотнула чуть смущенно.

— Ну, а ты-то, хорошая, — шепчет Петруша, — чай, тоже не за куделю возьмешься? А?

Еще раз хохотнула Наталья и в комнату ушла. Петруша в кладовочку пробрался, на ощупь кровать нашел, из досок сколоченную: там уж постелено. Сапоги с удовольствием с ног распухших стащил, галифе сбросил. На портянки ноги поставил, сидит и пальцами пошевеливает. Наконец и совсем лег.

Лежит Петруша минут десять. Вдруг дверь в кладовочке скрипнула, и слышно, босыми ногами ступая, идет к нему кто-то. Вздвогнул Петруша, к стенке жметя, место на узкой кровати готовит. Вдруг тонкие ладошки

ему на руки легли, и слышит Петруша-Нюрочкин голос:

— Дядя Петр, ты не спишь?

— Не сплю, милая, что тебе?

— Дядя Петр, не ходи ты к нам больше, у нас папка есть. Ладно?

Ничего не успел ответить Петруша, а маленькие ножки снова на полу зашлепали, и дверь опять тихонько скрипнула.

Муторо стало Петруше, а отчего — сам не знает. То ли самогон с сивухой попался, то ли шей кислых переел. От живота к самому горлу катится комок, а в ушах — Нюрочкин голос: «У нас папка есть, у нас папка есть».

Немного времени прошло, снова дверь скрипит, опять шаги слышны. Повернул Петруша голову, а в кладовочке Наталья с горящей лампой стоит и молча улыбается. Сама в белой длинной рубаше, а поверх нее телогрейка на плечи наброшена. Волосы у Натальи, что раньше на затылке пучком были связаны, теперь по телогрейке вьются, блестят и лоснятся, аккуратно гребешком расчесанные. Берет Наталья рукой тяжелую пряжку с груди и на спину забрасывает, будто мешала, а волосы так волной и колышутся, самоварным блеском мерцают. Говорит грудным шепотом Петруше:

— Ох, и жарко в избе, не спится. Дай, думаю, на гостя взгляну, спрошу, все ли ладно. А если не спит, побалакаем вместе о разном. Не прогонишь, Семеныч?

— Я хозяев гонять не обучен, — отвечает Петруша. — Садись, коль пришла.

Ставит Наталья лампу на пол, смотрит по сторонам:

— Жаль, что стула здесь нет, ну да я к тебе примощусь. Не прогонишь? — А сама плечом дернула, сбросила телогрейку и к Петру идет.

— Подвинься-ка малость, Семеныч. Эка ты! С виду тощий, а разметался, точно куркуль.

Петруша к стене молча прижался, а Наталья рядом со скрипом и оханьем уместилась. Молча лежат, слышно только, как шумно дышит хозяйка. И чувствует Петруша, как жжет его ногу горячая Натальяина нога, спасу нет, хоть кричи, а давешний ком у него в горле под самым языком, а в голове Нюрочкин голос, как кувалдой грохочет: «Папка есть, папка есть». И думает Петруша: «Нет, не обижу я папку твоего, воробей, хоть он и пехота, не обижу!» И спрашивает Наталью:

— А скажи мне, хорошая, ты от супруга своего письма давно ль получала?

Видно, не в жилу Наталье пришелся вопрос, не сразу сказала:

— А на прошлой неделе, Семеныч. Тебе что за дело?

— Ну и как он там? Бьет гадов?

— Что ж ему делать, бьет, конечно. К ордену, пишет, представили. Да только зачем ты об этом, Семеныч?

— Во как! К ордену, говоришь? Толковый, значит, боец, раз к ордену. Я ему не чета. У меня и медалей не густо, а вот гляди, как орденосца обскакал. Впрямь на телеге объехал!

— О чем это ты? — встрепенулась Наталья.

— Известно о чем! Он там, а я — здесь. С женой его самогон трескаю да в постели греюсь, когда ему, может статься, кровь отворяют. Да и ты хороша! Зачесалось? Точно?

Промолчала Наталья.

— Что ж молчишь, хорошая? Хоть словечко ответь.

— Словечко? — злобно сказала Наталья. — А разве не все уже сказано? С лихвой, кажись, за двоих. Ты мне свой суд уже вынес. Чего еще хочешь? Чтоб оправдалась? Ну ладно, смотри! Вот мое оправдание!

Вскочила Наталья с постели, за лямки рубахи со злобой дернула, и, скользнув, упала к ногам рубаха.

— Не пужайся, солдат, не пужайся! Посмотри, ну мне ли одной жить? Что я с собой могу поделывать? Подскажи! И ведь не я тут виновата — война эта чертова, да будь она проклята! А то стала б я тут с тобой бесстыдничать!

Отвернулся Петруша. Что сказать, не знает, а Наталья оделась, на постель к нему села, спиной повернулась.

Долго молчали солдат и солдатка, а после спросила с усмешкой Наталья:

— Что ж, прогоняешь, Семеныч?

Снова в Петруше злость ходуном заходила. Хотел было встать да отмутузить Наталью, но вдруг будто ужалило что-то: вспомнил, как качала головой девочка-санитарка, когда он ночью перед ней раздетым стоял, и как ругал потом войну — ту ужасную непутевщину, что людей наизнанку выворачивает.

Молча поднялся Петруша. Одной рукой наvertsел портянки, тесные ялычи со злобой натянул и разыскал

шинелку. Лампу с пола поднял. В сени вышел. На цыпочках, тихо ступая, в комнату к детям прошел. Недолго смотрел на Нюрочку, поднеся поближе лампу.

— Эх, воробей-воробушек, — сказал он напоследок и в сени вышел.

Там, уже у двери, ведущей на крыльцо, обхватила за шею Наталья, горячо шептала Петруше в лицо, с мольбою просила:

— Останься, Семеныч, останься! Ну прошу же, останься, останься!

Наталью Петруша оторвал от себя с трудом. Тяжело дыша, сказал:

— Вот привязалась, зараза!

С минуту сердито сопел, тыча сапогом в половицу, потом, не глядя на хозяйку, стал снимать шинель.

БЕСЕДЫ
О БЕЛКАХ



Николай
Марков

рассказ

Двухэтажный санаторий стоял посередине сада. Розовая штукатурка местами облупилась. К одному боку здания прижимались огромный клен с вороньим гнездом и труба с дымом. Прямо над трубой, высоко в небе, замерло солнце.

Каверзнев, выйдя из кочегарки, посмотрел на дым, расчесал ежик на голове и потрогал короткую бородку. Площадка перед санаторием была посыпана красной кирпичной крошкой. Каверзнев пересек площадку, сел на прохладную садовую скамейку, раскрыл газету. На клумбе, в весенней земле, копалась девочка.

— Опять руки выпачкала, — проговорила женщина, сидящая на другом конце скамейки.

Она вытянула из рукава белого свитера платочек и, подойдя к девочке, вытерла ей руки. Каверзнева поразила фигура женщины: плечи и талия узкие, а бедра, обхваченные вельветовой юбкой, круто раздавались.

— Я орешки сажаю, — сказала девочка и заплакала. — Белок же все равно нету. Зачем ты обманывала, что здесь белки живут?

— Жили, — ответила женщина, садясь на скамейку. — Я же не знала, что они исчезли.

— Все ты знала. Да еще как!

Женщина повернулась к Каверзневу.

— Раньше здесь были белки?

— Раньше были, — сказал Каверзнев, — это точно.

Девочка подошла и прижалась к матери.

— А улитки на заливе есть? — спросила она.

— Ракушки, — поправила женщина. — Улитки в траве живут.

— Я видела по телевизору улиток, они плавали в воде.

Каверзнев улыбнулся девочке.

— Вот надо было открыть сверху телевизор и доставать их, как из аквариума.

Девочка подумала, даже посмотрела на облако.

— Нет, так не бывает.

Женщина улыбнулась широким подкрашенным ртом и прищурила на Каверзнева глаза. Они у нее тоже были необычные, как и фигура. Они излучали сплошной синий свет. Такие глаза на портретах Модильяни.

— Вы кочегар? — спросила женщина.

Каверзнев показал руки, замазанные антрацитом.

— Вот видишь, — сказала девочка, — он взрослый, а руки у него выпачканы.

— У него работа такая, — сказала женщина и снова улыбнулась Каверзневу. — Ведь сейчас тепло, можно и не топить.

— А горячая вода для столовой, для душа? Да и ночи еще прохладные, а если ветер с залива, то совсем как зимой, — ответил он.

Залаяли собаки. От домика, стоявшего в глубине сада, по аллее шла старушка в белом халате. Рядом с ней бежали две таксы, болонка и белый в черных яблоках дог.

— Это сестра-хозяйка? — спросила женщина.

Каверзнев кивнул и, аккуратно сложив газету, сунул ее в карман. Старушка подошла к скамейке, и собаки легли на кирпичную крошку.

— Вот и новая смена прибывает, — проговорила она.

— А белье у вас можно получить? — спросила женщина и встала, положив на голову девочки узкую кисть.

Кольцо на пальце сверкнуло на солнце.

— Да, через полчаса подойдите, — ответила старушка.

— Виктория Федосеевна, вы, наверное, знаете, что с белками случилось? — спросил Каверзнев.

— Как не знать. Одна отдыхающая кормила белочку с ладони, да захотела поцеловать. А белка укусила ее за губу. Заражение пошло, а потом и совсем ее параличом разбило. А муж приехал и всех белочек перебил. Да было-то их три.

— А что, больше не собираются завести?

— Куда там, — махнула рукой старушка и пошла к санаторию.

Собаки, как свита, побежали следом. Старушка вошла в санаторий, а собаки остались на крыльце у дверей. Таксы легли, как сфинксы.

— А зачем у нее много собак? — спросила девочка.

— Старушка совсем одинокая, — сказал Каверзнев, — ей, наверное, надо за кем-то ухаживать и чтобы кто-то любил ее за это постоянно. Отдыхающие приехали и уехали, а собаки у нее всегда.

— И совсем никого у нее нет? — спросила женщина.

— Совсем никого. Сын был единственный, да и тот погиб в аварии. Архитектором был. Она здесь и живет, домой не ездит.

— Мой папа тоже архитектор, — проговорила девочка.

— Археолог, — поправила женщина.

— Правильно. Это я забыла. Но он с нами не живет. Он только в садик ко мне приходит. Он в Африку ездит, и у него вот такая борода, больше вашей.

— Да какая у меня борода! Я только отпускать начал.

— А зачем? — спросила женщина.

— Так, для разнообразия.

Девочка молча перешла к другой скамейке через дорожку, села на нее и заплакала. Женщина растерянно посмотрела на Каверзнева.

— С самого утра слезы. Что делать? Уж думаю, не вернуться ли?

— Не надо. Приехали — отдыхайте. Как ее звать?

— Юля.

— Юля! — Каверзнев подсел к ней. — Вот — что ты хочешь?

— Домой.

— А на залив не хочешь? Ракушек пособираем, и вообще там много всякой всячины.

— Правда, сходи на залив, — попросила женщина. — А я пока белье получу, чемодан разберу.

— Ладно, — согласилась девочка.

Она взяла из сумочки матери целлофановый мешочек, надула его, как шар, и пошла рядом с Каверзневым по утрамбованной дорожке, через сад к сосновой полосе, за которой был залив. Когда они вышли на песчаный берег, их сразу обдало ветром, и девочка подняла капюшон японской курточки. Далеко в залив ухнула гряда камней, на которых фарфорово белели чайки. Залив напоминал стиральную доску, и волны одна за другой выпрямлялись о берег. Каверзнев с девочкой зашагали по отшлифованной волнами полосе. Песок на ней был упругий, и кое-где белели спинки ракушек. Ка-

верзнев, заметив, что девочке интересней находить ракушки самой, делал вид, что не замечает их. Скоро собрали пол целлофанового мешочка. Каверзнев спугнул чайку с камня и сам сел на него, подвинулся, девочка села рядом. Она стала перебирать ракушки на коленях.

— И что ты будешь с ними делать? — спросил Каверзнев.

— Играть в море, в океан.

— А тебе очень хотелось белок увидеть?

— Очень. Вот зачем он убил их?!

— Наверное, он сильно любил свою жену. А твой папа тебя любит?

— Любит.

— А почему он не живет с вами?

— Мама говорит, что он высоко залетел. — Девочка приставила к глазам ракушки и посмотрела на солнце. — А люди же не летают.

— Это точно, — сказал Каверзнев. — А кем мама работает?

— В больнице. Врачом.

— А лет тебе сколько?

Девочка показала шесть пальцев с прилипшими к ним песком и водорослями.

— Пойдем помоем руки и — обратно, — проговорил Каверзнев.

Он зачерпывал горстями воду и лил на ладонки девочке. Пальцы у нее стали красными.

Когда они вошли в сосновую полосу, ветер стих. На деревьях в саду сквозила первая зелень, и казалось, что кто-то повесил на них сушиться зеленые сети. Собак на крыльце санатория не было. Каверзнев с девочкой поднялись в холл. Женщина сидела за пианино и брала аккорды. Было солнечно и просторно. Девочка по красному ковру подошла к матери и положила на клавиши мешочек с ракушками. Женщина кивнула стоявшему у дверей Каверзневу и улыбнулась. Каверзнев тоже улыбнулся и вышел. Он спустился в кочегарку.

К ужину прибыло еще десять человек. Каверзнев, сидя в холле, через стеклянную дверь видел женщину с девочкой за столом. Девочка ничего не ела, отвернувшись от дымящейся тарелки к окну.

После ужина они сразу стали подниматься к себе в номер по лестнице с резными перилами. Каверзнев смотрел на них. Женщина оглянулась на него, покачала головой и что-то сказала девочке. Девочка помахала

ему рукой, словно протирая стекло. Лицо у нее было заплаканное, и Каверзнев заметил, что глаза у девочки такие же синие, как у матери.

Через час женщина спустилась к дежурной медсестре. Возвращаясь обратно, она стряхивала термометр, у нее было озабоченное лицо. Второй раз она спустилась, когда заканчивалась телевизионная программа. Взглянув на экран, прошла через холл на улицу. Каверзнев через минуту вышел на крыльцо.

С крыши санатория в сад бил прожектор. Под деревьями были разостланы отчетливые тени. Женщина белела свитером на скамейке. Каверзнев, отбрасывая длинную тень, задевающую стволы деревьев, подошел к скамейке и сел.

— У нее температура?

— Нет, — устало ответила женщина и потерла виски: — Просто плачет. Хочет домой. Почему я ее обманываю? Думала, отдохну, взяла путевку, а здесь не легче.

— Ничего, освоится.

— Хоть когда она спит, надо отвлечься. Вы давно здесь работаете?

— Год.

Он не отрываясь смотрел на ее профиль.

— А я два года назад здесь отдыхала. И что ж, работа нравится?

— Надо где-то работать. А здесь сутки работаешь — трое отдыхаешь.

— И чем занимаетесь трое суток?

— Чем? Читаю. Столярничаю, есть верстак на веранде. Езжу иногда в город на стадион, в театр, в кино. Да и дом надо в порядке содержать. Сад.

— У вас свой дом?

— Раньше дача была, — сказал Каверзнев. — А с женой как развелись, ей с дочкой — квартира, а я — сюда, в поселок. Утеплить, подделал — теперь дом.

— Почему с женой развелись?

— Так. Ушла.

— Отчего? Мужчина вы интересный и не пьете вроде.

— Ну, это не главное в мужчине. Я ведь раньше офицером был.

Женщина подняла брови.

— Вот как? И какое звание?

— Капитан-лейтенант.

— А, моряк, значит. И на корабле служили?

— На подводной лодке.

— И что ж ушли с нее? Почему?

— Комиссовали по состоянию здоровья.

— Такой здоровяк! А что именно?

— Неважно.

— А все-таки, если не секрет. У меня чисто профессиональный интерес. Я же врач.

— Неважно, — повторил Каверзнев.

Он отвел глаза от женщины и стал смотреть, как дым из трубы задувается ветром на свет прожектора.

— И жена после этого ушла? — Женщина положила на его руку свою ладонь, теплую, горячую, напитанную током, и заглянула ему в глаза. — Простите, когда человек интересен, то хочется узнать о нем побольше. — И она отняла ладонь.

— Странно, — сказал Каверзнев, — вы даже не знаете, как этого человека звать.

— Я знаю, вас звать Саша. А меня — Маргарита.

Дверь санатория открылась. На крыльце появилась девочка в пижаме.

— Ну вот, — проговорила Маргарита, — это за мной. И не видать мне сегодня сна.

Она встала и, шурша кирпичной крошкой, направилась к девочке. Они ушли, а Каверзнев долго смотрел на блестящие чернотой окна санатория. Рука, в том месте, где прикоснулась ладонь женщины, еще была теплой, и на нее словно кто-то легонько дул. По саду пробежал дог. При игре света, теней и дыма он казался огромным, и фосфорично-жутко блеснули его глаза.

Утром Каверзнев сдал смену и ушел, когда санаторий еще спал.

Через три дня Каверзнев принял дежурство. В кочегарке он снял синюю материю с коробки, которую принес с собой. В коробке было колесо с белкой. Он выключил тормоз, и белка побежала в колесе. Каверзнев вынул белку и, выйдя с ней на улицу, выпустил ее на клен. Белка цепко побежала по стволу вверх. Дог лениво залаял на нее с крыльца. Белка юркнула в воронье гнездо и, выглянув оттуда, зацокала на собаку. Каверзнев прибил кормушку к стволу клена.

Когда Каверзнев появился в холле, в столовой уже позавтракали. Отдыхающие выходили из нее и собирались вокруг лекарственного столика. Около дверей разговаривали сестра-хозяйка и официантка.

— Завтракать будешь? — увидев Каверзнева, спросила официантка.

— Нет. — Каверзнев качнулся с каблуков на носки. — А что, отдыхающая с девочкой здесь?

— Уехали, — сказала сестра-хозяйка. — Еще вчера уехали. Больно уж девочка капризная.

— Заинтересовался, — улыбнулась официантка.

Каверзнев пожал плечами и толкнул дверь на улицу.

В кочегарке он сел в старое кресло, придвинул полено и стал вырезать из него фигурку...

Когда Каверзнев вышел из кочегарки, был полдень и солнце стояло прямо над трубой. Каверзнев осмотрел кормушку. Отдыхающие засыпали ее всякой всячиной на целую неделю. Он отвел глаза от кормушки и увидел Маргариту. Она шла к нему по площадке, держа в руке большой кожаный чемодан.

— А я вас поджидала, — сказала она и поставила около дерева чемодан. — Я вижу, здесь белка появилась?

— Да вот, хотел сделать приятное.

— А мы всё. Уже отдохнули. Вот приехала забрать вещи.

— Жаль, — сказал Каверзнев, — очень жаль.

— Жаль. А что делать?

— Очень жаль, — сказал Каверзнев.

Она развела руками.

— Вот хотела вас увидеть. Поблагодарить за внимание к нам.

Она подняла чемодан и протянула ему руку. Он пожал ее ладонь и отпустил.

— А может, вы белку возьмете? — спросил он. — Пусть дочка играет. У меня и колесо есть.

Женщина поискала глазами белку и поцокала ей языком. Белка замерла на ветке, посмотрела вниз и стала мыться.

— Нет, спасибо. Я думаю, что за ней нужен уход. А у нас некому.

— Что ж, прощайте, — сказал Каверзнев.

Женщина пошла по аллее, опрятно посыпанной кирпичной крошкой. В конце аллеи она оглянулась, свернула за подстриженный кустарник, и ее не стало видно. Оттуда дорога вела на шоссе, по которому автобусы ходили до электрички, а электрички — до города, в котором она жила.

В ОЖИДАНИИ ПОЕЗДА

рассказ

Как-то в начале июня Нина возвращалась с работы берегом реки, на котором разросся шиповник с влажно тлевшими на нем цветами. Впереди, в низине, раскинулось село с березовой рощей, садами, а ее дом выглядывал из яблонь шиферной крышей. Нина сняла туфли и шла босиком по новой щекочущей траве. За селом вдалеке, по мосту, как сороконожка, пробежал поезд. Оттого, что кругом все ново, красиво, думалось о хорошем и мрачных зимних мыслей не было. Будущее представлялось ясным: вот сестры закончат школу, а это через четыре года, поступят куда-нибудь учиться или работать, ей тогда будет уже двадцать три года, и она вернется в медицинский институт, который пришлось бросить после смерти матери.

Возле деревни, где пологий песчаный берег, она увидела купающихся. Это место называлось коровьим пляжем. На берегу, около самой воды, горел костер. Возле него, на выброшенном в половодье бревне, сидело несколько девочек, а мальчики плавали в воде. Поднятая брызги и ныряя, они гонялись друг за другом. По реке, против течения, напряженно протянулась моторная лодка с поднятым носом, и купающиеся запрыгали навстречу волнам. Среди девочек Нина узнала своих сестер. Они тоже увидели ее и пошли навстречу по песку. Сестры были в школьных платьях и подстрижены под мальчишек. Стрижку они сделали тайно, подражая ей. У них уже были проткнуты уши, и они носили дешевые сережки. Среди вылезших из воды мальчиков Нина заметила и тех, с которыми сестры дружили.

— Купались, что ли? — спросила Нина, когда сестры пошли рядом.

— Да нет, — сказала младшая, Вера, подстраиваясь в ногу, — вода еще не нагрелась.

— Да нагрелась уже, — возразила старшая, Оля, — только не хочется.

— Пообедать-то успели?

— Успели. А у Волковых сегодня хорек курей подушил, — сказала Вера, стараясь делать широкий шаг,

чтобы наступить на голову своей тени.— Он, говорят, у них мозги высасывает. Десять штук подушил.

За спиной раздался свист, все трое повернули головы. Мальчики стояли вокруг костра, протянув ладони к огню.

— Это Дуля. Это он так свистит,— сказала Оля.

Немного не доходя до первых домов, сестры побежали обратно. Нина обула туфли и пошла по селу мимо домов, украшенных деревянными узорами вокруг окон. Калитка Волковых была открыта. Там, под яблоней, сидела старуха Волкова и ощипывала кур. Рядом с ней возвышался небольшой сугробик птичьего пера.

Нинин дом стоял напротив магазина. Она купила в магазине подсолнечное масло и, перейдя улицу, открыла свою калитку. Во дворе, между яблонями, на шпагате сохло белье. Под ним шевелились тени, и среди этих теней и света бродили куры, роясь в земле. Нина перешла на террасе в выгоревшее ситцевое платье, вынесла из дома, из кладовой, ведро с пшеницей и высыпала его в узкое дощатое корытце. В один миг вокруг него выросла живая клумба из кур и петухов.

— Цып, цып, цып,— приговаривала Нина.

Потом она кормила в сарае радостно хрюкающую свинью. Убрала у нее в загончике. Взяв полотенце, пошла за дом, где в углу сада был небольшой водоемчик, из которого поливали огородные грядки. Вода в нем все лето была прохладная потому, что на дне бил родник. На мостках стояла лейка. Нина сняла платье и, набрав с мостков воды в лейку, стала обливаться из нее, как под душем. Она быстро растерлась полотенцем и вернулась в дом. Потом стала аккуратно чистить на крыльце картошку, изредка сгоняя с лица пристающих мух. Потом она затопила во дворе летнюю печь и, убрав круги, поставила на плиту чугунок. Пока варилась картошка, она успела вымести в доме. Потом снимала белье, которое складывала в таз, а прищепки зацепляла за шнурок на шее, и они висели, как бусы.

Скоро на улице послышалось мычание. Она открыла ворота. Сестры вогнали корову, над которой вихрились розовые от закатного солнца мошки. Привязав корову, сестры, смеясь, сели за дощатый стол под яблоней и стали есть картошку, запивая холодным молоком. Нина села напротив и, подперев рукой подбородок, смотрела на них. Сестры переглядывались, прыскали со смеху, и было заметно, что они пинают друг друга под столом.

— Ну что разбаловались,— сказала Нина,— смешинку проглотили?

— Угу,— улыбнулись обе, переглянувшись, разом макнули картошками в подсолнечное масло.

Поужинав, сестры сделались серьезными и встали рядом, словно собрались петь.

— Ну что еще? — сказала Нина.

— Мы пошли на вокзал поезд встречать? — спросила старшая.

— Чтобы к двенадцати дома, как штык.

Сестры ушли. Нина села доить корову, та грустно вздыхала и хлестала себя по бокам хвостом, а Нина всякий раз повторяла:

— Не балуй.

А когда она процеживала на крыльце молоко через ситечко в стеклянные банки, сзади хлопнула калитка. Это пришла ее одноклассница Шагуева. Она работала продавщицей. На поводке, около ее полных ног, крутилась болонка.

— На вокзал не пойдешь? — спросила она, останавливаясь около печки.

— Нет, не хочется,— ответила Нина, садясь на крыльцо.

— Чего так? А потом бы на танцы, в клуб.

— Что-то за день так намоталась — не до танцев.

Болонка сунула нос в золу, по всей видимости, наткнулась на уголек, завизжала. Шагуева взяла ее на руки, проговорив:

— Вот, не будешь совать нос куда не надо,— и вышла со двора.

«Конечно, можно бы пойти на вокзал, но только не с Шагуевой. Снова начнет рассказывать, как она училась в городе на продавщицу, и как два раза была в ресторане, и как три раза ездила на такси. Потом ходить с ней по платформе с этой дурацкой болонкой, которую она привезла из города. Для нее гулять с болонкой — это верх всякого шика», — думала Нина.

После того как все белье было переглажено на террасе при электрическом свете, она последней теплой простыней застелила кровать и, выключив лампочку, легла. Было слышно, как большие часы пробили двенадцать, как лают собаки, как протарахтел на улице мотоцикл. Луна сквозь стекла освещала террасу, и на ней было светло. Хотелось спать. Слышно хлопнула калитка. Шепчась и смеясь, скрипя половицами, сестры дол-

го укладывались за стенкой. Снова пробили часы. Вспомнились почему-то практические занятия в морге и похороны матери.

На другой день, с утра, управившись по хозяйству, она оставила записку сестрам и ушла на работу. Медпункт находился при вокзале, в небольшой свежeweбеленной комнате. В ней стояла кушетка, накрытая простыней, на письменном столе литровая банка с одуванчиками и стеклянный шкафчик с медикаментами. Когда проходил мимо поезд, шкафчик стеклянно звенел пузырьками.

Утром прискакал мальчик с проткнутой гвоздем ногой. Нина перевязала ему ногу. А после обеда приехал на мотоцикле Шестерин, электрик. Он обслуживал два села: одно большое при станции, со школой и клубом, и второе, в котором жила Нина. От одного села до другого три километра, и Шестерин гонял туда-сюда на мотоцикле.

— Сто грамм спирта пропиши, голова раскалывается, — попросил он, садясь на кушетку.

— Ну куда на чистую простынь? — сказала Нина. — Вот же стул.

Шестерин, как бы испугавшись, подскочил и пересел за столик напротив Нины. Взял у нее из рук книгу.

— «Психология», — прочитал он и перелистнул учебник. — Неинтересная, картинок хороших нет. Где-то у тебя «Анатомия» была, вот там картиночки что надо.

— Жениться тебе надо, а не картинки рассматривать, — сказала Нина.

— Ты же не пойдешь?

— Я не пойду, а вон Валька-артистка или Шагуева, чем не хороши?

— С ними же тоска зеленая. Обе с бзиками, ну их.

Шестерин говорил больше часа и перескакивал с одной темы на другую. А Нина смотрела на него и вспоминала, какой он был интересный, когда учился в старших классах. Перед самой армией ему в глаз попал осколок бутылки, которую они взорвали карбидом. В армию его не взяли, и он уехал на стройку, но скоро вернулся.

— Да там женщин красивых нет, — сказал он.

За пять лет он побывал на нескольких стройках и, возвращаясь, говорил, что там женщин красивых нет. Сейчас он стал сутулиться, по вечерам бешено носился на мотоцикле и каждую неделю собирался уехать на стройку.

— Поехали вместе, специалист я толковый.

— А сестер куда? — спросила Нина.

— В интернат.

— В таком случае лучше учиться.

— А я все равно уеду. Уеду хоть на край света, хоть к черту на кулички.

Когда он ушел, Нине еще долго слышался его голос.

Вернувшись с работы, она снова занялась по хозяйству: кормила свинью, кур, копалась в огороде.

Лето проходило в постоянных хлопотах. Сестры помогали, но всегда их надо было просить. Нина не успевала окучить картошку, как надо было полоть грядки. Как назло, почти до середины июля не было хорошего дождя и солнце пекло с утра до вечера. Надо было часто поливать грядки. А когда после прополки она ложилась спать, еще долго маячили перед глазами земля, сорная трава и горели ладони.

А в конце сенокоса косить ей помог сосед Дымов, седой старик с черными бровями. В августе пошли грозы, одна за другой, с сильными ветрами и молниями. В грозовые ночи Нине казалось, что кто-то бо-сиком шлепает под окнами веранды и постукивает по стеклу подушечками пальцев. А молнии вспыхивали за стеклом электросварочным дрожащим светом, и на веранде становилось светло, как в аквариуме. Но даже в такую погоду сестры ходили на станцию и возвращались после двенадцати.

Однажды ночью плача прибежала почтальонша. У нее умирал муж. Оказалось, что он опился одеколоном. Нина часа два отпаивала его теплым молоком, а когда возвращалась домой, небо уже было звездное и как новенькое. Нину окликнул старик Дымов, сидевший на лавочке у своей калитки.

— Чего-то там? — спросил он. — Захворал кто?

— Мужик почтальонши одеколоном упился, — сказала Нина.

— Каким? — спросил Дымов.

— Есть ли разница.

— Тройной, наверное. Я вот думаю: зачем продавать одеколон, если его пьют? Не надо, баловство это. Да ты садись.

Нина села, поставила медицинский саквояж между Дымовым и собой.

— Дай, дедушка, сигаретку!

Дымов щелкнул портсигаром, достал сигарету, раз-

ломил пополам. Одну половинку дал ей, вторую сунул в самодельный вишневый мундштук. Чиркнул спичкой, прикурил сам, потом прикурила Нина.

— Ох и пьют мужики,— бабьим голосом сказал он.— Я давеча к утреннему поезду ягоды снес продать, а Венька Кипешуй уже во все горло песни распевает. Один мужчина купил у меня малинки. Серьезный такой. «Ох, мужики пьют,— говорю я,— не приведи как». А он отвечает: «Да, совсем от рук отбились. Дисциплина нужна железная, как в армии». Так и сказал. Видно, что человек старой закалки. Раньше порядку больше было. В строгости держали. Опоздал на работу — под суд, своровал карман пшеницы — получи три года, чтобы неповадно. А начальство уважали. Попробуй скажи слово супротив, враз упекут туда, где у черта от кочерги прикуривают, вот так. Дали слабинку-то, дали.

Нина бросила окурки в палисадник, и тут же с неба покатились звезда и упала где-то за мостом. Нина что-то хотела сказать Дымову, но не сказала, поднялась и пошла к дому. Потом она долго сидела на крыльце задумавшись. Ночь была прозрачна, как виноградина, изредка ее перечеркивали падающие звезды. Грустно дышала корова в сарае. Привлеченная белым халатом, около самого лица препорхнула летучая мышь. Нина вынесла на крыльцо альбом со студенческими фотографиями и, включив фонарик, стала рассматривать его, пока над рощей не начало светать.

Кончилось лето, и наступила осень. Сестры пошли в школу. Очень долго пришлось заниматься садом, снимать яблоки. Их оказалось так много, что везде пахло яблоками: во дворе, в доме, на террасе. В водоемчик падало много яблок. Яблоки прибывало ветром к деревянным мосткам, и, чтобы зачерпнуть воду, надо было ведром раздвинуть их. Но все равно в ведре оказывалось два-три яблока.

Как-то в конце сентября Нина пошла на станцию с Шагуевой. Когда они подошли к вокзалу и поднялись на платформу, уже наступили сумерки и над чернеющим вдалеке лесом включилась луна, перемигнулись светофоры, а рельсы серебристо отсвечивали. По платформе гуляла молодежь, слышались брэнчание гитары, звуки магнитофона. Нина тоже несколько раз прошла по платформе с Шагуевой и ее болонкой. Шагуева рассказывала, как однажды ее пригласил в ресторан преподаватель училища, и она перечисляла, что они ели и что

он говорил ей. Нина тоже вспомнила, как они всей группой были в ресторане после стройотряда. Тогда было очень весело...

Около леса, где сходились рельсы, появился лучик света, он начал расти и вырос в поезд с прожектором. Поезд подкатил к станции и медленно остановился. В вагоне открылось окно, из него высунулся бородач и спросил басом:

— А буфет здесь есть?

— Наш буфет — сельсовет, — сострил кто-то.

Окно снова закрылось. Отъезжающих было несколько человек, и среди них Шестерин. Нина попрощалась с ним. Поезд постоял пять минут и звякнул сцепами. Вагоны с пассажирами внутри поплыли мимо. Когда поезд скрылся из виду, Нина и Шагуева с болонкой пошли вместе со всеми в клуб. В клубе, посредине фойе, ребята играли в бильярд. Они ходили вокруг бильярдного стола с киями в руках и курили. Вверху, под плафонами, плавал слой дыма. Возле дверей в библиотеку работал телевизор. Нина и Шагуева сели в кресла около телевизора. Кто-то начал организовывать танцы под магнитофон. Но желающих было мало, и танцевали в основном девчата. Тут же Нина увидела своих сестер, они сидели неподалеку и заговорщически кивнули ей. Потом Нина вышла подышать на улицу и, раздумав заходить обратно, направилась домой. Она пересекла железнодорожную линию и за вокзалом вышла на асфальтированную дорогу. Она шла и плакала, и ей казалось, что никогда эти четыре года не кончатся, что надо было отдать сестер в интернат — ничего бы с ними не случилось. Они вот счастливы, а она несчастлива, и наверняка они уедут в город. Она шла и плакала, а вдали через мост с легким шумом пронесся скорый поезд. Он был виден в темноте пунктирной линией света.



В конторе управления Окунев бывал редко, разве что за справкой на кредит или путевкой в дом отдыха раз в год завернёт. А так какая в ней надобность для бригадира? Получку по объектам на машинах развозят, собрание, коли надо, тоже на рабочем месте. С начальством поговорить — пожалуйста, каждый день на стройку кто-нибудь да заскочит. А чтобы среди бела дня в контору вызвали да еще машину за ним прислали, такого Окунев за все свои тридцать два трудовых года припомнить не мог.

«Что могло приключиться? — ломал он голову, трясясь в кабине скрипучего управленческого газика. — Может, с Марией чего, — утром жаловалась на бессонницу. Или Федька в армии начудил? Это бы и так сообщили, не стали бы, верно, к начальнику звать. А может, на пенсию спровадить хотят, — на шестьдесят первый перевалило. Тоже смысла не понимаю, не министр... Зачем я Ларину понадобился?»

Ларин — человек в управлении новый. На объекте у Окунева появился на другой день после назначения. Работы не было, и бригада пряталась от жары в недостроенном корпусе. Поджаренные солнцем стены нехотя отдавали тепло с утра еще прохладным помещениям. Вялый сквознячок безуспешно пробивался через проемы дверей и окон и вместо облегчения приносил из подвала и закутков запахи испорченной шпаклевки и старой краски. Непривычный к этим запахам человек может подумать всякое. Ларин возник как из журнала мод: темно-синий костюм, рубашка-крахмал, над красным галстуком белая нитка пробора. Деловой человек.

— Здравствуйте, — еще на ходу произнес он. — Я Ла-

рин Игорь Николаевич — ваш новый начальник управления. Назначен приказом со вчерашнего дня. Почему не работаем?

— Нет фронта,— ответил за всех Окунев.

— Да, да, мне говорили. Ну ничего. Разберемся и наведем тут порядок. Прораба дадим. Кто бригадир?

— Я — Окунев Иван Карпович.

— Смотри-ка, Окунев да еще и Карпович! Не рыбак?

— Рыбалками не занимаемся и рыбаков не любим,— недовольно ответил Окунев, хотя на самом деле порыбачить был не прочь. За это, за рыбу фамилию, высокий рост и худобу в детстве его дразнили удочкой.

«Ничего себе,— подумал Окунев.— Если с первого знакомства с бригадиром как с мастеришкой-практикантом разговаривает, что дальше будет? Видать, ненадолго в управление занырнул».

Однако обещание Ларин сдержал. Через три дня к прорабской подкатил автобус с рабочими, запылили грузовики с материалами, застрекотали компрессоры, закрипели башенные краны. Винный магазин по соседству перестал выполнять план.

Ларин разыскал бригадира на корпусе.

— Ну что, Иван Карпыч, доволен? У меня, брат, слово с делом не расходится. Теперь и ты для меня чуток постарайся: завтра сюда начальник главка завернет — хочет лично посмотреть, как мы тут с тобой управляемся. Уж не подведи... На корпусе приברי, чтоб люди пройти могли. В бытовках марафет наведи. Наглядную агитацию подправь... В общем, сам понимаешь — такое раз в пять лет... Что увидит, то и думать о нас всю пятилетку будет.

В назначенный день начальник главка не приехал. Ларин напрасно простоял у въезда на объект, взбадриваясь при появлении черных автомобилей. Но они проезжали мимо, и к середине дня его белая рубашка посерела от пыли. Кто-то позвонил в прорабскую и сообщил, что начальник главка приехать не сможет, а завтра будет, но не здесь, а на жилдоме.

— Мамочка родная! — запаниковал Ларин.— На жилдоме ведь ни одной души, ни одного механизма самого завалящего нет... Так, Карпыч,— быстро совладав с собой, объявил Ларин,— сворачиваем музыку. Всех людей и механизмы в темпе — на жилдом.

«Орел,— недовольно подумал Окунев.— Далеко пойдет».

Контора гнездилась в старинном особнячке, облоковитившемся на две почерневшие от времени колонны. Конторские деловито плавали в духоте, втекающей внутрь сквозь открытые окна, хлопали двери, радио призывало заняться гимнастикой. Машинистки наперегонки превращали чистые листы в горделивые деловые бумаги, и стрекот их машинок отгонял нахальных голубей и воробьев от окон учреждения. Снабженец заученно орал из зарешеченного подвала на телефон: «Цемент — так вас разэтак! Цемент — так вас разэтак!» Там, видимо, не понимали.

Ларин охотно вышел из-за стола и, приветливо улыбаясь, затряс руку вошедшего в кабинет бригадира. Затем почти по-родственному обнял за плечи и подвел к журнальному столику, на котором уютно разместились настольная лампа под абажуром, два хрустальных фужера, прикрытых салфетками, и неоткрытая бутылка боржоми.

Окунев осторожно опустился в просторную лохань кожаного кресла и положил руки на бревна подлокотников.

Некоторое время Ларин изучающе рассматривал его. Заметив вопросительный взгляд Окунева, поинтересовался:

— Как дела, Иван Карпыч, как здоровье?

— Спасибо, ничего, здоровье пока тьфу-тьфу...

— В бригаде как, настроение боевое?

— С чего ему боевым-то быть, будто не знаете...

Стоим...

— Ладно, ладно,— примирительно заговорил Ларин.— Знаю. Приму меры — ты меня знаешь.

— А... а,— махнул рукой Окунев.— Говорите, Игорь Николаевич, зачем звали? Не за этим небось среди работы вытащили?

— Не за этим, Карпыч. Угадал. Тут вот дело какое — надо тебе на городском активе строителей выступить. Как руководителю, так сказать, передовой бригады.

— Шутите, Игорь Николаевич? Почему мне?.. Интересное дело... Да я... Что вы!.. Нет, не буду,— замотал головой Окунев,— не могу. Во-первых, выступальщик я никудышный, а во-вторых, хвастаться особенно нечем. Разве как пыль по объекту гоняем рассказать?

— Что ты в самом деле, Иван Карпович! Конечно, не о бригаде, не об объекте этом несчастном говорить надо,

а вообще, в принципе. Управление классное место по итогам квартала заняло.

— Кто занял, тот пусть и выступает,— продолжал упираться Окунев.— А я ничего не занял — разве что по простоям.

— Все равно деться уже некуда — сам начальник главка сказал: «Надо, чтобы Окунев выступил, как орденосеец, ну и всякое такое».

Карпыч недоверчиво посмотрел на начальника, и тот сообразил, что бригадир заколебался.

— И выступление уже готово. Твое дело — прочитать, и никаких переживаний.— Ларин взял со стола красную клеенчатую папку, достал из нее аккуратно напечатанный текст и протянул Окуневу.— Возьми, Иван Карпович, и почитай как следует дома. Перед зеркалом почитай. Жене почитай. Короче, к утру чтоб чуть не изусть. Дело ответственное, имей в виду.

— Чего читать-то?! По-русски же написано. Напечатано даже. На собрании и прочитаю.

— Опять ты за свое. Артисты и те на спектаклях, бывает, путаются. А репетируют дай боже, годами.

— То на спектаклях...

— А это тебе что?! Такие вещи тоже на самотек пускать нельзя. Народ со всего города соберется. Начальства много всякого будет и даже...

Ларин воздел указательный палец и несколько секунд многозначительно его рассматривал. Окунев еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Он вспомнил своего полуторагодовалого внука Вовку, который, подцепив пальцем какую-нибудь крошку, вот так же некоторое время испуганно-уважительно изучал палец, а затем принимался радостно орать: «Деда, кака! Деда, кака!»

— На самотек, конечно, нельзя, но от души как-то надо бы,— попытался возразить Окунев.— Есть у нас мужики и поречистей. Они и без бумаги и по делу сказать могут. Не любят люди, когда о работе по бумаге говорят.

— Вот и прочитай от души, больше от тебя ничего и не требуется. И потом, я же сказал, сам начальник главка о тебе вспомнил. Всё. Иди читай, и с утра — ко мне.

Окунев вышел из управления и остановился. «Получается, что он для своей выгоды меня себе в подсобники определил? А может, теперь так и надо — уметь работу показать? Может, это я от жизни поотстал?»

Он посмотрел на часы: «Двадцать минут двенадцатого. Поеду в бригаду. К обеду поспею».

Обедали обычно всей бригадой прямо в вагончике. На длинный стол, прикрытый бумажной скатертью, выкладывалось кто что принесет да картошка, сваренная здесь же. Потом пили чай, разговаривали, слушали радиоприемник. Окунев, не обращая внимания на вопросительные взгляды — зачем вызывали в контору? — уселся на свое место, налил чаю, угрюмо завращал ложкой в стакане без сахара.

— Эхе-хе,— косясь на недовольного бригадира, прервала молчание ставшая недавно бабушкой Полина.— Будет, видать, война-то. Рейгана вот опять выбрали. Детишек жалко...

— Не бойсь, тетя Полина, не будет,— авторитетно произнес недавно принятый учеником Сергунька Петухов.— На нас не полезут, побоятся. Ребята, что в армии послужили, такого нам в общаге рассказывают... К примеру, летит их самолет...

— Ладно, тактики-стратегии,— оборвал бригадир.— Потом мировые проблемы обсудите. Чуть было не забыл — тут из профсоюза бумага пришла, обязательства к Дню строителя принимать надо. Кто что думает — высказывайтесь.

— Что думать-то,— начал Петухов.— Надо к начальству идти, требовать. Пусть сперва они обязательства возьмут нас работой обеспечить, а потом и с нас требуют... Стоим ведь...

— Какие еще будут предложения? — не обратив внимания на Сергунькино выступление, спросил Окунев.

— Ну что зря баланду травим, бригадир,— зло выпалил обычно молчаливый Василий Гречихин.— На кой нам обязательства эти, соревнования всякие? Ты мне материалы дай сколько надо, инструментишко кой-какой, спецуху поудобней, пожрать да обсушиться чтоб было где! Понял?! А я уж как-нибудь и без соревнований на хлеб заработаю...

«Василий чем дальше, тем злее становится,— подумал Окунев.— Вроде и правильно скажет, а все с каким-то вывертом. Конечно, на стройке и раньше беспорядка хватало, но ведь не злобились так... Работали и работали. Ждали чего-то. А эти, похоже, ничего ждать не хотят — сразу давай. Черт бы его побрал, еще и отвечать надо».

— Остановись, Вася! Подумай, чего несешь? Молодых постесняйся,— перебил Окунев.

— Чего мне их стесняться? Пусть с мое попадут. Они не очень-то стесняются. Не успеют из яйца как следует вылупиться, а соображение уже имеют. Танцующие, киношки... Ребеночка враз заделают, и подавай им квартиру. Квартирку оторвали — и в сторону. Стройку за версту обходят. А тут пашешь, пашешь, и все без толку. Жениться некогда.

— Как это без толку?! На Доске почета висешь, медаль в прошлом году получил...

— А что мне от этого почету, какой навар? Ты мне площадь, например, вместо почету дай, а почет себе заberi. Я, может, тоже хочу, чтоб у меня семья была. С почетом спать не ляжешь, от него детишки не появляются. Человек квартиру должен иметь. Тем более работника. Хоть в половину твоей Доски почета, и то хватило бы.

Окунев мысленно представил Доску почета, что недавно соорудили из железобетона у проходной треста. И правда, велика. Монумент.

— Под себя, Вася, побольше подгрести норовишь?!

— То-то и нагреб: койку в общежитии да радикулит. Да вот еще прыщи на морде от штукатурки. Такую рожу Доска почета разве что выдержит, а девки стороной обходят. А что, собственно, ты меня совестишь? А ты-то, а вы-то все тут много ли сознательнее меня будете?! Пыль гоняем вместо работы, а у кого хоть в одном месте засвербило, что без денег останемся? Знаем, что заплатят, что никуда не денутся, что не в Америках живем. Заработаем шиш, а к окошечку первыми. А ты, Иван Карпович, еще и проценты бригадирские за хорошее нами руководство Машеньке своей принесешь. Вот она вся и сознательность.

— Понесло Емелю! Значит, ты считаешь, что зазря деньги получаем? А кто, по-твоему, полгорода застроил? Папа римский? — стараясь оставаться спокойным, спросил Окунев.

— Могли бы и больше,— упирался Гречихин.— Пусть дело организуют как положено, а меня копеечкой интересуют.

— Работы сколько хочешь, не все же время стоим. Зарабатывай свои копейки, сколько душе угодно.

— Ну да, зарабатывай... Будто не знаешь, как это делается?! Чтоб лишний рубль заработать, вечера при-

хватывай или в субботу выходи. После нормального-то дня на карачках в общагу приползаешь...

— Это ты-то на карачках,— усмехнулась Полина.— В зеркало на себя посмотри: ткни вилкой — сок брызнет. Да тебя вместо крана башенного ставить можно. Тяжело ему, видите ли! Что ж тогда о нас говорить, если таким, как ты, тяжело...

— Конечно, тяжело. Где еще вкалывают, как на стройке? И все на горбу да ручками. Вон на заводах: автоматы, роботы там всякие. Столовые с цветочками... Все на одном месте. И то бегут.

А на стройке? Как первобытные люди работали? Камешек к камешку, глиной обмажут — и порядок, домик сляпали. Так и мы. Только что раствор привезут да кирпичики маленько полегче тех камешков будут.

— Да без строителей вся жизнь остановится! — вмешался Петухов.— От туалетов до синхрофазотронов — все нашими руками делается. Придет время, и у нас роботы будут.

— Видишь, Василий, до чего ты докатился? — сказал Окунев.— Пацан и то больше тебя разумеет!

— А-а-а! — махнул рукой Гречихин.— Годик-другой грязь помесит, тоже докатится. Или, может, ты сам с детства мечтал строителем стать?

Стать строителем Окунев не мечтал. В трест пришел сразу после войны. Пришел потому, что здесь давали общежитие, да и заработки по тем временам были неплохими.

И вот уже торопливые годы, запыхавшись, добежали до пенсии, и кажется, все есть: и квартира, и семья дай бог каждому — детей до институтов довел, и орденов-медалей под десяток будет. В общем, отдыхай, Окунев, заработал. Однако стать пенсионером не торопился. То ли потому, что, кроме работы, у него не было других занятий, то ли потому, что за многие годы привык, как пишут в характеристиках, к «заслуженному авторитету». А еще боялся умереть, наслушавшись страшных пенсионных историй в коридорах райсобеса. Но так или иначе откладывал день окончания многолетней трудовой гонки то до отпуска, то до майских или ноябрьских праздников, а теперь еще на полгода, до проводов младшего в армию. А пока еще полгода можно не думать о перспективе беззаботно-бесполезного ожидания финиша.

— Так как, Иван Карпович, мечтал или не мечтал? — прервал паузу вдруг повеселевший Гречихин.

— Нет, Вася, не мечтал. Времена не те были, о другом мечтали...

— Ну сейчас начнешь, как мой папаня, про трудную жизнь распространяться. А я тебе все равно скажу, что материальная заинтересованность, она, так сказать, для всех времен и народов — главный рычаг. И непорядок весь от материально незаинтересованных идет. Так я разумею.

«А ведь Ларин материально незаинтересованный», — почему-то вдруг подумал Иван Карпович.

На следующее утро Окунев положил текст выступления на стол начальника.

— Вот, Игорь Николаевич, не хочу я выступать.

— Как это не хочешь, почему? — спросил Ларин.

— Потому что не так все написано, почти все. Вдохновенные... воодушевленные... автоматизация... индустриализация... Все выполним и всех победим. Как сделаем-то, чем? Ведь все всё знают!

— Какой же ты у нас, Иван Карпыч, правильный... Еще немного, и на демонстрации твой портрет на палочке понесем. А я вот несознательный. Тебя в грех ввожу — выступи, мол, дорогой Иван Карпыч, да расскажи всем о том, чего не было, а может, никогда и не будет. Знаешь, почему так получается? Да потому, что ты можешь быть принципиальным, а я не всегда. Принципиальность с ответственностью, так сказать, в обратной зависимости: чем меньше ответственности, тем больше принципиальности. Неспроста у нас самые принципиальные люди — это пенсионеры. Или ты, к примеру, за что отвечаешь? За план? За технику безопасности? Ни за черта в стуле ты не отвечаешь. А у меня управление — четыреста пятьдесят душ, и всем что-то надо: квартиры, путевки, премии... Ты живешь по принципу «хочу — не хочу», а я — «надо, дай». При всем при этом у тебя на пиджаке мухе некуда ступить, все железками завешано, а у меня и в личном деле места еще на один выговор. «Иди!» — скажут и на дверь пальчиком... А я тоже человек — с семьей и личными планами. Мне, как ты догадываешься, совсем другого хочется... И потом не забывай, что хоть и варимся мы с тобой в одном котле, а буквари у нас разные. В твоём букваре про бригаду да про объект, где ты сидишь, написано, а в моем про всю деревню — от сельсовета до печного

дыма... Поэтому позволь мне решать: где кому сидеть, а где кому работать, какие обязательства брать, а какие выполнять. Так что ничего не бойся, мне за все отвечать, мне! А если и вправду чего-то не сделаем... так что мы, собственно, можем-то? Мы ж в системе пятый винтик в десятом колесе, не более. Там ведь это понижают... А своим объясни, что для их же пользы делается. Квартир могут подкинуть, путевочек или еще чего. Иван Кар-пы-ыч, дорогой, пойми, я ведь плохого не хочу, для всех стараюсь. Слушай и делай что говорю, а я из тебя еще Героя сделаю.

— Не надо мне такого геройства. И вообще я уже отвоевался, хватит, на пенсию, видать, пора.

— Ну хорошо, хорошо. Все сделаю, как захочешь. Только выступи, очень прошу. Коллектив подведешь, люди старались, работали. Классные места за просто так не дают...

Ларин почти умоляюще смотрел на бригадира.

Окунев отвел глаза. Наверно, сказалась сохранившаяся еще у людей его поколения привычка уважительного подчинения начальству.

— Ладно, раз уж так...

— Ну вот и хорошо. Теперь почитай, пожалуйста, вслух. Посмотрим, что получилось.

— Как в школе! — обреченно согласился Окунев и начал читать, смахивая рукой вдруг выступивший пот.

— Ты чего застеснялся-то? — прервал Ларин. — Подумаешь, дело какое... И посмелее, погромче... Главное, вдумывайся, представляй, что читаешь. А то все в одну кучу — и пиво, и мухи. Подожди-ка...

Ларин вытащил из портфеля портативный магнитофон и поставил его на стол.

— Сейчас мы тебя запишем.

Окунев равнодушно прочитал выступление сначала. Отложив последний лист, сел и уставился в окно. Ларин поиграл кнопками магнитофона.

«Цирк, да и только», — подумал Окунев, услышав свой голос.

Выключив магнитофон, Ларин посмотрел на часы:

— Девять минут двадцать секунд. Это хорошо. Меньше — не больше, — подытожил он. — Сорок секунд в запасе.

— Какие сорок секунд? — изумился Иван Карпович.

— Обыкновенные. Выступление должно быть на десять минут, а у нас получилось девять двадцать. Сорок

секунд в запасе. Будешь там читать, мимо точек и запятых не пробегай. И давай-ка несколько слов заменим, которые тебе трудно даются. Так-ак: «тенденцию»... на «изменения», «концепцию»... «концепцию» совсем выкинем. Так. Здесь читай просто — «соцсоревнование». Со-кращенно. Так легче. Понял?

— Я давно все понял,— ответил Окунев.

— Раз понял, тогда все, до завтра. В двенадцать ко мне. Во Дворец культуры на моей машине поедем, не ровен час опоздаешь.

В зеркально-хрустальном вестибюле Дворца культуры Окунева обдал теплый, наполненный запахами буфета, табачного дыма, позвякиванием стаканов и звуками оркестра воздух. Волнение, мешавшее спать и не прошедшее утром, усиливалось. Он отошел в сторонку и достал из полиэтиленового мешка аккуратно сложенный женой пиджак, приспособленный специально для орде-нов и медалей.

«Еще разок, пожалуй, надену, как на пенсию буду уходить, и все, больше будет незачем». Осмотрев себя в зеркало, Окунев расправил награды, по-солдатски одернул пиджак и направился в зал.

«Ну и настроение — будто к зубному врачу иду».

Надежда на то, что во Дворце рухнет потолок, вспыхнет пожар от короткого замыкания, заболит начальник или хоть что-нибудь произойдет и выступать будет не нужно, прошла, как только Окунев услышал свою фамилию и его пригласили в президиум.

Устроившись во втором ряду, он стал прикидывать: «Доклад тридцать минут, четыре человека до меня — еще сорок минут... Значит, моя очередь через час десять. Зато через час двадцать все кончится».

Перед Карпычем, заслонив широченной спиной зал, сидел знакомый директор совхоза, в хозяйстве которого прошлым летом сдавали ферму. Тех троих, что сидят в первом ряду у микрофона, он не раз видел по телевизору. «Меня, наверно, тоже теперь покажут... Мария-то поглядит...» Он поискал глазами в зале кого-нибудь из своих, и ему показалось что весь зал смотрит именно на него. Стало не по себе. «Зачем я только согласился!» Неожиданно раздавшиеся аплодисменты напомнили Карпычу, зачем он здесь...

Окунев подошел к трибуне, поднялся на небольшой

приступок и попытался осмотреть зал, но не смог. Шея будто вдруг проросла до самой поясницы, сковало руки и ноги.

«Вот напасть-то,— подумал Иван Карпович.— Чего доброго, паралич разобьет при всем честном народе. Но деться некуда. Если и скажут сейчас: «Иди, не надо выступать, раз уж тебе так не хочется»,— все равно не смогу сдвинуться с места».

С трудом достал из кармана текст выступления и разложил перед собой.

Теплый желтоватый свет лампочки, спрятанной под обводом трибуны, уютно лег на листы бумаги и несколько успокоил.

И он начал. Первый лист проскочил на одном дыхании. Вспомнив наставления о запятых и точках, поубавил темп. Но вдруг ему стало казаться, что в зале звучит очень знакомый, но как бы и не его голос, а он на трибуне стоит просто так и слушает. Эта раздвоенность стала настолько сильной, что Иван Карпович оглянулся по сторонам: «Не заметил ли кто?» Но в зале было обычно. Бригадир с соседнего участка Михаил Терентьевич совсем сомлел: сонно ронял голову на увешанную орденами грудь, пугаясь их позвякивания, просыпался, недолго и непонимающе смотрел на президиум и, не в силах совладать с дремотой, вновь ронял голову. А Окунев все стоял и безвольно слушал того, второго, который, легко отрывая от листов ровные строчки печатного текста, безучастно бросал их в вежливо-внимательный, но порядком разомлевший зал.

«Так это же тот, из магнитофона! Однако гладко чешет, как по писаному. Расхвастался-то, распетушился — бог ты мой! И всё-то он досрочно выполнит и только на «хорошо» и «отлично». Как выполнит? Кем? Чем? Вон Терентий от такого нахальства даже проснулся и на меня глаза таращит, будто не видел никогда. Чего на меня-то уставился? Я тут ни при чем! Он говорит, он! И спрос с него. Стоп, машина! — резануло Окуневу. Какой там он — я ведь это, я — бригадир Окунев. Докатился — свой голос узнать не могу».

От досады Карпыч ухнул кулаком по трибуне. Лампочка испуганно мигнула, но, задрожав, продолжала робко освещать ставшие вдруг чугунно-тяжелыми листы бумаги. Заподозрив неладное, заерзал на стуле Ларин. Председатель непонимающе посмотрел на Окуневу.

«Что ты, дядя, на меня так смотришь? — заметил взгляд Иван Карпович.— Тебе-то небось не впервой, а мне каково?»

Оставалось лишь несколько строчек, и, не в силах остановиться, Окунев уже заверял руководство в том, что рабочие их управления и его бригады, несмотря ни на что, все поставленные задачи безусловно выполнят!..

Зашуршали аплодисменты. Но Карпыч продолжал стоять, ухватившись за трибуну руками. «Что же делать? Сейчас все кончится... А потом, как потом?.. Что в бригаде скажут?»

Председательствующий вежливо молчал. Ларин, сидящий в первом ряду, непроизвольно встал. Уловив движение, Окунев повернулся к начальнику и отчетливо произнес:

А может, и не выполним!

**ТОНАЛЬНОСТЬ
ЛЯ-БЕМОЛЬ
МАЖОР**



**Александр
Новиков**

рассказ

В день отъезда Костя Миньков летал как на крыльях, он ликовал, и все улыбались, глядя на него. В душе у него будто разом пели все медные и деревянные инструменты оркестра. Не чуя ног под собой, он взбегал на самые высокие этажи, потом быстро спускался, весело стуча каблуками о ступеньки, — везде надо было поспеть в этот последний день, ничего не забыть. В ушах у Кости звучали победные марши, все складывалось для него как нельзя лучше. Даже командировочные деньги удалось, вопреки обыкновению, получить без особых хлопот: зам главного и бухгалтер оказались как раз на месте и деньги в кассу именно в этот день привезли, а то обычно не бывает либо одного, либо другого, либо третьего.

С билетами тоже ему повезло: Костя занял было с некоторым унынием очередь — народу на вокзале по сезону, тьма-тьмушая, — но тут рядом с ним вдруг кто-то сказал: «Никому не нужен билет на сегодня?» — и Костя сразу схватил.

Итак, командировочные деньги получены, билет есть, Костя понесся домой, забрал пораньше дочку из садика, накормил, сбегал в магазин, в аптеку, в комнате подмел — и все это до прихода жены. Пусть Лена теперь не ворчит, что он якобы ей совсем не помогает, а только и глядит, как бы ему поскорее из дома смотаться хоть куда-нибудь. Поздним вечером он еще раз перебрал все свои бумаги, позасовывал в портфель схемы, эскизы, описание, расцеловался с женой и полетел на вокзал.

На улице темно, автобуса, на счастье, пришлось ожидать недолго, так что до отхода поезда у Кости осталось еще довольно времени. Скоро ночь, а вокзал залит желтым и голубым светом. К угловатым потолкам и навесам над платформами поднимается снизу влажное ши-

пение и сухое, бумажное шарканье тысяч ног; с крыш вагонов тянет густым едким дымом; воздух, гудящий гулом тысяч голосов, насквозь пронизан ясно ощущаемым напряжением человеческих нервов, порой словно струна рвется — пролетает смех, или громкий плач, или резкое слово, и опять все тонет в шумящем водовороте вокзальной суеты.

Ездить Косте приходится редко, все ему кажется здесь забавным: и что буфеты ночью работают, и что люди вповалку спят на скамейках, и что у вагонов целуются без всякого стеснения.

Прибывали и отправлялись поезда, из узких окон и дверей высывались руки и головы, с перрона тянулись им вслед провожающие. Не поспевая за ходом поезда, они выкрикивали вдогонку отрывочные фразы и слова, постепенно отставали и медленно возвращались назад, в бурлящее варево вокзала.

Костя ехал по делу и ненадолго. С новым портфелем в руке он шел не спеша по платформе и наблюдал несколько со стороны смешную вокзальную суетолюку. Он чувствовал себя в особом положении среди суетящихся по пустякам пассажиров — ведь сам Костя направлялся в командировку, причем не просто в служебную командировку: его вызвали в Институт патентной экспертизы для обсуждения заявки на изобретение, его изобретение.

Уже само слово *изобретение* чрезвычайно нравилось Косте и поднимало его в собственных глазах. Это было его первое изобретение, ему еще никогда в жизни не приходилось участвовать в обсуждении изобретений в Институте патентной экспертизы, тем более — своего изобретения.

Чем дело с заявкой кончится, никто заранее сказать не мог, но Костя надеялся на лучшее — ему везло в последнее время, должно и здесь повезти.

На всякий случай он прихватил с собой все схемы, характеристики и протоколы испытаний изобретенного им устройства. Бумаг по этому изобретению накопилось уже килограмма два, — Костя никогда не предполагал, что такое ясное дело может потребовать столько документов для доказательства новизны и полезности. Всем, казалось бы, понятно, как важен для промышленности этот миниатюрный регулируемый измеритель импеданса; с его помощью можно быстро и точно настраивать блоки для измерения параметров других систем, о назначении которых Костя имел весьма и весьма смутное

представление, но дело не в этом. Главное, что с его-то изобретением все было абсолютно ясно, так по крайней мере казалось Косте. Однако ему показывали инструкцию за номером таким-то, согласно которой в данном случае должны были быть представлены следующие документы: по пункту один, пункту два, три и шесть. Потом являлась инструкция другая. И Костя все это писал, составлял, представлял, причем такие сочинения давались ему с трудом, наверное потому, что это у него самое первое изобретение. И вот наконец его вызывают в Москву.

Как Костя дошел до идеи совмещенного измерителя, он и сам не знал. Сейчас он так рассказывал, когда его спрашивали об этом: идея пришла к Косте, когда он гулял с дочкой во дворе. Лене, жене Костиной, очень нравился этот рассказ, она вообще любила, когда Костя занимался домашними делами. Однако последнее время Костя часто задерживался на работе с этим своим изобретением. Лена сердилась, она считала, что изобретать можно не только сидя допоздна на работе, головой можно работать и когда с дочкой гуляешь и даже когда белье стираешь. Так вот: Костя гулял с Ирккой, девчонка лепетала какую-то несурязицу, увлеченно разбрасывала, а после поднимала с земли и раскладывала на садовой скамейке у кустов кизильника свои ведерки, кастрюльки, совки, песочные формочки, какие-то палочки, усаживала кукол. Костя изучал таблицу футбольного чемпионата и вдруг подумал: «А зачем делать отдельно перестраиваемые блоки емкости, сопротивления и индуктивности, когда нам нужна-то ведь общая характеристика — импеданс, пусть же тогда и блок будет совмещенный».

Назавтра на работе он хорошенько размыслил, потом стал набрасывать схему, эскизы, показал Сергею Андреевичу. Начальник сначала отмахнулся: «Не ерунди. Если бы это было так просто, все бы уже так делали». Но Костя не успокоился: договорился с ребятами в цехе, изготовили что надо, Костя сам после работы распаял схему, потом его вдруг стукнуло, что нужно делать не три схемы, а одну общую, связанную, и все закрутилось сначала. Сергей Андреевич поглядел-поглядел, потер лысину — и еще человечка на это дело подключил. Когда проверили и все зафурыкало, счастливый начальник побежал к заму главного, и тот разрешил провести испытания по полной программе, его тоже в соавторы

пришлось включить. Испытания прошли удачно, у совмещенного измерителя обнаружилась еще масса преимуществ, и теперь Костя именинником едет в Москву.

— Главное, когда будешь с ними разговаривать, — напутствовал Костю начальник, — не поддавайся там: в патентной экспертизе народ ушлый, им за отклонение заявок премии платят. Ты, главное, на экономический эффект упирай. И ничего не подписывай: скажи, с соавторами посоветуешься. Подпишешь — считай пропало. Они там за каждую букву цепляются — сразу найдут, почему отказать. Уж я-то знаю, поверь.

Костя верил и не верил Сергею Андреевичу: с одной стороны, он на собственном опыте уже убедился, что от бумажек зависит очень многое; с другой же стороны, он нерушимо верил, что в настоящем изобретении важен не столько экономический эффект, сколько сама идея, тем более — такая красивая идея. И ведь ни один человек в мире не додумался до такой необыкновенной вещи!

Если там умные люди, они поймут. В том же, что работают там очень умные люди, сомнений у Кости не было, так что беспокоиться особенно не о чем...

— Па-аберегись! — крикнули вдруг позади него.

Костя едва успел отпрыгнуть в сторону: на него катилась гора клетчатых и полосатых чемоданов, баулов, сумок. Угловатая громадина ехала, казалось, сама по себе, и, только пропустив ее мимо, Костя заметил коротенького жилистого носильщика, который, едва поспевая, семенил сзади.

Вслед за повозкой текла орава одетых с шикарной небрежностью иностранцев. Они громко хохотали и, словно стараясь перекрычать один другого, тараторили без умолку на своем языке.

«Наверное, итальянцы», — подумал Костя сам не зная почему. Просто он приметил в этой живописной компании долгового мужчину в облегающем бархатном пиджачке. Выглядеть так элегантно и иметь такую пышную черную шевелюру мог только итальянский артист.

«Даже в Италии еще не изобрели такой измеритель импеданса», — гордясь собой, думал Костя, снисходительно глядя вслед иностранцам.

— Миньков! — окликнул вдруг его кто-то.

«Кто это?»

Навстречу ему дружелюбно тянул широкую, как ло-

пата, руку высокий седой человек с длиннейшим янтарным мундштуком в уголке рта. Это был Колышев, руководитель самодеятельного духового оркестра Дворца культуры, где уже много лет играл Костя вечерами, а в последнее время как-то отстал за недосугом. Колышев стоял посреди платформы и невозмутимо попыхивал своим мундштуком. Казалось, будто его дымом пропал весь воздух над перроном. Руководитель оркестра возвышался над толпой на целую голову, люди с невольным уважением обходили его, не раздражаясь, что этот гулливер стоит у них на дороге. Гора иностранных чемоданов тоже, наверное, объехала его. Костя очень обрадовался Колышеву.

— Ты что тут делаешь? — прогудел знакомый бас. — В командировку?

— Да вот, вызывают по поводу изобретения, — небрежно сообщил Костя.

— Ну? Неужели сам изобрел?

Голос у Колышева сильный, густой, люди оборачивались на них. Косте было и лестно, и стеснительно, что все слушают про его изобретение.

— Сам...

— Гигант, — поразился Колышев и замолчал.

У него была привычка вдруг отвлекаться, забыв отвести свой взгляд от собеседника, и замолкать посреди фразы. Размышляя о чем-то своем, он глядел сверху вниз на Костю голубыми вдумчивыми глазами, складки крупного лица его, кажется, еще больше обвисли за те несколько месяцев, которые Костя не видел его, губы — нижняя слегка выпячена — мягко сложились прихотливой линией, что придавало лицу его печальное и вместе с тем насмешливое выражение.

— Как называется твое изобретение? — вспомнил он наконец о Косте.

— Совмещенный измеритель импеданса.

— Название хорошее, — двинув бровями, одобрил Колышев. — Но зачем он?

Костя кратко пояснил.

— Ерунда все это, — проговорил Колышев, глядя вдоль платформы. — Приходи лучше на репетицию. У нас вторая валторна теперь совсем дура — ему говоришь *фа-диез* играй, а он *фа* дует. Когда придешь?

Костя шмыгнул носом — его несколько покорило такое отношение к его изобретению, но он знал Колышева давно и не обижался на прямоту, а порой и гру-

бость этого замечательного человека. У Колышева была сложная судьба, потрепало его в жизни изрядно, но музыкант он был просто превосходный и человек душевный.

— Приду после отпуска, — пообещал Костя. — Дела, знаете, заели, семья, дети и все такое.

Объявили отправление.

— Ну я — к себе. У меня купейный, — покривившись, словно недовольный этим, сообщил Колышев. — Так приходи.

Костя направился к своему вагону. Обернувшись еще раз, он увидел, как музыкант, наклонив круглую голову, чтобы не ушибиться о верх дверного проема, неловко протискивался в вагон.

Только значительно позже, устроившись кое-как на верхней полке и упираясь босой ногой в холодную рейку, Костя понял и почувствовал Колышеву: до чего же неудобно такому великану ездить в купейном, а в плацкартном и вовсе невозможно — пассажирам из-за его ног будет не пройти по вагону.

Главный город страны встретил Константина Минькова утренней прохладой, ясными небесами и необозримой широты пространствами, в которых светлые каменные громады казались не такими уж и огромными. Транспорт всех видов фырчал, шипел и лязгал, толпы людей, спешащих в разные стороны, проходили, не смешиваясь, а двери метро втягивали их в себя, как воронка.

Привокзальная площадь, приветствуя гостя, взметнула до облаков шпили своих башен и углы многоэтажных построек. Щуплый человечек на краю тротуара бодрым голосом клубного затейника зазывал через мегафон на автобусную экскурсию москвичей и гостей столицы. Все нравилось, все радовало здесь Костю, хотя он малость и недоспал в поезде. Он бы поехал, пожалуй, на экскурсию, но, вспомнив об исключительности дела, которое привело его сюда, постарался настроиться на серьезный лад: вернулся на вокзал, купил — сравнительно легко — обратный билет на сегодня на вечер и отправился разыскивать по адресу Институт патентной экспертизы.

Институт, как оказалось, находился в красивейшем месте, на набережной Москвы-реки. Доехал он быстро, поэтому времени еще оставалось более чем достаточно.

Наслаждаясь свободой, он прогулялся до моста, легко, в два шага, перемахнувшего прямо на тот берег; побродил по набережной, полюбовался золотыми куполами древнего монастыря на той стороне, понаблюдал, как бьется в каменный берег косая волна, прибежавшая от кормы белого речного трамвайчика. И тут он вспомнил, что забыл позавтракать. Прошелся в одну сторону, в другую, свернул на зеленую улицу — никаких заведений общепита не обнаруживалось. «В институте перекушу», — утешил он себя и вернулся назад.

Время между тем подошло к десяти часам. Набрав в грудь побольше воздуха и пригладив непослушные волосы, молодой изобретатель Константин Миньков толкнул плечом тугую стеклянную дверь Института патентной экспертизы. В ушах изобретателя зазвучала знаковая музыкальная тема из «Аиды»: загорелый, играющий мускулами Радамес возвращается со своим воинством в столицу после победы над эфиопами. Костя надул щеки, тихонько погудел губами, пытаюсь воспроизвести правильный звук в тональности ля-бемоль мажор. Свою партию для валторны, что транспонируется на два тона ниже, Костя отлично помнил, несмотря на перерыв в репетициях...

В небольшой комнате, сплошь уставленной столами, сидели и стояли с полсотни потных, возбужденных людей, они водили пальцами по чертежам, схемам, листам исписанной бумаги и все разом, один громче другого, говорили — шум, духота, неразбериха.

— Меня вызвали по поводу моего изобретения, — выбрав момент, обратился Костя к пожилому мужчине, направлявшемуся как раз к двери.

Мужчина, похожий на Костиного начальника Сергея Андреевича, поглядел на Костю отсутствующим взглядом и молча прошел мимо.

Костя переждал минутку, обратился к другому.

— Отдел? — спросил лобастый парень в кожаном пиджаке.

— Что? — не понял Костя.

— Отдел какой? — нетерпеливо повторил парень.

— Не знаю... — замялся Костя.

— Тогда звоните в справочную.

Выклянчив у кого-то монету и отстояв очередь к автомату, Костя наконец дозвонился куда надо.

— Ваш эксперт болеет, — сообщили ему.

— А кто же?..

— Завгруппой в местной командировке, будет только завтра.

— Но меня же вызвали...

— Вам назначено время?

— Нет, — неуверенно проблеял Костя.

— Надо было позвонить. Приезжайте завтра.

— А как же?..

Костя имел в виду, как же ему быть с купленным на сегодня билетом и где ночевать, но в трубке часто загудело, а в дверь кабины остро постучали монеткой.

Блеск утреннего солнца заметно померк для изобретателя Минькова, который в растерянности снова ступил на гранитные плиты великолепной набережной. Он постоял у решетки, поглядел на медленную воду и побрел вверх по течению. Что делать дальше, он не представлял. Голод, однако, подсказал, что ему нужно в первую очередь.

Часа через два, оставив в кассе едва не всю сумму суточных, выданных ему на день, Костя Миньков покинул кафе «Арфа». Настроение после еды несколько поднялось. «Что, собственно, случилось? — успокаивал он себя. — В самом деле, вызов же был без даты. Без сомнения, если бы там заранее узнали, что едет он, все было бы в лучшем виде — и пропуск, и направление в гостиницу, если надо. Кто же мог знать?»

Так или иначе, но надо было как-то провести этот день, а потом еще и ночь. Костя прикинул и решил, что, пока светло, он посмотрит немного Москву, после съездит на вокзал, поменяет билет на завтра и к вечеру завернет в гостиницу, в любую — их в Москве вон сколько, — и возьмет всего на одну ночь номер, какой будет самый дешевый. Человек-то Костя в общем неприхотливый.

Несмотря на случившуюся неожиданную заминку, Москва Косте очень нравилась. Почти все здесь вызывало у него удивление и восторг. Особенно Красная площадь, она и вправду была темно-красная: и кирпичная стена, и башенки Исторического музея, и большие башни Кремля. По левую руку — большой магазин, он, правда, серый, а не красный, но это уже детали. Под ногами брусчатка из гладкого черного камня горбатится, будто ее из-под низу что-то подпирает. А там дальше, уже на склоне холма, огромные луковицы из земли растут, к небу тянутся — красные, пестрые, золотые. Было полное впечатление, будто это какой-то древний го-

род, проколов мостовую золотыми своими наверхиями, медленно-медленно всплывает из горячих недр и скоро весь выйдет на поверхность, в полный свой рост, и станет тогда выше всех самых высоких в Москве домов и башен. Вообще Москва, как показалось Косте, построена для очень крупных людей, вроде Колышева например...

Костя долго смотрел, как плещется на ветру беспокойное алое полотнище, и думалось ему, что вот ведь его изобретение — его измеритель — очень нужно стране, и завтра Константину Минькову выдадут авторское свидетельство, и все тогда изменится в его жизни, очень здорово будет тогда.

Колоколами ударили Куранты на башне — стаи потревоженных птиц взмыли в синеву, испуская скрипящие деревянные звуки. Костя подвел стрелки своих часов и с сожалением, то и дело оборачиваясь на ходу, покинул площадь — у него было еще много дел впереди.

Билет на сегодня Костя сдал без хлопот, а вот взять на завтра неожиданно оказалось проблемой: в суточных кассах продавали только на утренние поезда, зал же предварительной продажи был набит людьми так плотно, что не только конца очереди не найти — просто пройти невозможно. Костя пробился все-таки к кассе: на завтра, сказали ему, даже общих нет. Костя не поверил кассирше, однако и дежурный администратор подтвердил: свободные места имеются только на половину третьего ночи, на пассажирский поезд в общем вагоне. «Нет уж, изобретатели в таких поездах не ездят», — сказал себе Константин Миньков и вытолкнулся из толпы потных, нервничающих граждан пассажиров.

Улицы города между тем поблекли, посерели, на крыши домов вязкими клубами навалились лиловые тучи, пробился маленький осторожный дождик, потом он мало-помалу окреп, осмелел, сыпанул холодными брызгами в лицо — и вдруг полило как из душа. Еще и промокнуть в довершение всех сегодняшних неприятностей — это никак не улыбалось Косте Минькову, и он нырнул в двери первого попавшегося магазина — переждать ливень. Магазин оказался обувной, и Костя вспомнил вдруг, что Лена заказала купить, если увидит, сапожки Ирке на зиму и сандальки — летом бегать.

Дождь уже стих, хватило его, как видно, ненадолго, и тучи уползли куда-то — наверное, за новым запасом

влаги. Костя вышел из магазина, нагруженный двумя коробками с обувью. Очень скоро он понял, однако, насколько опрометчиво поступил: ходить по многолюдным улицам с громоздкими коробками и с портфелем в руках оказалось страшно неудобно.

Над домами снова поползли низкие плотные тучи, от них на улице сделалось сумрачно и скучно, день, впрочем, уже клонился к вечеру. Костя представил себе, как было бы здорово сейчас растянуться на кровати, пусть бы хотя и в гостинице, и спокойно поразмышлять о завтрашнем совещании в патентном институте.

Снова взялся накрапывать дождик, и чем дальше, тем чаще. Тысячью крошечных клювиков он тюкал по крышкам гулких Костиных коробок. То и дело прохожие задевали эти его коробки с сапожками и сандалиями. Костя решил не ходить далеко и направился к огромному зданию с башней и шпилем, что высилось тут же, на площади. Пока Костя шел к нему, он считал этажи и добрался взглядом уже до пятнадцатого, но тут на пути оказался переход, и Костя сбился со счета. Начал снова, но опять что-то отвлекло, а тут уже и вывеска гостиницы рядом.

«Вот хорошо,— обрадовался он, войдя в пустой холл,— народу никого, значит, мест навалом».

— Мест нет,— не взглянув на него, произнесла полная женщина за стеклом.

— Как это нет? — не понял Костя.

Ответом ему было равнодушное молчание.

— Но послушайте,— пустился в объяснения Костя,— меня вызвали, вот вызов, речь идет об изобретении,— он стал доставать из портфеля бумаги,— о моем изобретении, вот — импеданс.

Дама за стеклом нетерпеливо пошевелила пальцами в кольцах и перстнях:

— Я вам русским языком сказала.

— Но ведь меня вызвали...

— Кто вызывал, пусть и обеспечивает.

— Я завтра принесу вам направление из патентного института, честное слово.

— Для патентного института не бронируем,— слово «патентный» она произносила через «э».

Совсем уничтоженный, Костя опустился в мягкое, развалистое кресло.

— Здесь сидеть нельзя,— в первый раз взглянула она

на него, и во взгляде была брезгливость, смешанная с презрением,— тут вам не зал ожидания.

— А куда мне идти? — не без вызова в голосе спросил ее Костя.

— Не знаю,— она безразлично пожала круглыми плечами,— вокзалов в городе много.

На этом вокзале в зале ожидания стояли хоть кресла, а то на других вокзалах вообще додумались: поставили ряды скамеек без спинок — вот и отдыхай как знаешь. Спящие вповалку на скамейках теперь не забавляли Костю: разляжется один такой — сразу три места заняты, а другим людям даже присесть негде. Здесь же, в креслах, еще ничего, даже совсем хорошо: можно упереться спиной и ноги вытянуть. Но спать все равно было неудобно, к тому же, оставшись без ужина, он ощущал, как у него что-то больно натягивалось в желудке. Вспомнился дом: как-то без него там Ирка, Лена?.. Лена хотя и не понимает его до конца и постоянно сердится, но все равно она неплохая жена, в принципе. Готовит отлично, особенно борщ с помидорами...

Глаза у Кости слипались, он таранился на длинную лампу под потолком, лампа источала трепещущий голубоватый свет, словно готовая вот-вот потухнуть. В усталой Костиной голове вновь и вновь высвечивались картины и переживания прожитого в Москве дня, и Костя Миньков все пытался решить, удачным или неудачным был первый день его командировки. Отсутствие эксперта, ясное дело, неудача, но вот экскурсия по Москве и обувь для Ирки, пожалуй, компенсировали неудачу. Ночевать на вокзале изобретатель Константин Миньков, разумеется, никак не рассчитывал, но завтрашнее совещание, где, конечно же, признают его изобретение, с лихвой окупит нынешние временные неудобства.

«А вдруг уже где-то есть такое? Поймут ли там? А вдруг откажут?» Сомнение вливалось по временам тоненькой ледяной струйкой в согретое надеждой спокойное течение его мыслей. Костя встряхивался, отгонял от себя беспокойные эти вопросы, но они комарами вились около него, не давая уснуть.

«Поработаю». Костя Миньков достал из своего нового портфеля схему измерителя импеданса и стал подбирать наиболее веские аргументы в пользу своего изобретения. Чем дальше, тем больше уверялся он в без-

укоризненности схемного решения. Все, абсолютно все у него предусмотрено, там им и крыть нечем будет, они просто выслушают его, выдадут свидетельство на первое в его жизни изобретение.

— «„Это очень хорошо,— зазвучала в его памяти песенка из детского фильма,— даже очень хорошо, что пока нам плохо...” Как-то там Ирка?..»

Вот так вся жизнь в полосочку: то черная, то белая, то хорошо, то плохо. Если сегодня неудача, значит, завтра будет победа. «Может быть, это и к лучшему, что все так случилось»,— совсем успокоился Костя.

Кто-то ходил в проходе между креслами, задевал его ноги, он просыпался, принимал другое положение, опять забывался сном. То и дело по вокзальному радио объявляли отправление и прибытие поездов. Люди рядом с Костей снимались с места, громко говорили и толкали Костю. Он шевелился, открывал глаза, глядел на них не видя, и снова голова его клонилась и клонилась, он встряхивался, устанавливал ее прямо, и все повторялось.

— Не спать, не спать,— кто-то тряс Костю за плечо.

Костя инстинктивно схватился за свой портфель, нащупал коробки — все на месте. Милиционер шел по рядам и поднимал разоспавшуюся публику. Костя протер глаза, но тут же опять отключился. Разбудил Костю уже другой милиционер — он грубо расталкивал спящих:

— Нечего спать, здесь вам не гостиница.

Костя зажмурился и наконец продрал глаза: было уже светло, но еще очень рано. В шее что-то больно натягивалось при любом повороте головы, ступни кололо тысячью иголок. Костя поднялся, разминая суставы и мышцы. «Надо пройтись».

Ни один буфет не работал, у автоматов с газировкой очередь — к услугам пассажиров остался один-единственный стакан.

На улице было пасмурно и неинтересно. Костя стал у газетного киоска: с цветных обложек журналов ему улыбались прелестные актрисы театра и кино, бодро глядели целеустремленные передовики производства, но смутно было на душе у автора первого в мире совмещенного измерителя импеданса.

— Так я и знал, так я и знал,— ликовал Костя, когда ему вынесли пропуск и повели не в душную комнату для посетителей, куда он попал вчера, а вверх по

широкой лестнице, уставленной кадками с какими-то крупными растениями, с плакатами и стендами на площадках.

— Подождите здесь, — вежливо сказала сопровождающая его женщина и ушла.

Костя сел в кресло, разложил бумаги и стал ждать экспертов: сейчас войдут вдумчивые седовласые или лысые мужчины, или не лысые, но тоже очень умные — они сразу разберутся во всем и крепко пожмут руку молодому изобретателю Константину Минькову.

— Здравствуйте! — из полузабытья его вывел дружелюбный женский голос. — Вы — по заявке на измеритель?

Голос был текучий, искрящийся улыбкой, очень приятный голос. Костя с любопытством поглядел, кто же это говорит: перед ним стояла стройная молодая женщина в дымчатых очках, через которые с интересом глядели на него чудные с поволокой глаза. Костя невольно потер заросший за ночь подбородок, смутился, встал, сел.

— Я эксперт по вашей заявке. Людмила Ильинична. Материалы у вас с собой?

— С собой...

— Нет, я имею в виду описание, рисунки и переписку по заявке.

— Я думал, что у вас...

— Нет, мы не храним в отделе все заявки. Можно, конечно, заказать, но это будет долго.

— Нет, — перепугался Костя, — долго я не могу.

Эксперт едва заметно улыбнулась нетерпению изобретателя. Костя между тем совершенно смешался: где же внимательные, мудрые инженеры-электрики, которые сразу должны понять, какую прекрасную схему придумал Костя, и почему с ним беседует эта женщина, одна?.. Красивая, между прочим, женщина. Как же это он позабыл побриться и умыться утром? Имя и отчество ее за всеми этими «почему» и «как» у него выскочило из головы. Как теперь к ней обращаться? Эксперт между тем давно уже говорила что-то негромко, смущая Костю томным взглядом через дымчатые очки в красивой оправе. Костю все время отвлекала маленькая наклейка с непонятным знаком в уголке стекла очков. Он слушал, но все никак не мог сосредоточиться: то не находил слов, чтобы ответить на простой вопрос, то вдруг перебивал эксперта и вовсе ни к селу ни к городу пускался в тех-

нические подробности. Женщина тактично пережидала и терпеливо повторяла снова сказанное ею только что.

— Понимаете,— мягко убеждала она,— в полезности этого технического решения никто не сомневается, она налицо. Наши возражения касаются существенно признаков и новизны. Ваш измеритель как устройство представляет собой сумму известных признаков, каждая из составляющих выполняет свою функцию. Как целое измеритель нового эффекта не дает.

— Как так не дает? — вспыхивал Костя.— Вот чертежи совсем нового прибора, таких нигде нет...

Костя возражал, спорил, но чем дальше, тем более охватывало его нехорошее предчувствие, в ушах его застонали первые аккорды похоронного марша.

— Вы меня не поняли,— женщина брала из его рук чертежи и аккуратно их складывала,— я говорю совсем о другом...

— Но вы смотрите, какой экономический эффект,— хватался за последний аргумент Костя, как утопающий за соломинку, и извлекал из папки помятую уже бумагу, составленную заводскими экономистами.

— Вы же умный человек,— льстила женщина Костиному самолюбию и так смотрела на него, что у Кости пропадая дар речи.

В конце концов Костя вынужден был согласиться, что его измеритель импеданса состоит из трех частей и каждая из них в принципе известна. Не мог он отрицать и того, что совокупность составных частей предназначена для тех же целей, что и три блока по отдельности, в принципе.

— Следовательно,— логично заключала эксперт,— новизна отсутствует.

— Но ведь у меня вся схема совершенно новая! — в отчаянье восклицал Костя.

— Это несущественно,— отметала возражения эксперт и мило улыбалась Косте.

С таким приговором Костя не мог согласиться. Не мог он, однако, и не ответить на ее улыбку.

— Вот и отлично.— Эксперт поняла его улыбку и молчание как знак согласия.— Сейчас мы составим протокол, подпишем его.

«Ничего не подписывай»,— молнией пронеслось в замороченной Костиной голове предостережение начальника, и он стряхнул с себя оцепенение.

— С чем вы не согласны? — теряла уже терпение

эксперт.— Вы же умный человек. Емкостный блок известен?

— Известен...

Явилась седая заведующая группой с пронзительными глазами, выслушала его и заключила:

— В том виде, в каком формула изобретения представлена сейчас, новизны нет...

Костя как в пропасть проваливался.

— ...но если у вас схема иная, тогда дело совсем другое...

Костя выдыхал и постепенно вновь возрождался к жизни.

— ...в этом случае нужно оформлять новую заявку.— И ушла.

«Значит, в изобретении все-таки что-то есть!» — возликовал душой Костя, но тут же отчетливо осознал, что новую заявку ему никогда в жизни не осилить.

— Вот видите, я же вам говорила, — сказала эксперт, хотя она говорила совсем другое.— Составляйте новую заявку, привозите ко мне, я буду очень рада... — она запнулась, порозовела под его взглядом, — поработать с вами.

Влажный улыбающийся рот, чистый лоб, длинные, прекрасной формы пальцы, маникюр с блестками: «Подпишите вот здесь и еще здесь».

Есть в мире вещи, которые выше долга, выше рассудка, — в полном смятении чувств и мыслей непризнанный изобретатель Костя Миньков подписал протокол.

От этой своей поездки Света Гальцева ждала очень-очень многого. Получилось все так неожиданно: срочно понадобилось отвезти в Москву на испытание партию датчиков, а ехать некому — лето, все в отпусках, вот и послали ее, лаборантку. Дело-то пустяковое: довезти, передать и через три дня забрать назад ящик с датчиками. Экскурсия, а не командировка!

Света обожала путешествия, каждый год они с мамой, такой же непоседой, как и она, брали путевки или просто билеты и отправлялись каждый раз в новые места, где до того никогда не бывали и куда не скоро еще попадут, желательно подальше: на Север, в Сибирь, на Алтай. На что, на что, а уж на путешествие денег они не жалели, приходилось, правда, весь год урезать себя в остальном. Но что эти небольшие лишения по сравне-

нию с острой радостью новых дорог, новых впечатлений, новых красок земли! Не одну папку этюдов и набросков привезла с собой Света из этих увлекательных поездок — она с детства очень любила рисовать, мама считала ее талантливой, восхищалась каждым ее рисунком и мечтала, чтобы дочка стала настоящей художницей. Мама принимала на себя, на свои худенькие плечи, все житейские тяготы и заботы как дома, так и в поездках. До недавнего времени она вообще таскала на себе тяжелый этюдник, едва поспевая за скорой на ногу дочкой. Многие сначала думали, что художница именно мама.

Выбрав место, Света показывала, где установить этюдник на трубчатых складных ножках, а сама начала смешивать краски — это был знак, что ее следует теперь оставить одну. Мама, в благоговейном восторге, выхаживала поодаль, стремясь не помешать рождению чуда искусства, и отгоняла зевак, всегда собирающихся за спиной работающего художника.

Мама часто рассказывала, что она сама мечтала в юности стать художницей, но выучиться этому делу не удалось: жили они небогато, пришлось рано пойти работать, помогать семье, потом родилась Света. Отца своего Света не помнила, и мама почему-то не любила говорить о нем. Все в их маленькой семье делалось так, чтобы способная девочка могла без помех развивать свой талант. Света росла избалованным, но незлым ребенком. Время от времени, однако, приходилось напоминать дочке, что мама всю свою жизнь посвятила ей, и только ей.

Сейчас Света стала большая, она уже не позволяла матери носить тяжелый этюдник с кистями и красками, а с недавнего времени девушку начали тяготить и другие проявления маминой заботы, а также знаки преклонения перед ее талантом. Теперь, начиная новую работу, Света отсылала маму либо в местный музей, либо просто погулять где-нибудь. Та сперва наотрез отказывалась, но после недолгих споров подчинялась. Иногда, сделав вид, будто уходит, она пряталась за деревьями неподалеку или за углом и тайком наблюдала за священнодействием дочери у этюдника. Света замечала эти уловки, досадовала на мать, ничего путного из ее работы не получалось; кусая губы, она безжалостно смывала написанное и начинала все сначала.

Изредка ей удавалось верно схватить свет и тон

изображаемого, в синих глазах ее сразу будто васильки расцветали, в груди птицей трепетала и пела звонкая радость. Мама, уже по глазам Светы зная, что сегодня *удалось*, осторожно, словно стекло, брала за кромочки шершавый картон, и на глаза ее наворачивались слезы умиления. «Это же талант, талант!..»

К сожалению, мнение это было пока только мамино, мама же — человек небеспристрастный. А вот другие... Света судорожно сглатывала горький комок обиды каждый раз, когда вспоминала, что уже третий год ее рисунок и композиция не проходят по конкурсу в Институт живописи, причем все три года — на последнем туре. Она придиричиво смотрела работы принятых ребят — были и послабее ее по исполнению. Ей охотно и доброжелательно объясняли, что в этих вот, пусть и с небольшими ошибками, рисунках видна индивидуальность, свое видение мира, а в ее пока этого нет, но человек она, несомненно, способный и нужно только работать. Света не могла понять, чего от нее хотят, и расстраивалась от этого еще сильнее. Но ведь она же чувствовала в себе что-то необыкновенное, вот только передать это на бумаге у нее все не получалось. Поэтому приходилось ей сидеть целыми днями в душном «антихудожественном» интерьере заводской лаборатории и целый год ждать отпуска и мечтать о путешествиях. И тут вдруг такой подарок судьбы — поездка, да еще куда — в Москву! Еще и деньги на дорогу дают. Фантастика!

«Самая великая ценность в жизни, — любила повторять мама, — это возможность посмотреть мир». Света соглашалась с ней полностью... Почти полностью: главным в поездках для нее были все-таки не зрительные впечатления, а встречи с людьми, самыми разными людьми, а если уж быть до конца откровенной, она ждала от этих путешествий одной встречи, которая когда-то должна же произойти, — единственной, самой важной в жизни встречи с человеком, который поймет ее до конца, поймет ее душу, жаждущую прекрасного и жаждущую открыть себя людям... человеку...

Сколько ни ездили они с мамой во все концы страны, такого человека все не встречалось на ее пути. Это очень печалило Свету, тем более что почти все ее школьные подруги уже нашли себе... у некоторых даже ребенок появился, а она все с мамой и с мамой. Конечно, выскочить замуж — это не цель. Кстати, Свете ни один из возлюбленных прежних ее подружек не нравился.

Мама всех ее подруг знала и часто передавала ей подробности семейной жизни молодоженов, услышанные от новоиспеченных тещ. От этих подробностей Свету мутило, а мама, рассказывая, содрогалась при мысли о том, что и ее дочке может попасться какой-нибудь пьяница, или грубиян, или гуляка. Такой семьи и Света себе, конечно, не желала, но тем сильнее возвышенная душа ее жаждала скорой встречи с единственным в мире человеком, который бы по-настоящему понял ее.

Иногда на нее находило дурное расположение духа, и ей начинало казаться, что причина ее неустроенности — мама, что если бы не постоянная ее опека, Света давно бы уже нашла *такого* человека. Тогда Света забрасывала карандаши и кисти, замыкалась, переставала разговаривать и старалась поменьше бывать дома. Мама признавала за творческим человеком право на капризы и, прячась от нее, потихоньку плакала. Сначала Света заставляла себя не замечать этого, но потом принималась казнить себя за жестокосердие и несправедливость по отношению к маме, которая всем в жизни пожертвовала ради нее, ради единственной дочери: «Мама, маленькая добрая мамочка, жизнь ведь у нее тоже не сложилась, тяжело ей пришлось, а тут еще дочь дурная, со своими заскоками...» Свете делалось горько на душе, она бросалась на шею маме, и обе плакали уже легкими слезами, успокаивая и подбадривая одна другую. Потом мама стелила на стол белоснежную скатерть, они усаживались пить чай с их любимым крыжовенным вареньем и мечтали о новых путешествиях. Вдвоем.

Командировка в Москву была первой поездкой в жизни, которую Света совершала одна, без мамы. Мама до слез волновалась, собирая дочку одну в такую дальнюю дорогу: ведь девочка такая рассеянная, перед собой ничего не видит, а в Москве транспорт и люди... всякие. Мама готова была взять отгул и сама ехать со Светочкой, чтобы ничего с ней не случилось, но в сберкассе, где она работала, некому было подменить ее — отпускной период.

Света как могла успокаивала маму, давала самое честное слово, что будет переходить улицу только на зеленый свет, домой к тете Зое будет возвращаться не позже десяти, каждый день будет звонить по междугородной и на питании экономить не станет. Света говорила и сама верила, что будет очень скучать по своей маленькой хлопотунье-мамочке, но при этом она не мог-

ла дожидаться, когда же наступит счастливый час отъезда, — она очень много ожидала от этой поездки, у нее было предчувствие, она была просто уверена, что на этот раз в ее жизни произойдет что-то замечательное — может быть, встреча?..

Света, кажется, не разочаровалась: три дня кружилась она, как на каруселях, в волнах впечатлений — одно ярче другого. Все нравилось ей, все увлекало, об отдыхе и думать забывалось. Музеи, памятники, новостройки — все она жадно впитывала в себя, чтобы после во всех подробностях рассказать маме, рассказать и показать — у нее набралось уже листов двадцать набросков в карандаше. Обострившимся взглядом Света выхватывала из окружавшего ее разнообразия картин и лиц самое важное и интересное, а рука — она сделалась здесь какая-то необыкновенно легкая, уверенная — бегло передавала бумаге самое существо из открывавшегося ей. Света стала замечать в своих работах новую для нее манеру накладывать мазок и штрих. В ее набросках и этюдах появилось что-то светлое, радостное, горячее, в чем разбираться сейчас не было времени.

Перед ней из цветных кубиков и мозаики складывались церквушки и усадьбы московского барокко, из серых циклопических кубов — современные здания. Соборы Кремля, белые и золотые, хороводом кружились вокруг нее, Москва-река голубым кушаком опоясывала этот город из сказки...

И люди, масса людей со всех концов света — старые и малые, женщины и мужчины, — лица грубые и утонченные, надменные и приветливые. Со Светой заговаривали незнакомые люди, она радостно отвечала им, сама обращалась к кому-то. Люди вокруг были все такие интересные и чем-то чуточку смешные. Так бы и рисовать всех подряд!

Из пестрой, гудящей разноязыким говором толпы, как удары тамтама, обособились фигуры негров в ослепительно белых хитонах: черные, с фарфоровым гляncем лица, выпученные виноватые глаза, вывороченные вишневыe губы, блестящие черным каракулем волосы. Света ойкнула в восторге и выхватила из сумки угольный карандаш: какой колорит, какой контраст — Африка, Эфиопия!..

Чудеса поджидали ее на каждом шагу: сегодня Новодевичий монастырь и Некрополь, завтра Загорск, вечером Третьяковка... Везде и всюду ее не оставляло ощу-

щение, что вот-вот с ней случится что-то самое главное, необыкновенное. Только об этом не нужно специально думать — все должно произойти само собой, без подготовки. Забудешься — тут оно и случится. И снова, не зная усталости, летела Света в другой конец города, чтобы успеть увидеть и запечатлеть еще одну достопримечательность, рекомендованную путеводителем как единственная в мире.

Сегодня вечером ей страшно повезло. В эти дни в столице гастролировал знаменитый певец из Италии — их с мамой любимый певец. Чудом ей достался билет...

На концерте итальянского певца рядом с ней сидел высокий брюнет, симпатичный такой, — это он ей и продал лишний билет. Сидел же он какой-то невеселый, рассеянно поглядывал по сторонам, и казалось даже, будто и певца он почти не слушал. Света сразу догадалась, что у этого юноши девушка его почему-то не пошла на концерт и теперь он переживает. Подумав, она решила, что если бы он уж очень переживал, то и сам бы не пошел. И Свете вдруг страстно пожелалось, чтобы этого покинутого юношу в самом скором времени нашло его счастье. Света стала поглядывать на него тайком и представлять, как бы она писала его портрет.

Итальянец был просто красавец и пел потрясающе — много лучше, чем на пластинке и по радио, а как держался!.. Место попало боковое, неудобное, но Света была в восторге. Столько чувства было в его исполнении, что у Светы порой мурашки по спине и рукам пробегали, хотелось плакать и смеяться одновременно.

Когда певец, стройный, в длинном бархатном пиджаке, появился в очередной раз на сцене в оранжевом конусе прожектора и под шелест аплодисментов пропел первые слова знакомой всем песни о любви, Света почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Повернув голову, она успела поймать поспешно скользнувший в сторону взгляд юноши рядом с ней. Ей показалось, что во взгляде его уже почти не было грусти по не явившейся на свидание девушке. После еще несколько раз Света ощущала на себе этот взгляд, но заставляла себя не отрывать глаза от сцены.

— Здорово поет! — прокричал ей молодой человек, когда зал заплескался водопадом аплодисментов и криками «браво».

— Просто замечательно, спасибо вам огромное, — ответила она, лучась глазами и отбивая себе ладони.

«Неужели встреча?» — не верила самой себе Света. Нет, чувство ее не может так обманывать, она без слов понимала, как одинок этот чуткий человек, как нуждается он сейчас в помощи и как душевно он может выслушать и понять всю глубину ее переживаний, всю ее. Взгляды их встречались, они обменивались короткими фразами, Свете хотелось, чтобы как можно дольше не кончался концерт, и одновременно она ждала его окончания с волнением и даже трепетом.

Но вот восторги зрителей отшумели, певец много бисировал, устал, публика, тоже утомленная обилием впечатлений, потянулась к выходу. Поднялись и Света со своим соседом.

Ожидаемой просьбы разрешить проводить, однако, не последовало. Молодой человек медленно продвигался впереди нее, высматривая кого-то в толпе. Наконец она потеряла его из виду. Потом, уже на улице, заметила вновь: он несмело придерживал за талию стройненькую девушку в широкой присборенной юбке, в яркой с рюшами блузочке из японского шелка. Прямые, до плеч, волосы девушки были перехвачены лентой, надвинутой на самый лоб. Молодой человек, весь сияя, что-то говорил ей на ухо...

Не разбирая дороги, Света брела какими-то бесконечными бульварами, и сквозь слезы — благо что темно, слез не видно, — она едва различала светлые скамейки, черные ограды, неестественную зелень, подсвеченную яркими голубыми лампами. Дальние огни виделись какими-то диковинными цветками с заостренными лепестками, которые тянулись уколоть ее прямо в глаза.

В этот вечер Света в первый раз нарушила данное маме слово — приходите домой непоздно. У тети Зои все спали, сама она встала с кровати, чтобы открыть дверь, недовольная, не сказала, впрочем, ни слова.

Назавтра Света никуда не пошла, вернее, она вышла из дому и не спеша, не глядя по сторонам, отправилась за своими датчиками, отвезла странно потяжелевший ящик на вокзал в камеру хранения, вернулась домой, без интереса пересмотрела свои наброски, собрала вещи, взяла первую попавшуюся книгу с полки, рассеянно прочла несколько страниц, задремала. Ей больше некуда было спешить, она поняла: *встречи* и на этот раз не будет, и дело здесь, конечно, не в маме, а в ее, Светиной, несчастной судьбе, в ее внешности, в ее годах...

Ящик с одной стороны, сумка и папка — с другой мучительно оттягивали руки. Когда казалось, что суставы вот-вот разойдутся и руки оборвутся, она опускала свою ношу на землю и ждала, пока тело отдохнет. Плечистый парень в джинсовом костюме со спортивной сумкой остановился около нее: «Разрешите, помогу?» — и потянулся к ящику. Помощь сейчас пришла бы ей как нельзя кстати, но Света была зла на всех мужчин.

— Оставьте. Помогите лучше вон той женщине... — указала она ему на старуху в плюшевом полупальто — в такую-то жару! — увешанную мешками, корзинами, какими-то узелками, набитыми невесть чем, вдобавок у колен ее позвякивал на каждом шагу чайник, как она еще передвигалась — загадка. — Ей помощь нужнее. Куда же вы?

Парень юмора не оценил, обиделся даже:

— Как хотите, — и пропал в вокзальной толчее.

«Всем им только внешность нужна! Этой тоже, видно, сразу не разобрался, а теперь рад, что с ней не связался... Чего толкаетесь!» — злилась Света на весь мир. Теперь ей уже не хотелось никого рисовать. Люди спешили, обгоняли ее, задевали чемоданами, наконец чем-то острым ее ткнуло в ногу. Света бросила в сердцах свою ношу, чертыхнулась грубо вслед, но капрон, слава богу, остался цел. И конечно, по закону свинства, четырнадцатый вагон оказался прицеплен не в хвосте поезда со стороны вокзала, а в голове.

«До отхода поезда вагон времени», — невесело скаламбурила она, когда дотащилась наконец до своего купе. Внутри пусто и тускло: лампы горят вполне накала, стенки обиты темной тисненой клеенкой, местами она вытерлась, порвалась и повисла ровными язычками, обнажая грязную фанеру под ней. Диван, столик, даже рамы окнá, тоже облезлые, исцарапаны и исписаны вдобавок глупыми словами. «Гнездышко что надо, нечего сказать, особенно для художника», — усмехнулась она, смахнула газетой пыль, села. Встала, затолкала ногой под диван измотавший ее силы ящик, опять села. Вот и закончилась «экскурсия»...

До отхода осталось пять минут, но пассажиров в купе почему-то не было.

«Он помчался на перрон, сел в отцепленный вагон», — подумалось ей. Она с беспокойством выглянула в коридор: кажется, все в порядке, у закрытых окон стояли несколько человек и мимикой пытались сообщить что-то

важное провожающим на перроне. «Будем считать, хоть здесь повезло, поеду в отдельном купе, надоели все...»

Две минуты до отхода... Загромыхав, отъехала вбок зеркальная дверь. Света — вся внимание: в полумраке в дверном проеме показался молодой человек, мужчина, растрепанный, хмурый:

— Восемнадцатое здесь?

— Здесь.

Внес портфель, какие-то коробки, побросал все наверх. Сел. Глаза у него ненормальные, отметила Света, воспаленные, с темными кругами — или это в полумраке кажется? Парень кое-как пригладил волосы, вытер лоб — видно, он бежал: от него, как от печки, несло жаром. И пахло потом. Света поморщилась и отвернулась к окну. Что-то стукнуло, твердый звук прокатился под полом и побежал дальше, платформа с волнующимися людьми, с багажом, носильщиками, с вокзальными огнями медленно поплыла в Москву, потом стало понятно, что это их поезд пошел.

Молодой человек немного поостыл, огляделся:

— Что, никого больше нет?

— А кто вам нужен?

— Никто, — сверкнул он на нее глазом и тоже отвернулся к окну.

«Господи, странный какой, — заволновалась внутренне Света, — еще ночью пристукнет или еще чего с ней сделает. Пойти поменяться с кем-нибудь местами...»

Она исподволь оглядывала его: большая голова, небритый, всклокоченный, брюки мятые, туфли грязные, но лицо правильное, вот только нос слегка вздернут... И тут она обнаружила, что ее попутчик спит. Да-да, оперся на руку лицом к окну — и спит: устал, видно, человек. Ей почему-то сразу стало спокойно: раз спит, ничего плохого не задумал.

Вагон качнуло, парень удержал упавшую было голову и открыл глаза, мутно поглядел на Свету, она не удержалась от улыбки, такой он был смешной и совсем нестрашный:

— Устали? Сейчас принесут белье, и можете ложиться.

— Нет-нет, я тут еще должен...

Он достал из портфеля тетрадку и стал наносить на бумагу какие-то значки, покусывая губы, что-то записывал.

— Вы студент? — спросила она и тут же сама сообщила, что летом студенты не учатся.

Он поднял голову, сделал глазами движение, видно, чтобы они сами не закрылись.

— Нет, в патентный ездил...

— А что это такое?

— Это где разные изобретения...

— Так вы изобретатель? — поразилась Света, она еще никогда в жизни не видела настоящих изобретателей. — А что вы изобрели?

— Импеданс... — как-то грустно произнес он загадочное слово, глядя мимо нее.

— Что-о??? — Это слово и он сам показались ей такими смешными, что она едва не расхохоталась.

— Но ведь если схема общая, — задумчиво проговорил он, — то ведь измеряются не три характеристики по отдельности, а одна. Одна! — обрадовался он. — А я то сразу не сообразил! Значит, новизна есть. Понимаете, — возбуждаясь, заговорил он, — предположим, надо измерить импеданс. Раньше как делали...

Света, пряча улыбку, внимательно слушала, а парень, помогая себе руками, стал объяснять, как устроен изобретенный им прибор и какими замечательными свойствами обладает.

— Люди привыкли по старинке, — вдохновлялся он, глаза его блистали, — им что есть, то и ладно, и когда появляется что-то новое, все шарахаются...

Это Свете было понятно, она на себе испытала, как трудно преодолеть устоявшиеся вкусы и привычки людей.

— Мой шеф так говорит, — продолжал между тем свои обличения Костя, — если бы все было так просто, давно бы уже кто-нибудь додумался. А раз нет — значит, что-то не то...

— Просто? — удивилась Света.

— Конечно, просто, — заверил Костя. — И теперь, когда изобретением заинтересовались в Москве, — голос его окреп и зазвенел, — и скоро его запатентуют за границей...

Света, ни на секунду не сомневаясь в том, что все это чистая правда, с нескрываемым восхищением смотрела на молодого изобретателя, следила, как двигаются его руки и губы, и думала: до чего же бывают умные люди! Она кивала его словам и тихо улыбалась, но это не была улыбка недоверия или иронии — она по-доб-

рому улыбалась, наблюдая его манеру говорить, широко размахивая руками. Этот чудачок, кажется, был уверен, что все в мире можно объяснить на пальцах, она же абсолютно ничего во всем этом не понимала. Было бы, однако, жестоко разочаровать этого увлеченного человека. Света внимательно слушала и улыбалась своему непониманию вещей, казавшихся ему элементарными. Хорошо бы написать его портрет: наивные синие горящие глаза, разлохмаченные волосы, губы...

— Вы продолжайте, — велела она ему, взгляд ее обострился, она раскрыла папку с бумагой и взяла жировой карандаш.

На шершавой бумаге, словно сами собой, стали возникать четкие, безошибочные линии, которые уверенно слагались в портрет — сходство было поразительное, Света сама себе удивлялась — так быстро и точно схватить выражение лица ей до сих пор еще не удавалось никогда. И кроме того, в рисунке появилось еще что-то неуловимо присущее только ее душе, ее нынешнему состоянию и настроению...

— Вы что, художница? — Он наконец заметил, что его не слушают.

— Да, то есть... — замялась слегка Света.

Она хотела добавить, что она пока еще, в общем, не художница, как вдруг дверь снова с грохотом покати-лась влево.

Они одновременно посмотрели друг на друга с выражением разочарования и разом повернулись к дверям: кого это еще несет к ним нелегкая? К счастью, это оказались не пассажиры, а проводница в синем жакете с золотыми пуговицами. Проводница присела, деловито развернула матерчатую кассу, потребовала билеты и по рублю за постели.

— А где остальные пассажиры? — удивилась она, оглядев купе.

— Мы скупили все места, — пошутил Костя.

Проводница пристально и лукаво поглядела на обоих.

— Надо к вам подселить кого-нибудь.

— Не надо! — вырвалось у Светы.

Она покраснела до кончиков ушей и, сердясь на свою несдержанность, отвернулась к блестящему черному окну.

Проводница усмехнулась, покачала головой и вышла. Дверь задвинулась. Наступила неловкая пауза. Света

отложила папку и, не поднимая глаз, в смущенье разглаживала ладошкой юбку на коленях.

Костя смотрел на нее воспаленными от переутомления глазами: блестящие темные волосы, забранные на одну сторону, спадали ей на грудь плотной волной, мягкая линия склоненной шеи плавно переходила к плечу; тонкие длинные руки, вытянутые пальцы с розовыми лепестками ногтей на кончиках — она показалась ему совершенной красавицей, еще вдобавок художница...

— Чай принесут, интересно? — сказала она, чтобы прервать затянувшееся молчание.

— Хотите чаю? — вскочил он. — Я сейчас.

Она поблагодарила его смущенным взглядом, и он полетел за чаем, ощущая в себе прилив новых сил. Спать ему уже ни капельки не хотелось, сейчас он мог свернуть горы, еще чего-нибудь мог изобрести... Все неудачи прошедших дней — бессонная ночь на вокзале, отказ в патентном институте, да и сам этот злосчастный импеданс — все сделалось вдруг таким мелким и неважным по сравнению с главным... С чем? Главное сейчас в его жизни странным образом сосредоточилось на том, чтобы добыть хоть из-под земли стакан сладкого чая, раз этого захотела такая чудная девушка, которая сразу поняла, какое у него замечательное изобретение.

Чая в их вагоне, однако, не оказалось, ему пришлось обегать чуть не весь поезд, прежде чем удалось выпросить два стакана в вагоне, где находился бригадир, — рядом с начальством порядка всегда больше. Лавируя между укладывающимися спать пассажирами, оберегая стаканы от толчков, он донес-таки, почти не расплескав, свою добычу и торжественно поставил перед ней на столик: «Ваша воля, сударыня...»

Пока он отсутствовал, а прошло уже больше получаса, она сходила за постелями для себя и для него и там, у проводницы, сразу догадалась, что он отправился разыскивать обещанный чай по другим вагонам. «Смешной парень, — тепло думала она о нем, — такой милый... Его, наверное, любят девушки и покрасивее меня». И снова горечью отозвался в ее сердце случай с молодым человеком там, на концерте в Москве. Ни о какой *встрече* она уже не думала: «Какая там встреча — детство в ней бродит, вот что. А этот странный растрепанный парень — его больше всего на свете интересует свой — как же его? — импеданс».

Она снова раскрыла папку с набросками, и ей с пер-

вого же взгляда стало ясно, как нужно поправить тот или другой. Уверенной рукой она добивалась того, что в рисунке ее начинало проглядывать особенное какое-то выражение, какое впервые обнаружилось в портрете несуразного ее попутчика...

— Благодарю вас, сударь, — в тон ему поддержала игру Света, — вы совершили настоящий подвиг.

— Ваша воля, сударыня, — повторил он и шаркнул ножкой, — для меня закон.

Оба расхохотались.

Света прихлебывала остывший чай, а Костя попросил посмотреть рисунки.

— Это еще не закончено, — поколебавшись, разрешила она, — обычно она никому не давала смотреть наброски, даже маме.

Он рассматривал ее этюды, и ему виделись полузабытые картины далекого детства: деревянные домишки на горе, белая церквушка, перелески, нескончаемые луга за жутким темным оврагом. В лугах на изумрудной и бирюзовой травке крошечными мотыльками сидят желтые цветки люцерны и лиловые — горошка. Тут и там из зеленой травяной шубы выпархивают уже настоящие бабочки, которых никогда не удавалось изловить нерасторопному Костику. В полдень луг гудит духовым оркестром: басами жужжат пчелы, флейтами звенят мухи, фанфарами, на одной ноте, сигналият кузнечики. Или это у него в ушах пела тогда музыка ожидаемого счастья?

— Каждый цвет у вас, — вглядывался Костя в ее работы, — звучит, как инструмент в оркестре...

«Как тонко чувствует он свет и настроение! — поражалась Света. — А я-то сначала подумала, что он ничего, кроме своих схем...»

— ...И еще в ваших рисунках есть что-то очень личное, только ваше. Ведь правда? Как будто ожидание чего-то, да?

Света потупилась.

Костя перевернул еще один лист и так и впился в него глазами, пораженный: «Потрясающе!» На белоснежной бумаге чернели лица африканцев — тон низкий, густой, как голос его, Костиной, валторны, давно заброшенной валторны. Коробка купе словно наполнилась звуками, но не бездушным перестуком колес, а согласным пением инструментов духового оркестра, исполняющего марш из «Аиды» в тональности ля-бемоль мажор.

Костя все никак не мог оторваться от этих африканцев.

— Куда вы денете ваши прекрасные работы, когда закончите все?

— Все это пойдет на выставку, — небрежно бросила она и прикусила язык.

— А-а... — Рот у Кости приоткрылся.

Света без тени смущения, ясными, правдивыми глазами глядела на него, будто испытывая: поверит ли?

Костя поверил!

Позже, вспоминая о своей выходке, она сжималась от стыда, кусала пальцы: она была не в состоянии объяснить самой себе, что с ней творилось в ту ночь, но тогда на Свету нашло что-то, и ее понесло. Она стала совершенно серьезно говорить, что скоро будет ее выставка, где — она еще не знает: или в Центральном выставочном зале, или в Академии художеств. Но она уже знает, какую картину повесит напротив входа, а какую — в дальнем углу, где потемнее. Начиная верить сама тому, что приходило ей в голову, она рассказывала, что новая прекрасная картина у нее уже почти готова дома, поясняя, какие чувства эта картина должна пробуждать и в какой цветовой гамме она решена. Света в подробностях видела эту самую лучшую свою картину, и что за беда, если она пока еще и не начата, все равно картина уже существует в ее воображении, а написать — это недолго. Щеки ее пылали, тонкие руки летали по воздуху, пальцы трепетали, нанося невидимые мазки на воображаемый холст, голос звучал то светло и звонко, то матово-приглушенно, то жалобно-беззащитно.

— Вы думаете, главное в живописи цвет и линия? — горячилась она, хотя Костя и не думал возражать ей. — Главное — это передать настроение, сообщить людям ощущение приближающейся скорой радости, а каждый человек ждет радости, от искусства — особенно...

Света перекинула назад волну своих прекрасных волос.

— Главное, — подхватывал в восторге Костя, в душе которого гремели одновременно все марши и вальсы для духового оркестра, которые он только знал, — главное, чтобы людям все это нужно было. Вот мой измеритель импеданса...

Недопитый чай давно остыл в рельефных подстаканниках, а они, перебивая друг друга, все разливались

каждый о своем, радуя один другого глубоким взаимным пониманием художественных и технических проблем. Время остановилось...

И тут погасили свет.

— Что за дела?! — Костя энергично пощелкал выключателем, выглянул в коридор.

— Пора спать, — первая спустилась с небес Света, голос ее потускнел.

— Спать? — Он присмотрелся к циферблату, потом приложил часы к уху — и очень удивился, что уже так поздно.

Укладываться пришлось по очереди на ощупь. Она было подумала постелить и ему, но природная осторожность остановила ее: «Еще вообразит бог весть что, хотя... пусть думает что хочет» — и постелила ему тоже.

Костя устроился на верхней полке — «согласно купленным билетам».

— А спать мне совсем не хочется, — сообщил он, глядя в потолок открытыми глазами.

Было так темно, что хоть открой, хоть закрой глаза — все равно ничего не видно.

Ему очень хотелось поговорить с ней еще, хотелось рассказать о себе, о том, как он был совсем маленьким и все было ясным и понятным в его, Костиной, жизни, рассказать о духовом оркестре, о спокойном, чистом голосе его валторны, о добром великане Колышеве и еще о том, как он додумался до своего изобретения... Эта девушка так внимательно слушает и понимает его, не ворчит и не выговаривает ни за что. И такая симпатичная девушка...

Спать Свете тоже не хотелось, но робость опять овладела ею: «Разговаривать с малознакомым мужчиной, в темноте, да еще лежа... Мама умерла бы от ужаса, если бы узнала».

— Вам и мне нужно отдохнуть, спокойной ночи, — уютно, по-домашнему произнесла она и повернулась к стене.

Она лежала с открытыми глазами, не шевелясь и не дыша, и слушала, как он ворочается в темноте наверху. Теперь ей было скорее странно, чем страшно: никогда еще в жизни ей не приходилось ночевать вот так с мужчиной, почти рядом, а ведь она и имени его не знает. По книгам и фильмам она, конечно, представляла, как это может произойти у мужчины с женщиной,

но было жутко и томительно от мысли, что с ней сейчас может произойти то же. «Нет, он человек хороший... так в живописи разбирается, — успокаивала она себя, — если что, она закричит, люди кругом. А вдруг он все-таки выдержит?» Теперь она уже сама не знала, чего ей опасаться больше: того, что он не выдержит, или того, что он устоит. «Если бы только мама знала, что творится на душе у ее неразумной дочки!..»

Поезд покачивало и потряхивало, на верхней полке движений не прослушивалось, доносилось лишь глубокое, с посапыванием дыхание... Незаметно для себя она тоже заснула, глухо, без сновидений.

Ночью поезд несколько раз останавливался. Костя пробуждался, свешивал растрепанную голову вниз и напрягал зрение, пытался разглядеть в слабом свете станционных фонарей ее лицо на белой подушке, однако лицо было наполовину скрыто разметавшимися волосами. Отчетливо он видел лишь ее голую руку, беззащитно покоившуюся поверх темного одеяла. Тоненькое одеяло мягко обтекало фигуру, скрывая собой нежные формы ее тела.

«Какая красивая! — говорил себе Костя. — Что же делать?»

Он вздыхал, ворочался с боку на бок, снова засыпал. Во сне ему виделись черные лоснящиеся африканцы с гибкими, упругими, будто из резины, телами — они маршировали под звуки духового оркестра и на ходу проделывали упражнения ритмической гимнастики.

Поезд тормозил. Костя вновь пробуждался. Ночь, казалось, не кончится никогда...

Дверь дернули и властно забарабанили в нее. Не дожидаясь, пока откроют изнутри, проводница отомкнула своим ключом и предстала перед молодыми людьми, придирчиво оглядывая, что тут делается в купе, и сразу заговорила громким официальным голосом:

— Белье сдавайте, матрасы — наверх. Билеты кому нужны?

Света и Костя, продирая глаза, сидели на своих полках и едва соображали, что от них требуется.

Костя первый пришел в себя.

— Нужны, но закройте дверь.

Проводница осуждающе покосилась и вышла.

Оба разом взглянули друг на друга: он в майке, растрепанный, с подпухшими веками; у нее вся краска на глазах размазалась, на щеке розовел длинный след

от подушки, в волосах пушинки. Она бросилась ничком на подушку и глухо сказала в нее:

— Одевайтесь и побудьте в коридоре.

Когда, умытый, выбритый и причесанный, он снова явился перед ней, она встретила его сияющим взглядом, уже прибранная и в элегантной позе — нога на ногу.

— Как почивали, сударь? — заулыбалась она, продолжая вчерашнюю игру.

Костя поглядел на нее, замешался, покраснел и поспешил спрятать глаза. Он и сам сейчас, если бы мог, спрятался бы, забился от стыда куда-нибудь в угол под нижнюю полку. Заврался, совсем заврался вчера перед художницей, как последнее трепло. Смотрит теперь с издевательской усмешечкой — давно уже догадалась, видно, что за изобретатель Миньков.

— Нормально, — выдал он из себя наконец и поднял руки к своей верхней полке.

Он стоял и медленно, чтобы протянуть время, возился, собирая постель.

Света решила, что он еще не пришел в себя со сна, оставила пока его в покое и занялась своей сумочкой.

«Ей-то хорошо, — горько думал он, — у нее всеобщая слава, восторги публики, жизнь в искусстве, а мне сегодня с начальством объясняться, к главному на ковер потащат: Сергей Андреевич доложит, что Миньков все дело в Москве загубил... По поезду вчера за чаем носился как дурак! Изображал из себя неизвестно что. А уж ночью — это вообще».

Уши его пламенели, будто их только что отдергали в наказание за пустую похвальбу.

Поезд мягко пристал к платформе. На улице солнышко — Света надела темные очки. Костя посмотрел на маленькую наклейку в уголке стекла ее очков и сразу вспомнил, кого все время напоминала ему эта девушка.

Пройдя немного, они не сговариваясь остановились. Света подняла на него глаза. Костя молчал и глядел в асфальт.

— Как хоть вас зовут? — жалобно спросила она.

«Иванушкой-дурачком», — хотел сказать Костя.

— Ой, — вскинулась вдруг Света. — Ящик с датчиками... Я — сейчас.

Когда она, прихрамывая от тяжести на одну ногу, снова вышла из вагона, попутчика ее на платформе уже не было.

«Но как же он мог уйти, как же он мог, когда она уже его *встретила*, — сердце ее от обиды и горя просто разрывалось на куски, — просто так — взять и уйти?!»

«Эх ты, импеданс, — корила она счастливого изобретателя, — для тебя важнее твоя бесчувственная техника, а мне вот снова домой, к маме, в путешествие собираться. Вдвоем...»

В ящик будто кирпичей вместо датчиков насовали, одна нога постоянно подворачивалась на высоком каблуке. Чем дальше, тем тяжелее делалась ее ноша. Если бы он не ушел, он бы не дал ей самой нести ящик...

«Если бы не ушел?» — ужаснулась она, кровь кинулась ей в лицо. Она поставила ящик, опустилась на него и провела по щекам прохладными костяшками пальцев.

Потом в нее будто кто живым духом дохнул, она поднялась и пошла, уже почти не замечая тяжести в руках. «Какое счастье, какое счастье», — повторяла она про себя, радуясь сама не зная чему, а платформа все не кончалась и не кончалась, такая длинная-длинная.

— Стоп, стоп, стоп! — Руководитель оркестра Колышев гулко хлопает огромными своими ладонями.

Крупные складки его лица кривятся от досады, нижняя губа выпячивается, уголки рта опускаются. Инструменты не все сразу, но замолкают.

— На похоронах, что ли, играете, жмурику лабаете? Темп нужно чувствовать, темп: войско фараона возвращается в столицу после победы над эфиопами. Победа, понимаешь, ликование, Африка — а вы... Все сначала — тональность ля-бемоль мажор, темп аллегро. Поехали: та-та-а-а-та-та-та...

Вторая валторна! — перекрывая гром оркестра, снова возглашает Колышев, воздевая руки к потолку. — Ля-бемоль здесь, понимаешь? Ля-бе-моль, а транспонируется на два тона ниже. Оглох, что ли, как изобретателем стал?.. Все снова.

Руководитель, словно дерево, нависает над своим оркестром.

Костя Миньков виновато взглядывает на возмущенного Колышева и принимается старательно вытряхивать влагу из мундштука своей валторны, будто бы только из-за этого он сфальшивил, опять набирает воздух в легкие: воины фараона идут с победой в столицу — ликование, Африка!



Предложение поехать в заповедник Локтев принял сразу, будто давно ждал его. И лишь выйдя из университета, подумал о том, что теперь надо будет все объяснять жене и теще, и возбужденно-радостное настроение его тотчас пропало.

Придя домой, он устало уселся на диван и так просидел до тех пор, пока в коридоре не щелкнул замок.

— Сережа, ты дома?— спросила Светлана. Он хотел уже было ответить, но вдруг услышал голос Зинаиды Сергеевны:

— Конечно, дома. Вот же его туфли.

«Вместе прибыли,— тоскливо подумал Локтев. Он ожидал, что первой, как всегда, придет жена.— Ну да, конец месяца, они, видно, решили пробежать по магазинам».

Он вышел в прихожую, взял у тещи сумку, из которой торчали молочные пакеты, и отнес на кухню.

— Ты почему не переоделся?— крикнула ему вслед Зинаида Сергеевна.

Локтев стиснул зубы и ничего не ответил. В присутствии тещи он сникал и терялся, не зная, как себя вести и что отвечать. Ее громкий голос, ее напористость и энергия, которые она вносила даже в самые простые домашние дела, всегда вызывали в нем приступ тоски.

Налив чайник доверху,— Зинаида Сергеевна любила, чтобы чайник непременно был полным,— Локтев поставил его на плиту и снова появился в прихожей.

— Мне предложили поехать в заповедник,— сказал он неожиданно для самого себя.

— Надолго?— спросила Зинаида Сергеевна и, мимоходом поглядев в зеркало, направилась на кухню.

— На два года,— сказал Локтев.

— Да? Это что — где-то за рубежом?— спросила с интересом теща, продолжая заниматься своими делами.

— Нет, у нас,— сказал Локтев.— В Средней Азии.

— А чего ты там забыл?— громко заговорила Зинаида Сергеевна.— Тебя ж не силком туда заставляют ехать! Наверное, нужно твое согласие?

Локтев посмотрел на Светлану — та все еще стояла в прихожей у зеркала — и ответил, немного помедлив:

— Я уже дал согласие.

Светлана повернулась к нему и заулыбалась — она воспринимала весь этот разговор как розыгрыш,— Локтев иногда любил нести какую-нибудь чепуху на полном серьезе.

Но теща сразу почувствовала опасность. Она появилась в коридоре с ложкой в руке и, всматриваясь в зятя так, будто сличала его с кем-то другим, спросила:

— А с нами ты посоветовался?

Локтев ничего не ответил и пошел на кухню.

— А о жене ты подумал?— продолжала Зинаида Сергеевна, следуя за ним.— Ехать туда с ее здоровьем равносильно самоубийству!

— Да ничего там нет страшного,— отвечал Локтев все тем же бесстрастным тоном, ополаскивая под краном заварной чайник.— Везде люди живут.

— Люди!— саркастически повторила Зинаида Сергеевна.— Некоторые так живут, что тебе и не снилось!

Локтев не сдержался и принялся пространно и горячо говорить о том, что наука его интересует прежде всего как наука, а не как способ обогащения. Но даже если смотреть на эту поездку только прагматически, то и в этом случае она нужна и полезна: за два года он соберет материал для диссертации и накопит денег на первый взнос в ЖСК.

Упоминание о квартире задело Зинаиду Сергеевну за живое.

— Ах вот оно что!— воскликнула она с интонацией человека, который постиг наконец суть дела.— Значит, тебе тут тесно... Ну давайте езжайте! Там, в пустыне, простору хоть отбавляй!

Она бросила на табурет фартук, который собиралась надеть, и энергично вышла из кухни. Но на полпути в свою комнату остановилась и добавила, обернувшись:

— А почему ж ты не поехал туда сразу, после распределения?

— Тогда...— начал было Локтев, но Зинаида Сергеевна оборвала его:

— Тогда ты подыскивал себе невесту с пропиской.

— Мама!— вскрикнула Светлана.

— А теперь ему захотелось вдруг чистой науки!— продолжала теща, снова возвратившись на кухню.— Да ты сам не знаешь, чего тебе надо... Хоть бы посоветовался с нами. Он решил — и все тут. Живешь, как квартирант. Меня матерью назвать стесняешься!

«Господи, тоска какая,— думал Локтев, рассеянно перелистывая подвернувшийся ему под руку «Календарь для женщин».— И откуда она эти слова берет?»

— А ты что молчишь?— накинулась Зинаида Сергеевна на дочь.— И тебе, наверное, не терпится бросить меня?

Светлана попыталась что-то сказать, но мать, не слушая ее, продолжала выкрикивать:

— Уезжайте! Куда хотите уезжайте. Так мне и надо. Это полная глупость — ждать от детей благодарности. Надо было жить для себя. Тогда хоть на старости лет не оказалась бы одинокой...

Наконец Зинаида Сергеевна замолчала и ушла к себе. Как только за ней закрылась дверь, Светлана заговорила быстро, полушепотом:

— Ты что, не мог мне сначала сказать? Я первый раз от тебя слышу про какой-то заповедник. Что это тебе вдруг взбрело в голову?

— Так уж все вышло неожиданно. Сказали, что заповеднику нужен инсектолог. Там просто богатейшие возможности для исследований.

— Но ведь еще не поздно отказаться?

— Наверное. Но я хочу туда поехать. Пока молодой, надо принимать какие-то решения. Да и, честно говоря, мне хотелось, чтобы мы немного побыли с тобой вдвоем.

— Глупенький ты мой,— сказала, заулыбавшись, Светлана и взъерошила его волосы.— Я тоже хочу в пустыню. Будем жить там, как на необитаемом острове... А на один год туда нельзя?

— Нет, за один год там ничего не сделаешь.

— Ну хорошо, милый, на два так на два. Наверное, сначала ты один поезжай, а как только устроишься, я приеду. Ладно?

И Светлана пошла в комнату матери.

Через неделю Зинаида Сергеевна с той же энергией, с какой совсем недавно обрушивала на зятя свои обиды, принялась готовить его в дорогу.

— Может быть, это и хорошо, что вы вдвоем побудете,— приговаривала она, собирая чемодан.— Кто знает, начни мы с мужем вот так, сами по себе, глядишь, и до сих пор жили бы вместе. Теперь-то я понимаю, что дура была, да рассказать некому. Светлана хоть не в меня, слава богу.

До места Локтев добирался два дня. Сначала самолетом, а потом поездом, что ходил раз в сутки. В заповедник он приехал поздно ночью, но там его ждали. Откуда-то из темноты появился худощавый загорелый человек, которому на вид можно было дать и сорок, и пятьдесят лет, и сказал, протягивая руку:

— Вы, наверное, в заповедник приехали? Здравствуйте! Я Кириллов.

Он взял у Локтева сумку и молча пошел вперед. Лишь дойдя до одноэтажного деревянного домика с верандой, на которой горел свет, он произнес:

— Это у нас вроде гостиницы. Постель там приготовлена. Покойной ночи!

Локтев простился с Кирилловым, вошел в комнату, пахнущую свежей побелкой, и, раздевшись, с удовольствием улегся на чистое накрахмаленное белье. Он думал, что тотчас же уснет как убитый, но то ли от непривычной обстановки, то ли от переутомления сон никак не брал его. Локтеву показалось вдруг, будто по ноге его что-то ползет. Ему сразу вспомнились рассказы про скорпионов и сколопендр, которых ему никогда еще не доводилось видеть живьем. И, осторожно встав с постели, он добрался на цыпочках до стены, включил свет, внимательно осмотрел всю комнату. И хотя не обнаружил ничего, кроме маленького рыжего муравья, ползущего по подоконнику, спать окончательно расхотелось.

Локтев оделся, вышел из домика и направился в ту сторону, где над пустыней висела большая оранжевая луна. У деревьев с тонкими ветками — это, очевидно, были саксаулы — он остановился: дальше простирался только голый песок.

Сзади появился большой добродушный пес и уткнулся своим холодным носом в руку Локтева. Темные пятна на широкой светлой спине собаки при свете луны походили на большие аккуратные заплатки. Локтев уже видел этого пса — тот ходил неторопливо по перрону и

обнюхивал сошедших с поезда пассажиров. Он погладил квадратный череп собаки и побрел дальше, вслушиваясь в каждый шорох и настороженно глядя под ноги. Налетавший легкий ветерок веял прохладой, но песок, забивавшийся в сандалии, был еще совсем теплым.

«Вот и пустыня,— думал Локтев.— Смотришь на эти барханы, на эти звезды, и не верится, что где-то есть большие города, полные света и шума, с тысячами людей. Раньше даже не приходило в голову, что пустыня — от слова «пусто». Уныло, голо и пусто. Лишь песок и небо... А ведь есть люди, которые не могут жить без полярных снегов, бескрайней глади моря или таких вот барханов... Отшельники потому и сидели в пустыне, питаясь акридами, что здесь ничто не мешает думать. Ничто. А сейчас человек просто не может представить себя без занятий, забав и развлечений. Оставь горожанина наедине с этими небесами и твердью, и он просто спятит, не зная, чем себя занять...»

Локтев оглянулся и не увидел позади ни пегого пса, ни саксаулов, ни огней станции. Он развернулся и быстро пошел назад.

Через несколько дней Локтеву выделили для жилья двухкомнатный стоявший на отшибе дом. Всю мебель в нем составляли кровать, большой квадратный стол и четыре застекленные полки для книг. По всему чувствовалось, что дом этот послужил не одному хозяину. В комнатах прочно стоял тот кисловатый запах, какой бывает в дешевых гостиницах и общежитиях, а на стенах виднелись следы от кнопок и гвоздей, на которых, очевидно, держались картинки или фотографии.

Первые дни Локтев чувствовал себя совсем скверно. Лето было в самом разгаре, температура воздуха днем не опускалась ниже сорока. Приходя домой, он ложился на пол и без конца пил принесенную с собой в голубой канистре воду, которая очень быстро становилась теплой. Только к ночи, когда жара спадала, он чувствовал наконец облегчение.

Постепенно он приучил себя к новому режиму: вернувшись из лаборатории, тотчас укладывался спать, а часа в три-четыре утра вставал и до восьми работал над диссертацией. Сначала ему приходилось заставлять себя заниматься картотекой, систематизацией наблюдений и опытов, сличением полученных данных с уже из-

вестными, но чем больше он занимался всем этим, тем чаще работа вызывала в нем радостное, возбуждающее чувство. И даже в лаборатории это чувство не покидало его, хотя здесь в основном приходилось работать над комплексной темой, где его жукам отводилось не так уж много места.

Заведовал лабораторией тот самый Кириллов, что встречал его на вокзале в день приезда. Лицо Геннадия Савельевича (так звали Кириллова) напоминало, особенно издали, негативное изображение: на темно-коричневой от загара коже резко выделялись светлые волосы, выгоревшие брови и белесые ресницы. Принадлежал Кириллов к тому разряду одержимых людей, для которых работа включает в себя все: труд, досуг, хобби и личную жизнь. Он тоже занимался жуками и говорил о них всегда так нежно, будто речь шла о самых закадычных его друзьях.

Единственное, что раздражало Локтева в Кириллове, так это присущая тому манера говорить не слушая собеседника и делать в разговоре долгие многозначительные паузы даже в том случае, когда речь шла о явном пустяке. Это, вероятно, осталось у него после работы в вузе, где Кириллов восемь лет читал лекции.

Иногда, оставшись вечером в лаборатории, Локтев и Кириллов играли в шахматы, а раз или два в неделю выбирались ночью в пустыню наблюдать и фотографировать следы и насекомых.

Как-то раз после одной из таких вылазок Геннадий Савельевич пригласил Локтева к себе в гости. На Локтева, любившего во всем чистоту и порядок, неприятно подействовала атмосфера запустения, неряшливости и полного презрения к быту, царящая в доме Кириллова. К тому же Геннадий Савельевич держал у себя двух кошек, и уже в коридоре в ноздри ударял резкий, неприятный запах. После этого визита Локтев старался не бывать больше у Кириллова.

Домой он писал часто, и Светлана регулярно отвечала ему большими письмами. В них она обстоятельно рассказывала, как дела дома и на работе, как она скучает и отсчитывает дни, когда можно будет отправиться в путь. Локтев советовал ей приехать в сентябре, когда начнет спадать зной и легче будет акклиматизироваться.

Душный, горячий воздух и на него самого действовал угнетающе. Особенно он ощущал это во время сна.

То ли оттого, что он укладывался спать перед закатом, то ли просто от постоянно изнуряющей его жары сновидения были чаще всего осколочными, бессвязными. Еще даже не пробудившись, он пытался найти в них какую-то логику и смысл, но не находил ни того, ни другого и просыпался усталым и опустошенным.

В одном из снов он долго шел в какую-то деревню и никак не мог припомнить точный путь,— тропинка вилась вдоль заросшей камышом речушки, потом через холмы, выжженные солнцем. Едва он всходил на очередной холм в надежде увидеть знакомые ориентиры, как натыкался взглядом на следующее возвышение. Казалось, еще немного, и он узнает эти места, но появлялись новые холмы и овраги, а вокруг не было видно ни одной живой души, чтобы спросить, куда идти дальше.

Как-то под утро ему приснилась Наташа. Он видел ее в последний раз очень давно, почти семь лет назад, но во сне ощущения его были так свежи и остры, будто со времени их разлуки минуло всего лишь несколько дней. Они сидели почему-то в огромном, совершенно пустом театре, слушая, как музыканты настраивают в полумраке свои инструменты. Повернувшись к Наташе, Локтев смотрел не отрываясь на ее слегка прищуренные глаза, стриженные волосы, мягко окаймлявшие лицо, и все существо его было наполнено такой нежностью и счастьем, что он проснулся. У него болело сердце и в глазах стояли слезы.

Пора уже было вставать, но Локтев лежал, уткнувшись лицом в подушку и желая продлить то наслаждение и тоску, которые он только что испытал во сне. И хотя через некоторое время острота впечатления сгладилась, он все никак не мог войти в привычную колею и приняться за работу. Вспомнил вдруг, что давно уже собирался сделать наружную антенну для радио, и провозился с ней два часа.

В лабораторию он немного опоздал, но этого никто не заметил. В комнате сидела лишь лаборантка Леночка, молоденькая туркменка с лукавыми глазками, чернота которых выделялась даже на фоне ее очень смуглой кожи.

— Начальник не заходил еще?— спросил на всякий случай Локтев.

— Нет,— ответила Леночка, на секунду оторвав свой взгляд от пробирок. Она всегда смущалась при Локтеве и отвечала на все его вопросы быстро и коротко.

— А где он?

— В фотолаборатории.

Локтев сел за свой стол и, уставившись в окно, за которым виднелись ярко блестящие на солнце рельсы, стал думать о Наташе.

— О чем это вы размечтались, Сергей Дмитриевич? — спросил вошедший в комнату Кириллов.

— Да так, — с неохотой оторвав взгляд от рельсов, ответил Локтев. — Просто задумался.

— Это прекрасно, — сказал Кириллов. — В наши дни люди с задумчивым выражением лица встречаются все реже и реже. Роден, наверное, поэтому и создал своего Мыслителя. Правда, Леночка?

Леночка улыbnулась, пожала плечиками и ничего не ответила.

— Задумчивость — чисто человеческое качество, — продолжал витийствовать Геннадий Савельевич, и Локтев на этот раз был рад его способности говорить азартно и долго. — Животным задумываться некогда, им сразу надо принимать решения. Либо ты кого-то съешь, либо тебя слопают. Вчера, например, я имел удовольствие наблюдать сцену общения между жуками и мухами. Ведь здесь, в пустыне, мухам практически некуда откладывать свои личинки. И эти мерзавки избрали для данной цели жуков. Вот смотрите, Леночка, — это жу-желица из средней полосы России, а это наша.

Кириллов поднял руку, показывая принесенного с собой жука, приставил его своими длинными пальцами к доске с коллекцией жужелиц и сказал горделиво:

— Каков, а? Просто богатырь рядом с этими пигалицами. Один панцирь чего стоит! Не жук, а настоящий водовоз... Так что придумали мухи? Как говорится, не за столом будь сказано, эти гадины целятся несчастному жуку прямо в рот и пуляют туда струю с личинками. Причем жуки интуитивно чувствуют опасность, начинают лавировать, поворачиваться боком. Это надо видеть. Прямо настоящие гладиаторские бои...

Локтев рассеянно слушал Геннадия Савельевича и думал о том, что надо бы написать Наташе, узнать, как сложилась ее судьба, помнит ли она еще о нем. В том, что они расстались, в конце концов, все же была ее вина, она сделала первый шаг к разрыву. Наверное, он должен был быть настойчивее, но кто в молодости не совершает ошибок? Так или иначе, уже минули годы, назад ничего не вернешь, и зачем им оставаться в полу-

вражде, в вечном молчаливом отчуждении, если они отдали друг другу самую лучшую часть своей души, своей жизни?..

Вечером Локтев отыскал в своей старой записной книжке адрес Наташи и, встав следующим утром, как обычно, в четыре, принялся сочинять письмо. Он написал два черновика, прежде чем его устроил тон, в котором были и ирония, и воспоминания о прошлом, и надежда на получение ответа. Он переписал все набело, сделав нарочно несколько помарок, чтобы Наташа, которая всегда видела его насквозь, не подумала, что он списывал письмо с черновика, как школьник сочинение, и, вложив листок в конверт с двугорбым верблюдом, запечатал и опустил в почтовый ящик на станции.

Но ответа он не получил.

Светлана дала телеграмму, что вылетает девятнадцатого сентября, и Локтев поехал встречать ее в аэропорт. Он не сразу узнал ее,— Светлана была в брючном костюме, которого он никогда раньше у нее не видел, и в темных очках с большими стеклами, но она сама разглядела Локтева в толпе встречающих и кинулась к нему навстречу, размахивая большим полиэтиленовым пакетом. Радостное возбуждение не покидало ее и тогда, когда они сели в поезд. Она без конца говорила об их общих знакомых, вспоминала все новые подробности того, как провела лето, и часто беспричинно смеялась. Локтев все время держал ее за руку, любовался ее весельем, но все, о чем она говорила, казалось ему таким далеким, будто речь шла о людях, живших в прошлом веке.

На следующий день Локтев решил устроить что-то вроде праздника, купил вина и пригласил в гости Кириллова. Геннадий Савельевич спиртного в рот не брал, но охотно чокался с хозяевами налитой ему стопкой и даже произносил тосты.

— Пустыню надо видеть весной,— говорил он, прикладывая время от времени руку к своим седым волосам.— Это просто чудо. Появляются эфемеры, яркие, веселые, нарядные. Колышутся целые поля маков и тюльпанов. За несколько дней все так преобразается, что кажется, будто вы попали в сказку... Когда цветут эфемеры, мне почему-то каждый раз вспоминается детство.

— А животные тут, кроме верблюдов, есть какие-нибудь? — спросила Светлана.

— Конечно, голубушка. Тут даже есть свои звери, звери пустыни. У них, правда, нет постоянных нор, они все время кочуют, да и по силе своей ни в какое сравнение со своими лесными братьями не идут. Если, скажем, за местной лисой или зайцем долго идти, они, бедолаги, в конце концов просто выдохнутся и упадут. Кто-то тут и охотится на них столь гнусным способом.

— Вы не правы, Геннадий Савельевич, — не удержавшись, возразил Локтев. — Падают только слабые или больные.

— Это по учебникам так выходит, Сергей Дмитриевич, — ответил Кириллов, посмотрев на Локтева с той снисходительностью, с какой преподаватель смотрит на запутавшегося в ответе студента, и продолжал дальше, обращаясь к Светлане:

— Поразительно, что местные жители совершенно не знают пустыни и боятся ее. Отправляясь куда-нибудь далеко, они надевают на ноги толстые шерстяные чулки. Как будто эти чулки спасут их от чего-нибудь! А ведь бояться-то здесь ровным счетом нечего. Если, конечно, знать природу. Они же поразительно плохо знакомы с местной фауной. Всех змей, например, делят на черных и белых, других определений у них, как правило, не существует...

— Ну, неправда, — снова возразил Локтев. — Очень многие тут хорошо знают пустыню.

— А у нас все помешались на телекинезе, — сказала Светлана, чтобы прекратить спор мужчин. — В университет приходил один феномен и, говорят, взглядом двигал маятник.

— Это можно, — сказал Локтев. — Если хорошенько принять и дыхнуть...

— Да ну тебя! — засмеялась Светлана. — А вы, Геннадий Савельевич, в телекинез верите?

— Нет, Светлана Яковлевна. По-моему, все это не серьезно, — сказал Кириллов. — По крайней мере, никакого существенного значения для человечества не имеет.

Светлана закусилла нижнюю губу, как ребенок, которого лишили вдруг обещанного удовольствия.

— А что же, по-вашему, серьезно? — спросила она.

— Да много серьезного. — Кириллов задумался, теребя по привычке волосы. — Например, проблема разрыва между умственной и эмоциональной деятельно-

стью. Сегодня мы все умеем хорошо мыслить логически, а вот что касается эмоциональной стороны, то она какой была, такой и осталась. Отсюда нервные срывы и много других бед... Да что говорить, есть много важных и серьезных вещей. К сожалению, о них говорят гораздо меньше, чем о парапсихологии и прочей чепухе... Ладно, я уж и так вам надоел, не буду мешать. Покойной вам ночи!

Геннадий Савельевич поцеловал руку Светлане, кивнул Локтеву и стремительно вышел. Скоро вдалеке слышался лай собак.

— Интересный человек Кириллов, правда? — сказала Светлана.

— Да,— согласился Локтев. — Но иногда такое несет, что уши вянут... Как можно ученому делать какие-то выводы, исходя лишь из бесед с нашим завхозом?

— Ну что ты на него злишься? — перебила его с улыбкой Светлана. — Одичал тут совсем, мой миленький, среди песков.

Она прижалась к мужу и прошептала:

— Я так соскучилась по тебе.

Жара спала, и теперь Локтев работал над диссертацией днем, вернувшись из лаборатории. Светлана старалась в это время не мешать ему, что-нибудь читала, сидя тихонько в сторонке, или готовила еду. Ей обещали место в химлаборатории, но лишь через месяц, когда уйдет в декретный отпуск одна из сотрудниц, и Светлана даже рада была, как она выразилась, своему второму отпуску. Она успела за короткий срок перезнакомиться почти со всеми в заповеднике, дважды съездить с Леночкой в город и каждый день ходила на почту в ожидании писем от матери и друзей.

Как-то раз, когда Локтев вернулся из лаборатории, Светлана протянула ему конверт и сказала сухо:

— Тебе передали. Тут написано: «Адресат не проживает».

— Это я родственнице писал,— сказал Локтев, разрывая конверт на части. — Наверное, она переехала.

Светлана ничего не ответила и ушла на кухню. Но по тому, как она гремела посудой, молча и усердно работала, Локтев понял, что жена не в духе. Он вышел на кухню и спросил:

— Может быть, тебе помочь?

— Какая забота! — сказала едко Светлана. — А я решила, что ты выписал меня сюда в качестве служанки. Может быть, тут, на Востоке, так принято...

— Света, перестань!

— Я погружаюсь в быт, как в зыбучие пески. Уже чувствую, что и мысли у меня становятся, как у тарелки или у веника.

— Света, но это же все временно. Просто надо немного потерпеть.

— Все временно. На этом свете мы тоже все временно. Я прямо чувствую, как сквозь меня сочатся бесполезные минуты и часы.

— Я тебя очень прошу — успокойся. Если мы здесь начнем ссориться, ничем хорошим это не кончится.

— Ты мне еще и угрожаешь!

— Пойми, мы здесь одни. Если мы начнем изводить друг друга, то ссоры просто сожрут нас.

Локтев вышел из кухни, но работать больше не мог, мысли все время вертелись вокруг ссоры и письма...

После этого случая на Светлану стала часто находить беспричинная тоска. Она ложилась на кровать и начинала, по-детски всхлипывая, плакать. Локтев отрывался от стола, присаживался рядом с женой и принимался ее утешать. Но она лежала, отвернувшись к стене, и ничего не отвечала. Локтев снова шел к столу, пытался сосредоточиться, но из этого ничего не выходило. Им самим овладевали раздражение и тоска, и он, вскочив в досаде из-за стола, уходил в лабораторию.

Как-то Светлана разбудила его рано утром и сказала, не отрываясь глядя в угол:

— Ты знаешь, я схожу с ума. С каждым днем я это чувствую все больше и больше. Отвези меня в больницу. Сейчас же. А то будет поздно.

И она начала одеваться. Локтеву смертельно хотелось спать. Он приподнялся и забормотал, не открывая глаз:

— Хорошо, хорошо, миленькая. Сегодня после работы непременно поедем. А сейчас давай спать, а? Ведь еще совсем рано.

— Нет, — твердила она упрямо. — Мне надо сейчас. Потом будет поздно.

И вдруг громко заплакала, закрыв лицо руками. Между всхлипываниями прорывались отдельные несвязные фразы:

— Мне так тяжело, так тяжело!.. Куда я приехала?.. Никому я не нужна...

— Перестань! — зло сказал Локтев. Он окончательно проснулся и понимал, что теперь вряд ли удастся уснуть. — Тут уже плесень от твоих слез.

И тотчас пожалев о своей грубости, начал утешать внезапно притихшую жену.

Утром он поговорил с директором заповедника, и тот пристроил Светлану на полставки в библиотеку.

В ноябре пришло очередное письмо от Зинаиды Сергеевны. Она жаловалась на пустоту в доме и одиночество, особенно остро ощутимые в праздники. Письмо взбудоражило Светлану.

— Давай в мае уедем отсюда, — сказала она шутливо. — Посмотрим, как эфемеры цветут, — и в отпуск. А еще бы лучше насовсем.

— Тебе плохо здесь? — помолчав, спросил Локтев.

— Плохо, — уже серьезно сказала Светлана. — А тебе?

Локтев пожал плечами.

— Я, наверное, не создана для такой жизни. Мне тут все время кажется, что я на какой-то другой планете, где всё не так и где может произойти что угодно.

Она замолчала, и Локтев присел за стол, чтобы поработать, но никак не мог сосредоточиться и долго сидел, подчеркивая карандашом одно и то же слово.

Через неделю у них была годовщина свадьбы. Локтев накупил вина, фруктов и пригласил Кириллова. Кириллов согласился прийти, но с условием, что ночью они сходят на охоту, — так называл он фотосъемку.

— Ах как славно у вас! — говорил Геннадий Савельевич, попивая из пиалы зеленый чай. — Бывает так, что придешь в гости и чувствуешь себя, как в купе поезда со случайными попутчиками. А у вас так все хорошо, так по-домашнему. И что нынче бывает совсем уж редко, вы умеете слушать другого человека.

— Может быть, немного выпьете с нами? — сказала Светлана.

— Нет, нет, Светлана Яковлевна, спасибо.

— А почему вы не пьете? — спросила Светлана. — Ну, я имею в виду — из принципа вы не пьете или вам просто не нравится?

— Как бы вам объяснить? — сказал Кириллов и провел ладонью сверху вниз по своим волосам. — Когда я выпью, то становлюсь другим, не нравлюсь себе и по-

том долго этим терзаюсь... Но ради вас я готов сегодня пригубить немного вина.

Он действительно выпил немного и стал рассказывать о пустыне.

— Со временем здесь будут шуметь сады, ведь они и были тут несколько сотен лет назад. Надо только остановить песок и докопаться до воды. Кстати, и песок весь пойдет в дело. Это же кремний, из него можно делать бог знает что, даже кирпич сейчас начали производить... А уж если будет управляемый термояд, лучше топлива и придумать нельзя...

Локтев смотрел на непривычно веселого, жестикулирующего Кириллова, и ему вспомнилось почему-то, как тот сказал однажды: «Здесь никто не ворует друг у друга потому, что в пустыне все оставляет след». Он усмехнулся невольно, и Геннадий Савельевич, перехватив его улыбку и истолковав ее по-своему, сказал, глядя на часы:

— Да-да, пора.

И, обращаясь к Светлане, объяснил:

— Скоро уже луна выйдет. Сегодня полнолуние, грех такую ночь терять. Извините уж, но я на часок похищу вашего мужа.

Он взял свою сумку с фотоаппаратом и карманными фонариками, и они с Локтевым вышли на улицу. Локтев остановился у ловушки для насекомых — установленного на столбе сооружения, похожего на большую чернильницу-непроливайку, — включил в ней свет, и они побрели дальше.

— Славная у вас жена, — произнес размягченно Кириллов. — А я вот холостяком так и остался. А когда тебе за сорок, жениться ой как непросто!

К ним подбежал большой пес с черными пятнами на спине. Наверное, когда-то у него было имя, но почему-то оно забылось, и каждый в заповеднике звал собаку, как хотел.

— Привет, Шарик, — сказал Кириллов, и пес потрусил рядом с ними.

Они поднялись на насыпь, осторожно переступили через рельсы и направились к барханам. Собака, проводив людей до последнего саксаула, остановилась и долго глядела им вслед.

Луна еще не взошла, было совсем темно, но песок, казалось, слегка светился, обозначая контуры барханов. Локтев вытащил карманные фонарики, включил их, и

на свет тотчас стали собираться насекомые. Жуки и пауки, застигнутые светом, чаще всего в первый момент парализованно замирали. Лишь тарантул не обращал на луч фонаря никакого внимания и, похоже, был даже рад тому, что свет привлек столько насекомых.

— Каков, а? — восхищенно бормотал Кириллов, приближая к пауку объектив. — Он тут альфа, первый парень на деревне, кого ему бояться?

Они отсняли две пленки, погасили фонари, и темнота вокруг стала густо-черной. Звонящий воздух веял приятной прохладой, и только песок, как всегда, хранил еще дневное тепло.

Над горизонтом показался диск луны. Луна была красной, тусклой, и от нее почти не исходило никакого света.

— Я не люблю свою жену, — сказал вдруг Локтев.

Кириллов ничего не ответил. Он шагал впереди, и в темноте были видны лишь его светлые волосы.

— Это ужасно, и я не знаю, что мне делать, — продолжал Локтев. — Я ведь знаю, что такое любовь. Когда душа твоя кажется наполненной до краев... Это все было со мной когда-то... И вот теперь та, которую я любил, снится мне чуть не каждую ночь. Я встаю разбитый и с такой тоской, будто случилось что-то ужасное... Мне всегда казалось, да и сейчас я так считаю, что для мужчины главное — дело. Ну скажите, что бы я делал там, в заштатном провинциальном городишке, где я жил и где, наверное, и сейчас живет она? Я люблю науку, не представляю свою жизнь без нее. А какая там наука? Смешно. В общем, мне пришлось выбирать, подсознательно, конечно, я не настолько циничен, чтобы прикидывать, что лучше и выгодней. Но все-таки я сделал выбор... И в общем-то не жалею об этом. Но здесь я вдруг так остро почувствовал, что в моей жизни уже никогда не будет того, что было. Никогда. Ничего похожего... Это мучит меня, изводит, постоянно преследует, как какой-нибудь мираж. Я ничего не могу с собой поделаться...

Кириллов продолжал идти молча, время от времени включая и выключая фонарик.

— Пойдемте домой, — сказал он, наконец. — Уже поздно.

Они повернули и пошли назад. Пес, как будто и не уходивший никуда, выбежал им навстречу, лишь только они приблизились к саксаулу.

— Вы, наверное, презираете меня за откровенность? — нервно усмехнувшись, пробормотал Локтев. — Сам не знаю, что это на меня вдруг нашло... Помню, когда я служил в армии, у меня приятель был Гриша Чигирев. Как-то он отправился гулять с девушкой, — неподалеку от нас деревня стояла, — пришел с ней на речку, нарисовал на песке схему ракеты и рассказал все про устройство. Так его томила тайна... Хотя это чепуха все, это совсем другое. В общем, извините меня...

Кириллов положил руку на большую голову собаки и сказал мягко:

— Ну мы пошли. Покойной вам ночи!

Локтев постоял, провожая Кириллова взглядом, потом перебрался через насыпь и направился к дому. Выключил свет в ловушке, под которой валялось на песке множество выпавших из воронки жуков, и вокруг сразу сделалось так темно, что ему какое-то время было страшно сделать шаг в сторону. Когда глаза привыкли к темноте, Локтев вошел в дом, включил свет в коридорчике, снял обувь и тихо приоткрыл дверь в комнату.

Светлана лежала на кровати молча и неподвижно, но по ее дыханию Локтев сразу понял, что она не спит.

— Ты почему не спишь? — спросил он, раздеваясь. — Или это я разбудил?.. Да что с тобой, Света?

Она резко повернулась к нему, и даже при свете луны, попадавшем через окна, видно было, что лицо ее мокро от слез.

— Я не знаю, — проговорила она сквозь рыдания. — Мне так жутко, когда тебя нет... Я боюсь, что ты однажды уйдешь и не вернешься... И я останусь одна... совсем одна в этой пустыне.

Она взяла его руку, прижалась к ней щекой и затихла. Локтев присел на кровать, стал целовать мокрые от слез щеки и глаза жены, гладить ее сбившиеся волосы. Но Светлана вдруг отстранилась от него и опять заговорила все тем же колышущимся, полным слез голосом:

— Я не знаю... но я чувствую... я же чувствую, что ты другой... Молчи, молчи, я знаю, что ты мне сейчас скажешь... Нет, я не больная, это ты, ты болен... И я не могу больше так жить, ты слышишь?.. Ночью ты стонешь и бормочешь что-то... Лена мне говорила, что ты и в лаборатории сидишь, уставившись на рельсы, и ничего не слышишь...

Она замолчала и, схватив вдруг снова его руку, сказала совсем тихо, почти шепотом:

— Наверное, это пустыня во всем виновата... Особенно когда вот такая луна висит, мне так хочется убежать отсюда. Давай уедем, а? Ведь есть же люди, которые не могут жить у моря или в горах... И мы с тобой не можем тут...

— Ну перестань, перестань, что ты выдумываешь? — забубнил Локтев с той интонацией, с какой увещивают ребенка, которому в кустах померещился волк. — Давай баиньки! Все будет хорошо...

Светлана наконец успокоилась и, всхлипнув еще несколько раз, совсем затихла. Локтев погасил свет и лег рядом с ней. Он долго лежал, стараясь не ворочаться, чтобы не разбудить жену, и от этого им окончательно овладела бессонница.

Снаружи раздался вдруг резкий металлический скрип, оборвавшийся на высокой ноте, и следом за ним возник глухой шум, похожий на отдаленные раскаты грома. Это тормозил, подходя к станции, товарный поезд.

Локтев тихонько встал и, одевшись, вышел на воздух.

У перрона застыл длинный состав с цистернами, теплушками и открытыми пустыми платформами. Вдоль состава медленно шел человек и постукивал молотком по буксам.

Тепловоз дал гудок, и поезд, казалось, вздрогнул от этого неожиданного, резко и неприятно прозвучавшего в полной тишине звука, — от первого до последнего вагона прокатился глухой недовольный гул. Состав медленно двинулся вперед, набирая скорость, и через несколько минут перестук колес затих вдалеке.

Из темноты неслышно появилась собака и застыла, прижавшись своим теплым мохнатым боком к ноге человека. Локтев присел прямо на песок и обнял пса за лохматую шею.

Что же делать? — думал он, с тоской глядя вверх, на бесконечное скопище звезд и на диск луны, повисший над станцией. Что делать?.. Будто наркоман, он тянется к своему прошлому, которое никакими силами не повторить и не восстановить, и этот призрак, эфемер, для него живее реального, рядом с ним живущего человека, который к тому же искренне любит его... Наверное, действительно надо уезжать отсюда, пока не

поздно... Там, в Москве, все станет на свое место, наладится... Все будет, как прежде,— просто, понятно, спокойно...

Локтев почувствовал, как по его щекам проползли две горячие слезы и к сердцу прилила волна горячий, бесконечной нежности.

— Милая... Милая,— зашептал он, глядя в черную звенящую пустоту.

Где-то неподалеку хохотнула каменка-плясунья, смолкла на миг и закричала вдруг надтреснутым голосом, подражая верблюду. От этого звука собака почему-то насторожилась, освободила шею, подавшись слегка назад, и побежала не торопясь куда-то по своим собачьим делам.

Какое-то время каменки не было слышно, наверное, она перелетела в другое место. И действительно, вдалеке раздался ее пронзительный крик, перешедший в раскатистый хохот.

**ДЕНЬ
НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ**



Алла
Сельянова

рассказ

В воскресенье решили поехать по грибы. Август стоял сухой и жаркий. Лида слышала, что грибов в лесах нет, но Владик сказал, что все это ерунда и что самые грибы только в августе и бывают.

Владу было двадцать восемь лет, а Лиде всего девятнадцать, и если муж что говорил, то в первую очередь она верила ему, а не другим.

Этой поездке Лида очень обрадовалась — они впервые за все время их знакомства выезжали на природу, и не грибы ей были нужны, а просто хотелось поскорее очутиться в каком-нибудь большом и таинственном лесу, заблудиться, долго плутать, повстречаться с лесным зверем, а к вечеру выйти из леса с охапкой цветов, уставшей, но все равно радостной.

Тут ей пришло в голову, что хорошо бы взять с собой и братьев, близняшек Мишку и Борьку.

— Владь,— сказала Лида возбужденно и радостно,— и ребят моих давай с собой возьмем!

— Еще чего,— ответил Владик, чинивший ручку у корзины,— мы, может, километров двадцать пройдем, сами вымотаемся, а они-то уж точно не дойдут.

— Дойдут, они же мальчишки, по двору с утра до ночи бегают — и ничего...

— Вообще можно,— неожиданно согласился Владик,— мы тогда в Медведково зайдем, яблок наберем, покупаемся. Только ты им скажи, чтоб корзины с собой взяли. И еды на весь день.

— Ой, тогда я сейчас быстро к маме съезжу! — Лида уже прыгнула к двери, но муж ее остановил:

— Значит, так. Скажи, чтобы обязательно сапоги надели и куртки. Ножи перочинные взяли. Воды пусть возьмут бутылку. Скажи, чтоб завтра в семь, без опозданий, как штыки на своей остановке стояли. Мы на

троллейбусе будем проезжать, тогда я им крикну. А во время не придут — дома останутся и никакого леса не увидят.

Лида кивнула и поехала.

Через час она вернулась. Две корзины, готовые к отъезду, стояли в коридоре, а Владик сидел на кухне и что-то делал с большим полиэтиленовым пакетом: срезал горлышко от пузырька из-под шампуня и теперь приматывал его нитками к пакету.

— Видишь,— сказал Владик,— и никаких бутылок не нужно. Бутылка — что? Кончилась вода, она лежит и только место занимает. А так воду выпил, пакет сложил — и никаких хлопот.

— А не протечет? — спросила Лида просто так, не сомневаясь, гордая за гибкий ум мужа.

— Не протечет. Пакет новый, и пробку насмерть примотал. Зато воды литра два влезет. Не выпьем — выльем, а пакет сложил — и никаких хлопот. Я еще патент за это дело получить могу. — Владик как-то серьезно призадумался. — Надо описание сочинить и послать.

Патенты Владика мучили давно. Год назад он окончил вечерний стройфак и теперь работал мастером. Там, на стройке, он тоже целыми днями присматривался ко всяким мелочам — как бы их изменить, чтобы удобней было. Несколько его предложений уже внедрили, и у Владика в столе лежали значок и удостоверение рационализатора.

Затея с пакетом показалась Лиде такой простой и славной, что она подскочила к мужу и обхватила его сзади руками, обвила шею и поцеловала в затылок, в жесткие, пахнущие пылью волосы.

— Ну-ну,— счастливо и сдержанно проговорил Владик, выбираясь из ее объятий,— ты давай собирайся, сегодня пораньше ляжем.

Но собирались они долго, до полуночи. Нужно было все сделать заранее, чтобы утром только встать — и в путь. Лида вертелась у плиты, жарила котлеты — она решила взять еды и на братьев тоже, ей нехорошим показалось, что братья должны взять себе отдельную пищу, как чужие, и поэтому там, дома, она маме про еду ничего не сказала.

Потом она долго выбирала одежду — все, что могло быть удобным в лесу, было старым и некрасивым — спортивный костюм, оставшийся еще от школы, был ра-

стянут на коленках, кеды разношены,— а ей завтра, в такой чудесный день, хотелось быть легкой и прелестной, чтобы Владик, глядя на нее, порхающую меж деревьев и цветов, любил ее все больше и больше и думал про себя: какая же чудная, юная и ловкая жена досталась ему в жизни! И она отобрала клетчатую юбку, веселый красный джемпер, в котором ходила на работу и который жаль было таскать зазря, но в такой день можно, а к этому джемперу — замшевые ботинки на шнуровке и без каблука.

Уже лежа в постели, она опять представила себе завтрашнюю прогулку и заснула так незаметно, что видения перешли в сон, где она то находила гигантские грибы, то видела себя со стороны, мелькающую в красном джемпере за толстыми стволами елей.

А Владик сидел в это время на кухне и точил ножи, которыми, как писалось в книгах, обязательно нужно срезать грибы, чтобы не попортить грибницу.

Встали они по будильнику, ровно в шесть, и, как это обычно бывает с немного недоспавшими людьми, завтракали молча, еще не придя в себя, но когда вышли на пустую и тихую улицу — сразу очнулись от прохлады и уже слепящего солнца, захотелось идти бодро и весело и даже запеть какую-нибудь песню.

Дворничиха оглядела их с ног до головы, заметила корзины и приветливо улыбнулась.

— Али за грибами собрались? — спросила она, опершись на метлу. — Мой дед давеча под Белев ездил, ничего не привез. Сухо, говорит, весь лес сухой.

— А мы не под Белев, — сказал Владик, — мы свои места знаем.

Дворничиха кивнула уважительно и взялась за метлу, а они пошли к остановке.

В троллейбусе было пусто, лишь в другом его конце стояли двое мужчин, тоже с корзинками. Владик уселся и стал тихо рассуждать: уж не туда ли, куда и они, едут эти двое?

— Да если и туда, — сказала Лида, — лес большой, на всех хватит. Ты лучше билеты возьми, у меня мелочи нет.

— Сидишь — и сиди, — ответил Владик. — Контролеры еще сны не досмотрели. И воскресенье сегодня.

Лида никогда не ездила без билетов — не то что ругани боялась, но просто стыдно было почему-то, а тут подумала — и осталась сидеть.

Остановка, на которой должны были стоять братья, была пуста.

— Нет их,— растерянно сказала Лида,— давай выйдем.

— Сиди,— Владик даже за руку ее схватил,— проспали — и ладно.

Но Лида вырвала руку и выскочила из троллейбуса, ее чуть дверью не прихлопнуло. Шофер испуганно тут же опять открыл двери, и тогда Владик тоже вышел, с очень сердитым лицом.

— Какого черта? — сказал он. — Сейчас рейсовый на Ревякино уйдет, тогда жди два часа. И всё из-за этих гавриков.

— Они не гаврики, а мои братья,— ответила Лида и тут же смягчилась.— Владь, это их мама, наверное, задержала, ты же сам знаешь, какая она хлопотливая.

В этот момент из-за угла дома показались близнецы. Они бежали к остановке во весь дух, корзины били им по ногам, а на ногах у них были большие, хлопающие при каждом шаге сапоги — им вечно все покупалось на вырост.

— Мать возилась-возилась,— еще издали закричал Борька,— это из-за нее все!

Они остановились, отдуваясь, и Мишка спрятался за спину более смелого Борьки.

— Всё взяли? — строго спросил Владик. — А куртки где?

— Взяли, взяли,— Борька ткнул пальцем в свою корзину.

— Так наденьте.

Они послушно достали куртки, тоже большие, словно с чужого плеча, и надели их, хотя, в общем-то, надевать их было незачем — утренний ветерок стал стихать, а солнце припекало все сильнее.

На троллейбусе доехали до окраины города, а там нужно было сделать пересадку на загородный автобус.

Но автобуса не было — он, видно, уже прошел, и Владик вышел на дорогу — голосовать. Братья, как мужчины, тоже вышли и вытянули руки. Так они стояли довольно долго, машин не было, а те, что проносились мимо, были с людьми и с нагруженными верхами — на них стояли столичные номера, потому что это шоссе связывало Москву с югом.

В конце концов удалось остановить «коробочку», где сидели рабочие. Рабочие потеснились, и Владик с Ли-

дой уселись на сиденье, а братья — на какой-то длинный зеленый ящик.

— Вы куда, братцы? — спросил Владик у рабочих дружелюбно, но немного снисходительно, как он разговаривал у себя на стройке.

— К Богучарову, дорогу ремонтировать, — ответил рабочий, что сидел ближе к ним.

Остальные только оглянулись и тут же отвернулись равнодушно. Все они были немолодые и почему-то хмурые.

— Вот видишь, — сказал Владик, обращаясь не столько к Лиде, сколько к братьям, — не туда едем. Теперь еще надо на повороте сойти и лесом крюк дать, чтобы к Медведкову выйти. Возились бы побольше.

Мишка угнул голову, а Борька огрызнулся:

— Говорим же, мать возилась, а не мы!

Владик махнул рукой и стал искать взглядом, у кого бы вызнать про грибы, но и тот рабочий, что сидел рядом, тоже отвернулся к окну и так о чем-то сосредоточенно думал, что Владик не решился его тревожить. Мишка дремал, прислонившись спиной к брату, а Борька исподтишка, но пристально рассматривал Владиковы «кроссовки», легкие, красные и с надписью на заднике.

«Коробочку» подбрасывало, ехали уже не по широкому шоссе, а по разбитой проселочной дороге, но Лида дремала, не замечая толчков, и голова ее лежала на мужнином плече.

Когда доехали до нужного поворота, Владик командовал, и все они со своими корзинками попрыгали на землю. Шофер не трогал с места, дверь была открыта, а Владик стоял внизу и отряхивал свои джинсы. Шофер глядел на него выжидающе, но Владик счистил последнюю, невидимую соринку и сказал, весело глядя шоферу в глаза:

— Ну, брат, спасибо. С богом! — и захлопнул дверь.

Шофер сказал что-то сквозь зубы и сразу дал газ — автобус помчался, прыгая на колдобинах, как разъяренный зверь.

Лида молчала, братья ковырялись в своих корзинах, а Владик засмеялся почему-то и сказал бодро:

— В путь!

— Что ж ты ему даже рубля не дал? — спросила Лида укоризненно. — Сколько ехали.

— Это не общественный транспорт. Все равно по пути вез. Нечего в русском народе холопов разво-

дять. — Владик попрыгал, как бы разминаясь, и взялся за корзину. — А то привыкли.

И пошел по дороге. Братья тоже потопали за ним, раздумывая вслух, снимать им куртки или еще погодить, ведь в лесу роса, а Лида пошла позади, чувствуя в душе стыд за случай с шофером, — мысль Владика о холопах ей понравилась, но все же как-то не по-человечески получилось, рубля пожалели.

Но тут они начали продирааться сквозь плотный колючий кустарник, за которым был лес, высокоствольный и старый, с папоротником и кустиками костяники под ногами, и Лида забыла про шофера. Она вдруг почувствовала себя совсем девочкой, стала прыгать и перебегать от дерева к дереву, касаясь стволов, а братья смотрели на нее влюбленно и радостно.

— Ножи доставайте, — сказал Владик, тоже смеясь от какой-то внутренней радости и возбуждения, — раз папоротник, белые будут. И на пнях смотрите, там опять растут. Такие кучи бывают — на целую корзину хватит. И шеренгой надо встать — что мы, как бараны, стадом идем.

Разошлись. Лида пошла метрах в десяти от Владика, слева от нее Борька, а совсем далеко, так что почти и не видно было, плелся Мишка. Мишка был ленив и задумчив от природы, корзина казалась ему тяжелой и громоздкой, он перекладывал ее из руки в руку и глядел не в землю, а по сторонам, изучая какие-то наросты на стволах, дупла и муравьиные кучи.

Так они шли долго, лишь изредка переговариваясь, и сначала Лидой овладел даже какой-то азарт — ей казалось, что именно она найдет первый белый. Она приписывала себе какое-то особое единение с природой, за которое лес должен был ее вознаградить, но белых не было, только Борька нашел на пне кучу поганок и созвал всех, думая, что это опять.

Скоро азарт ушел, побрели не так весело и без напряженного ожидания. Владик закурил на ходу, и дым от его сигареты доносил до Лиды.

— Хоть бы в лесу не курил! — крикнула она. — Воздух-то какой!

— Лес бесплодный, — ответил ей Владик, — одни осины. Вот на дубы с березами выйдем, там и грибы пойдут.

— А когда выйдем-то? — спросил Борька. — Идем-идем, а все ничего. Давно заблудились, наверное.

— Ты не ной,— остановил его Владик,— я эти места как свои пять пальцев знаю. Я здесь таким шкетом, как ты, все облазил.

— Что ж ты, каждое дерево помнишь, что ли? Хоть бы компас у нас был.

— Со мной не пропадешь. Я по солнцу ориентируюсь: вошли в лес— оно было справа, вот и надо так все время идти, тогда придем куда нужно.

— А куда нужно? — допытывался Борька.

— В Медведково. У меня там бабка отцовская жила. Там пруд есть, искупаемся. К знакомым зайдем.

Борька, услышав про пруд, оживился, поднял хвостину и стал на ходу сшибать листья с кустов.

Ботинки у Лиды промокли от росы, и она уже жалела, что не оделась по-настоящему, по-лесному. А Владик шел себе покуривая и ни разу почти в ее сторону не взглянул.

Лида, как и Борька, тоже обрадовалась напоминанию о деревне и купании в пруду, потому что лес, однообразный и какой-то нерадостный, начал ее утомлять. Ровные, желто-серые стволы осин мешались изредка с одинокими березками, встречались поляны, окаймленные кустами, но, сколько ни шарили в этих кустах, ничего так и не находили.

Потом начались глубокие овраги с ручьями по дну, и их приходилось переходить по поваленным деревьям, балансируя на ходу. Мишка, самый осторожный и шедший позади всех, все равно два раза свалился, измок и изгваздался в желтой жиже. Потом стали попадаться старые, скругленные временем окопы и воронки, и ребята сначала взялись прыгать в них в надежде найти хоть какой-нибудь след от давних боев, но Владик им запретил.

— Подорветесь — будете знать,— сказал он,— у нас один пацан подорвался.

— Не подорвемся,— возразил Борька,— а подорвемся, то уж ничего знать не будем.

Но прыгать они больше не стали.

— Лидка-а! — раздался Борькин голос уже откуда-то издали. — Чего я нашел!

Все побежали к Борьке. На трухлявом, лежащем на земле стволе было что-то, похожее на ростки, нежные и белые как снег. Они сидели тесной кучкой, и каждый росток был словно обсыпан инеем. Казалось, к ним при-

тронуться нельзя без того, чтобы они не растаяли. Борька смело оторвал их от ствола и понюхал.

— Лишайник,— сказал Владик.

— Нет, не лишайник, а гриб это такой,— поправил его Мишка,— «оленьи рожки». Их есть можно, только отварить подольше.

— Вот и ешь,— Владик засмеялся,— отдай ему, пусть дома сварит.

Борька отдал, и Мишка, взяв «оленьи рожки» в руки, долго и внимательно их рассматривал, а потом осторожно положил на дно своей корзинки. Лида знала, что Мишка читает много всяких книг и все основательно запоминает, но поверила все-таки Владiku.

— Возьми,— сказала она в утешение Мишке,— его дома поставишь в вазочку, как цветок будет.

Мишка посмотрел на нее и ничего не ответил.

Казалось, шли уже бесконечно долго — солнце оставалось справа, но толку от этого не было, потому что лес тянулся и тянулся, становился все глуше, темнее и гуще, и сквозь сушняк, окутанный паутиной, местами было не продрасться.

— Владь, мы не заблудились? — спросила Лида.

— Да нет,— ответил он, но по его тону Лида догадалась, что они и правда зашли куда-то не туда. — Скоро поляны начнутся.

Шли еще минут тридцать, полян не было, зато вдруг наткнулись на огромный, высокий глиняный горб. Он словно вырос вдруг посреди леса, голый, только чуть поросший низенькой травой и розоватым мелким клевером, и целиком состоял из темно-оранжевой, поверху в трещинах, глины. Все удивились и полезли на горб, потому что обходить его было довольно накладно. Сухая глина осыпалась под ногами, но в конце концов, цепляясь за траву, они все-таки залезли на самый гребень.

По ту сторону горба лежало то ли болотце, то ли озерко с чистой спокойной водой, окруженное камышом с бархатными коричневыми початками. Освещенное солнцем, в безмолвной тишине полудня озерко казалось чем-то нереальным, словно из сказки.

Все замерли, очарованные этим странным и неожиданным зрелищем. Лениво летали тонкие голубые стрекозы, едва касаясь острых листьев камыша, и Лида почувствовала какой-то трепет внутри, словно они сейчас совершали кощунство, глядя на эту тайную, вдруг открывшуюся им жизнь.

Может быть, и другие испытали то же, каждый на свой лад, стоя на этом гребне, потому что молчание длилось с минуту, но тут Борька, оттолкнувшись обеими ногами, прыгнул прямо к озерку и, радуясь высоте своих сапог, полез в воду за ближним початком.

— Борька, не рви! — крикнула Лида, сжавшись от его нахальства. — Все равно бросишь!

Но Борька так и не смог дотянуться — там, где рос коричневый початок, воды было уже выше сапог.

Они присели на берегу, глядя на порхающих стрекоз, и Лиде так хотелось, чтобы все немного помолчали, — она никак не могла отойти от первого ощущения, но Владик с Борькой поднялись и пошли вокруг озера, стараясь понять, есть ли в нем рыба.

— Должна быть, — уверенно сказал Владик, — на глубине.

— А кто ее сюда занес-то? — Борьку заинтересовало, как это посреди леса могла оказаться рыба.

— Икринки попали по подземным протокам, — пояснил Владик, — озеро-то не само по себе появилось.

— Но чего-то не плещется, — Борька поднял кусок глины и шарахнул им по глади воды, — если б была, плескалась.

— Спит, а к вечеру, может, и заплещет.

Владик ни одного вопроса без ответа не оставлял.

— Владь, а почему здесь этот бугор? Откуда? — спросил неугомонный Борька.

Владик лишь на секунду замешкался, окинул взглядом горб.

— Дорогу начали строить и бросили, — объяснил он, причислив явление горба к строительству как к самой близкой себе отрасли.

И Лида вдруг рассмеялась, так что все на нее удивленно посмотрели. Лида знала, что знает очень мало, и когда она спрашивала Владика про непонятное — например, «конгруэнтный» или «метафизический», — он мог отвечать ей что угодно, но теперь-то ей показалось совершенно ясным, что никакая это не дорога — кто ж так дорогу начинает, с середины леса? И как сюда столько машин могло проехать? И почему, насыпав такую кучу глины, взяли да и бросили, будто очнулись от собственной глупости?

Но тут же она подумала, что все-таки Владик — строитель, а кто знает, как делают дороги, так что может быть — и дорога.

Не найдя признаков рыбы, уселись в кружок и съели по помидору с хлебом, а потом, оставив на берегу обрывки газет и Владиков окурков, опять вошли в лес.

Лида шла и думала, что конца-края их дороге уже не будет. Ботинки вдруг начали почему-то жать, но она боялась спросить у Владика, когда все это кончится. Они шли, давно позабыв, с какой стороны у них солнце и с какого края они вошли в этот лес.

Про грибы уже давно тоже забыли — лишь изредка, когда кто-нибудь находил сыроежку или свиных, вспоминали о цели своего похода, но тут же и отвлекались, а все найденное складывали в корзинку к Владиду.

Тот скучный и одинаковый лес, по которому они шли с утра, кончился неожиданно. Вдруг где-то впереди обозначился просвет, деревья стали редеть — и открылось громадное поле, кое-где поросшее островами кустов над небольшими оврагами. Поле уходило вниз по гигантскому косогору, и с опушки леса видно было далеко, до самого горизонта. Видны были заплаты созревшей пшеницы, белая дорога, вьющаяся, как река, темные полосы лесов, и где-то справа на этой панораме виднелись еле различимые среди садов крыши деревеньки и купол церкви, одиноко возвышающийся под огромным голубым небом.

Борька, заметив деревню, сбросил куртку и, прыгая на одной ноге, завопил:

— При-шли, при-шли, при-шли!

До деревеньки, на глаз, было километров пять.

Владик растерянно оглядывался, не узнавая мест, потом заметил усталое, потное лицо жены и предложил устроить привал.

Лида со вздохом облегчения тут же села, расшнуровала ботинки и стала растирать опухшие ноги.

Потом расстелили газеты, кусок клеенки, предусмотрительно захваченной Владиком, и разложили припасы. Владик с братьями накинулись на котлеты, и Лида, видя их мужскую жадность на еду, сама старалась есть поменьше, отговариваясь тем, что от усталости и аппетит пропал.

— Дай попить, — попросила она.

Владик полез в корзинку и крикнул от огорчения: воды в пакете было меньше половины — все-таки чем-то прокололся, а та, что осталась, была теплой и пахла полиэтиленом.

— Вот собака, — сказал Владик расстроено.

Мишка достал из своей корзины солдатскую флягу — такие им с Борькой принес отец, когда еще не уходил из армии в запас. Во фляге был кисленький смородиновый морс.

— Значит, надо два пакета брать,— сказал Владик,— один в другой. Так надежней будет.

Доев котлету, он улегся на траву и, глядя в листву дуба, склонившегося над их столом, задумался о своем.

— Мишка, глянь, молотилка, наверное! — Борька сорвался, кусая на ходу яблоко, и побежал к краю пшеничного поля. Мишка заинтересованно глянул вперед — и побежал за братом.

Когда они уже были довольно далеко, Лида тоже прилегла и положила свою руку на Владикову.

— Хорошо-то как! — сказала она тихо, глядя его палец с обручальным кольцом. — А то всё сидим и сидим дома...

Земля, на которой она лежала, была теплой. Лида всем телом чувствовала, как эта земля живет под ней, дышит и переливает свои внутренние соки, распределяя их поровну между всем, что породила, — каждой мелкой травинкой, и «кукушкиной слезкой», тихо и печально покачивающейся на ветру, и этим громадным дубом, изъеденным гусеницами. Тонкий паучок, наращивая свою нитку, медленно спускался с высокой ветки, то словно задумываясь о чем-то, то вдруг начиная поспешно работать.

— Вот говорят,— сказала Лида, не сводя глаз с паучка,— что на земле есть такие места, где полежишь — и силы прибавится. А на другом полежишь — и заболеешь.

— Кто говорит? — сонно спросил Владик.

— Девчонка одна на работе. Ей бабушка говорила.

— Брехня все это,— Владик оперся на локоть и вынул свою руку из Лидиной, — это вы от безделья трепетесь. Земля везде одинаковая. Холодная — и есть холодная, сел — и замерз. Вот ты — чего легла, простудишься, потом будешь по врачам бегать.

— Ребята далеко? — спросила Лида.

— Да вон колесо какое-то крутят. Сейчас из деревни кто-нибудь пойдет, скажет им пару слов.

— Поцелуй меня,— попросила Лида.

Она еще вчера думала о том, как они будут целоваться в лесу, под шелестящими на ветру деревьями. Этот поцелуй под деревьями казался ей романтическим,

красивым и сладким, будто бы они впервые встретились и впервые коснулись друг друга.

Владик нагнулся и коротко, как капризного ребенка, поцеловал ее в висок.

— Эх, елки,— сказал он, беря в рот соломинку,— завтра опять на работу. Соротокин из треста приедет, втык даст.

Лида подняла голову и посмотрела, чем занимаются братья. Их дикие крики разносились далеко — Борька стоял на самой вершине прошлогоднего стога и сталкивал ногой Мишку, который тоже хотел залезть наверх. Мишка падал и опять лез, цепляясь за солому и выдергивая пучки.

— Ну дадут им, как пить дать,— сказал Владик, тоже наблюдая за этой возней.

— Да солома старая, все равно сгнила.

— Но порядок быть должен.

И Лиде вдруг таким странным показалось — какой здесь должен быть порядок? Здесь все так просторно и свободно — и петляющая дорога, и маленькие птицы в небе, которые, играя, взмывали ввысь и опускались до земли, и прыгающие братья, — все это так хорошо сливалось со всем миром, что у нее даже не могло возникнуть мысли о порядке или беспорядке.

Она легла и прикрыла глаза.

— Я тебе во вторник пару чертежей притащу, — сказал Владик. — Один малый просил, по десятке заплатит. На работе начертишь, все равно делать нечего.

Лида хотела ответить, что как раз сейчас у нее много работы, всю неделю сидела не разгибаясь, но промолчала.

— Спишь? — спросил Владик. — Спи.

И закурил. Лида еще некоторое время слушала, как он с присвистом выпускает дым, как по-прежнему громко кричат в стороне братья и стрекочут невидимые кузнечики, а потом и в самом деле заснула.

Проснулась она от голосов, но ее так разморило, что и пошевелиться не было сил, и так, лежа с открытыми глазами, она слушала, как беседует Владик с братьями.

— Комбайнеры здорово получают, — говорил Борька, видно набредший на эту тему посредством поля и агрегата, который они с Мишкой обследовали.

— Здорово-то здорово, а вкалывают они как? — сказал Владик, сидевший между братьями, как учитель. —

В грязи да в мазуте. Денежки, милый мой, заработать надо, их просто так не дают.

— И в деревне жить, — вставил Мишка, — скучно небось.

— И в деревне скучно жить, — похвально кивнул Владик.

— А ты сколько получаешь? — спросил Борька.

— Все мои. Так ведь и мне не очень сладко. Поторчи-ка на улице, покричи с мое — осипнешь.

— Эх, вот бы работу найти, чтоб денег побольше, а работать не надо, — размечтался Борька. — Надо такую работу, чтоб блат иметь. Вон у Сашки отец на овощной базе директор. Сашка говорит, он — огурчиков зимой, а они ему чего хочешь.

— Да, гаврики, и вам пора свое место под солнцем скоро искать. До восьмого-то три годочка осталось.

— Я на поезд машинистом пойду, — сказал Борька. — Они получают во сколько, — он резанул ребром ладони по горлу, — а зато здорово — едешь себе, только кнопки нажимаешь.

— Дурак ты еще, как я погляжу, — насмешливо сказал Владик, — дитя ты неразумное.

— А я в Исторический институт буду поступать, — вставил Мишка.

— И будешь, как крыса, всю жизнь бумаги грызть, — сказал Владик. — Книжку напишешь, а Сашка с ней в туалет сходит.

Борька расхохотался — он представил, как Мишка грызет бумаги, и про Сашку тоже.

— Владь, ну зачем ты! — не выдержала Лида. — Что ты им все про деньги да про деньги. Любит человек историю — пусть занимается. Уж будто деньги — всё.

— Не всё, но можно сказать, что почти всё, — ответил Владик и даже кивнул головой для убедительности. — Приносил бы я домой рублей семьдесят вместо двухсот, уж ты бы, наверное, себе босоножки за пятьдесят не купила.

— Господи, да как тебе не стыдно! — воскликнула Лида и села. Упоминание про босоножки почему-то ее сильно оскорбило.

Ребята настороженно слушали.

Владик словно что-то почувствовал в Лиде — в ней будто что-то повернулось, какое-то странное чувство неприязни к нему испытала она в этот момент.

— Конечно, не в деньгах счастье, — сказал Владик,

как бы подытоживая разговор, и встал, потянувшись. — Посидели — пошли дальше.

Лида, все еще взволнованная, стала натягивать ботинки, но так и не смогла их надеть — ступни болели, к ним и притронуться было нельзя.

— Тоже мне, пошла в поход, — сказал Владик сочувственно.

Лида бросила ботинки в корзину и пошла босиком. Ноги утопали в дорожной пыли, мягкой и глубокой, и не так болели.

— Владь, у тебя «красовочки» здоровские, — завистливо сказал Борька, переключаясь на тему обуви. — Вот бы нам такие. Дорогие небось.

Он так и говорил — «красовочки», как о чем-то красивом и красивом.

— Ну ты кончай, — остановил его Владик, — ты давай поменьше о барахле думай. О другом надо думать.

— О чем другом-то?

— О другом, — ответил Владик, так и не подобрав слова.

— Тебе хорошо говорить, а нам мать купила эти сапоги, сороковой размер, а я, может, в жизни только до тридцать девятого дорасту.

Лида стала отставать от них — сначала из-за боли, потому что идти все-таки было трудно, но потом забылась — шла, глядя на купол, призывно торчащий впереди, и вдруг захотела стать странницей, какие раньше ходили по дорогам, с котомкой за плечами, с посошком. Шли от деревни к деревне, ночевали, где ночь застанет. Эта жизнь показалась Лиде чистой и безмятежной — вот так хотя бы одно лето побродить, идти, ни о чем не печалась и не тревожась, оставляя за спиной леса и поля.

А Владик? Она вспомнила, что весь прошлый отпуск он провел на родительской даче, поливая помидоры и окучивая картошку. «Летом поработаешь — зимой поешь», — говорил он, и в его пристрастии к даче Лида тогда видела только нечеловеческое трудолюбие и любовь к природе.

Еще не дошли до видневшейся уже совсем недалеко деревни, как повстречали стадо. Коровы, то ли обьевшие, то ли одуревшие от жары и оводов, лениво растянулись по дороге, глядя на людей со своим коровьим любопытством, за которым сквозило глубокое равнодушие.

Мишка тут же спрятался за Лидину спину, а Борька, желая показать себя взрослым и храбрым, подошел к линялой бурой корове и вздыбил ногой пыль перед самой ее мордой. Корова дернула головой и удивленно мыкнула.

— Ну, встали, — сказал Владик и, подражая как бы голосу пастуха, крикнул зычно и грозно: — Па-ашла, так тебя растак!

Огибая стадо, ехал на низком веселом коньке и сам пастух — длинный, с морщинистым и коричневым, как подгоревший батон, лицом. Он ехал, время от времени покрикивая на коров, и коротко и хлестко, умелым, заученным жестом производил кнутом один и тот же звук. Ехал он к незнакомцам, но когда приблизился, на его лице можно было разглядеть выражение любопытства и равнодушия, какое было у коров, и на всем его облике лежала печать сосредоточенности на не ведомой в этом мире никому, кроме него, тайне.

— Дедуль, — ласково обратился к нему Владик, — скажи, как к Медведково пройти?

Пастух повертелся на своем коньке вправо и влево, щелкнул пару раз кнутом и спросил:

— Чево говоришь?

Владик повторил.

— Да вон Желдыбино, — пастух ткнул кнутом в деревеньку, — а Медведково за лесом. Вы откуда идете-та?

Владик уже и сообразить не мог, откуда они идут, показал куда-то за спину:

— От Богучарова.

— Эх махнули, — пастух покачал головой и опять занялся коровами, уже совершенно забыв про прохожих. Он двинулся вперед, словно показывая дорогу, и коровы дружно потянулись за ним.

— Во бы пастухом поработать, — с завистью глядя ему вслед, сказал Борька.

Пастух сказал о Медведкове так, словно до него было рукой подать, но они опять шли по лесу трудно и долго, так что ощущение радости и новизны дня окончательно в Лиде прошло.

Идти по лесу, по подсохшей, в кореньях и кочках, земле, было трудно. Лида тихо охала и несколько раз собиралась заплакать. Владик шел впереди, еще не теряя надежду что-то найти, и только один раз на нее оглянулся. А ей так хотелось, чтобы он подошел, сказал ласковое слово или хотя бы коснулся коротким любя-

щим жестом, но он не подходил, и чем дальше они шли, тем больше Лида чувствовала себя обиженной.

За лесом открылось небольшое, перепаханное и уже успевшее подсохнуть поле, на другом конце которого виднелись крайние избы Медведкова. По полю ползал маленький трактор, тянувший за собой шлейф бурой пыли. Стали огибать поле, и когда дошли до оврага, у которого оно кончалось, трактор подполз и остановился. Кто-то спрыгнул на землю с задка трактора, пыль осела немного, и они увидели женщину, запыленную с ног до головы, так что трудно было узнать, если бы не юбка, кто это. Лида остановилась, пораженная этим зрелищем, а Владик кивнул женщине, как старой знакомой, и спросил:

— Не рано ли?

— Чего рано-то? — сказала женщина, и у нее оказался звонкий молодой голос.

— Пашете, — пояснил Владик.

— Да не рано. — Женщина отмахнулась от него таким жестом, будто заодно отмахивалась и от всего мира, и полезла к водителю в кабину.

— Ну что ты спрашиваешь, — раздраженно сказала Лида, — а то они без тебя не знают. От скуки выехали.

— Потому что рано, — упрямо повторил Владик. — Я-то больше твоего понимаю.

Потом уловил раздражение в ее голосе и взял у нее из рук корзину:

— Ты держись, вон крыша голубая с краю — к Татьяне зайдем, молока попьем.

— А купаться? — в один голос спросили братья.

— Кому что, а вшивому — баня. Купайтесь, если охота.

Оставалось только пройти поляну перед домом с голубой крышей, и Лида уже напрягла последние силы, но наступила на пчелу, взвизгнула и села на траву.

— О-ой, — протяжно сказала она и заплакала, как ребенок, с короткими всхлипами, — все, что копилось в ней весь день, наконец-то нашло выход.

— Лидок, что с тобой? — испугался Владик и присел рядом.

— Пчела, — едва выговорила она.

Братья стояли над ней и сочувственно, открыв рты, глядели.

— Ну как маленькая. Ребята смотрят, скажут: старшая сестра, а от пчелы ревет.

Он и говорил как с маленькой, сюсюкая, и Лиду это еще больше раздражило, но тут Владик подхватил ее под руки и почти понес к дому, а ребята, углядев неподалеку пруд, тут же бросились туда.

На крыльце дома стояла женщина лет сорока пяти, в полинявшем желтом платье и в красном платке, повязанном поверх бровей. Она стояла и смотрела из-под руки на эту чудную, явно городскую пару, но потом вскрикнула, узнав:

— Владька, ты, что ли?!

— Я, Тань, я. — Он засмеялся, подхватил Лиду на руки и внес ее на крыльцо. — А это моя половина. Лидой звать.

— Чего с тобой, милая? — Татьяна нагнулась и взглянула Лиде в лицо. — Ай плакала?

— Да ничего, — Лида попыталась улыбнуться, — пчела.

— И-и, бывают беды и похлеще. Вы заходите в дом-то, как раз молочка из погреба принесу.

Они вошли и сели на табуреты у окна. Видно, это была кухня — четверть ее занимала желтая, давно не беленная печь, в углу стоял ящик с керосинкой на нем, рядом — кошачье блюдо с едой, над которым кружились мухи. И мухи, и грязная тряпка на столе, и мусор на обшарпанном полу — все отдавало каким-то запустением и неуютом.

Татьяна вернулась с трехлитровой банкой молока, вытасила откуда-то тарелку с медом и половину сухого батона.

— Ну вот, — сказала она и, выдвинув табурет на середину комнаты, села. — Ешьте, голодные, никак.

Тут Лида разглядела, что выглядит она странно, — словно все хотела улыбнуться, но у нее это и через силу не получалось, и глаза у нее были тревожные, будто что-то очень сильно мучило ее изнутри. Она сидела, сложив руки на коленях, и все меняла их, прикрывая одну другой.

— Ну как живете? — спросил Владик, принимаясь за мед. — Дед-то жив?

— Дед жив, — равнодушно ответила та, — вон поел да спать завалился.

И опять затревожились ее глаза.

— Работаешь?

— Работаю, — отвечала она, словно выходила из забытья, оживлялась, но это оживление все равно выгля-

дело поддельным, — на ферме телят взяла, да дома один стоит. Хлопот столько с этими телятами...

Она поправила платок, съезжавший на глаза.

— Ить им все стойла дезинфицировать надо да бидоны с-под молока ошпаривать. Вот все руки в трещинах стали, — она вытянула вперед руку, заскорузлую, с широкими грязными ногтями, — и ногу кипятком сварила, три недели на перевязку в Желдыбино ходила.

Лида смотрела на ее руки, и вдруг внутри защемило, захотелось взять их в свои и погреть немного, понежить — такие натруженные, забытые были руки.

В чулане что-то загремело. Татьяна сорвалась с табуретки и бросилась туда.

— Ешь меда побольше, — сказал Владик, — когда еще придется?

— Она родственница твоя?

— Да нет, она к бабке моей часто заходила, а теперь я заезжаю по старой памяти.

Татьяна вернулась и опять села точно так же, как сидела до этого.

— Кошка пришла, — пояснила она свой уход, — жрать хочет, а дикая — страсть, при чужих не выйдет, так я ей там налила.

Она напоминала какую-то живую машину. Дед, который где-то спал, кошка и телята, которых она обязана была кормить, — все это был ее внешний долг, не тяготивший ее, но что-то, мучившее ее, не давало ей жить легко и просто.

— А Люська твоя как поживает? — спросил Владик, соблюдая ритуальный порядок вопросов.

— Да что Люська, — она вздохнула, — живет себе с мужем. Телеграфисткой устроилась. Ребеночка ждут.

Она и о дочери говорила так же равнодушно, как о спящем деде, и было видно, что ни дочь, ни будущий внук ее по большому счету не волнуют, — свершался обычный оборот жизни, и хоть дело и касалось ее дочери, все равно не могло вывести ее из странного, заторможенного состояния.

— Ну а Колька как, все на комбайне? Сейчас-то на работе, что ли?

— В тюрьме Колька, — тихо сказала она, — год уж.

— Да брось ты! — изумился Владик. — Чего так?

— Да из-за деда нашего. Дед рыбу ловил на желдыбинских прудах, а тамошние двое трактористов, пьяные, понятно, рыбу у него отняли и еще покрыли его на

чем свет стоит. Дед пришел, плачет — он же как ребенок стал у нас. Ну, Колька тогда промолчал, а потом на майские, второго числа было дело, выпил здесь с нами, Люська с мужем гостили, — и пропал вдруг. А он в Желдыбино пошел. Там нашел этих да драться давай, одного в драке и пырнул ножом. За нож ему и дали четыре года. Трезвый-то он тихий у меня был...

Нервным тиком задрожала у нее щека, и она привычно взялась за нее грубой, потрескавшейся рукой.

— Ну и дела, — сказал Владик, — где он сидит-то?

— У вас сидит, в городе. Сказали, перевозить никуда не будут. Работает хорошо, примерный. Сказали, сбавят ему, если так и дальше пойдет. Я видела его всего один разок-то. Господи! — И она заплакала горько, видно припомнив эту встречу.

— Да ладно, Тань. — Владик сочувственно коснулся ее плеча, но она, начав плакать, уже не могла остановиться. Вся ее начальная окаменелость прошла, она сидела сгорбленная, жалкая, живая.

И стало ясно, как плохо, больно и трудно было Татьяне без мужа, который был-был рядом двадцать лет подряд, и вдруг, оторванный от нее какой-то невидимой бездушной силой, которую ни смягчить, ни разжалобить, оказался далеко — тихий, молчаливый и примерно выполняющий там какую-то работу. И как не хватало теперь Татьяне его крепких мужских рук, которые нужны именно здесь, — их ждал покинутый комбайн, и покосившийся забор, и такое измученное работой, но еще крепкое и нестарое Татьянино тело.

— Да ладно, обойдется, — успокаивал Владик, — может, сбавят. Год прошел, а там немного останется.

— Видела-то всего разок. А теперь, сказали, в январе можно. Только и жду, скорей бы дожить.

— Малый у меня там один знакомый работает, — вдруг сказал Владик.

— Где? — Татьяна настороженно подняла голову.

— В управлении. Я его найду и поговорю. Особого ничего не обещаю, а насчет встречи можно. Колька-то мужик хороший.

— Хороший, — подхватила Татьяна, на щеках ее проступил румянец, а глаза засветились теплом и радостью. — Владь, милый, поговори...

Она коснулась его руки.

— Я ж не знаю, что для тебя сделаю... Я вам сейчас медку дам. А яблоч-то! У меня целый сад осыпается!

Она заметалась по комнате, потом нырнула в чулан, тут же выбежала, и все движения ее были настоящие, живые.

Насыпала корзину яблок, а поверху положила пакет желтого, в восковых сотах, меда.

— Всё берите, всё. — Она улыбалась, стащила с головы свой красный платок, и под ним оказались черные густые, еще совсем молодые волосы, лишь чуть подбеленные у висков.

Владик с Татьяной стали обговаривать, как им лучше держать связь, а Лида смотрела на мужа с любовью и гордостью — как хорошо, что у него так много всяких знакомых! Мало ли что человеку понадобится — кто мог знать, что Татьянин муж попадет в тюрьму, а вот и пригодились Владиковы знакомства. И все ее сегодняшнее недовольство казалось ей теперь мелочным и эгоистичным.

— Ну и ладно, — Владик поднялся и взялся за корзину, — пора нам трогаться, а то еще два километра до шоссе топать.

Лида тоже встала, забыв про ноги, и ойкнула.

— Девонька моя милая, — Татьяна взяла ее под локоть, — и как же ты дойдешь? Оставайся у меня, а завтра и поедешь спокойно.

— Мне на работу. — Лида улыбнулась и пожала ей руку.

— Погодите! — Татьяна всплеснула руками, что-то вспомнив. — Побегу к Козенковым, из города к ним сегодня «козел» приехал. Если не уехал еще, так он и вас доведет.

Она накинула платок и как была, босиком, побежала к Козенковым.

На крыше погреба, поросшей травой, сидели Борька и Мишка, окруженные деревенскими мальчишками. Мишка свесил ноги над дверью погреба, а Борька что-то оживленно рассказывал. Деревенские слушали внимательно и с любопытством, часто смеясь.

— А тот как подпрыгнул и прямо в воду упал, — Борька рассказывал новую кинокомедию и упал, избражая все в лицах. Мальчишки захохотали.

— Борька, закругляйся! — крикнул Владик. — Отчаливаем!

— Я тебя люблю, — негромко сказала Лида и ткнула головой в грудь мужа.

К ним уже бежала Татьяна.

— Успела! — кричала она на бегу. — Уж отъезжать соби́рался! Пошли быстрей!

У козенковского дома стоял зеленый «козел», окруженный толпой, и они поспешили.

— Лид, давай я тебе свои сапоги дам, — предложил Мишка, заметив гримасу сестры, — в сапогах-то лучше.

В сапогах действительно оказалось не так больно.

— А ты мои ботинки надень.

— Не буду я в девчачьих ходить, — отказался Мишка и пошел босиком.

— Ну вот, — сказала Татьяна, когда они подошли к «козлу» и со всеми поздоровались, — давайте, хорошие мои.

Она поцеловала Лиду в щеку, ребят потрепала по макушкам, а Владiku пожала руку крепко и благодарно.

— Я теперь твоей открытки ждать буду, — сказала она ему, — каждый день на почту буду бегать.

Расселись — Владик впереди, с шофером, а Лида с братьями сзади. Тронулись. Лида оглянулась, когда выезжали за околицу, — Татьяна одна еще стояла на пригорке, сложив на груди руки.

«Какая она хорошая, — подумала Лида, вытянув вперед ноги, — какая простая и добрая, как она любит своего мужа! И я люблю своего мужа, и вообще все люди — хорошие, во всех можно найти хорошее».

Владик разговорился с шофером о машинах, о каких-то свечах, и у них потянулся обычный мужской разговор, который всегда неинтересен для женщин из-за его житейской непригодности.

Ребята грызли сочные яблоки и, гордые и довольные тем, что возвращаются домой на машине, вертелись, глядели в окна, но, когда выехали на шоссе, примолкли, осоловев от усталости и монотонного шума мотора. Они задремали, склонившись друг к другу головами. Борькина пустая корзинка валялась в ногах, а Мишка обнимал свою, держа ее на коленях, и там на дне лежали, покачиваясь, изящные и нежные «оленьи рожки». Лица у мальчишек были безмятежные и чистые, как у совсем маленьких.

Лида закрыла глаза, думая о ванне и мягкой постели, где так чудесно будет вытянуться после усталости и этой дурацкой боли в ногах.

Растолкал их Владик. Машина уже стояла в городе, на той самой остановке, где утром они ждали ребят.

Спросонья, еще плохо понимая, в чем дело, мальчишки со своими корзинками выскочили на тротуар.

— Обождите! — крикнула Лида. — Яблок насыплю.

— Да ладно, потом придут, — сказал Владик, — главное — воздухом подышали.

Братья остались на остановке, постояли, приходя в себя, и побрели к дому. Мишка шел босиком, с засученными до колен брюками, и нес корзинку, в которой лежали одни «оленьи рожки».

Владик объяснил шоферу, как лучше подъехать к их дому.

— Слушай, — Лида тронула его за плечо, — а давай сейчас к твоему знакомому заедем.

— Какому? — не понял Владик.

— Из управления.

— Да он уехал, — Владик усмехнулся как-то смущенно и грустно, — его в Харьков перевели. Или в Донецк, не помню.

— А зачем... зачем же ты ей обещал?! — Лида даже задохнулась от волнения, чувствуя себя такой же обманутой, как и ничего не ведающая Татьяна.

— Надо ее успокоить было, — сказал Владик тихо, — а я...

— Я, я, я! — зло передразнила его Лида. — Остановите!

Шофер покосился на Владика, как бы спрашивая разрешения, и затормозил. Лида выскочила как ошпаренная и с силой захлопнула дверцу.

— Изобретатель, тоже мне! — крикнула она. — О холопах говоришь, а сам-то кто?

— Трогай! — выдавил Владик сквозь зубы, и машина отъехала.

Лида пошла куда-то, ничего не видя, пряча от прохожих слезы. Огромные, не по ноге, сапоги хлопали при каждом шаге.

— Вот тебе на, — говорил в это время Владик, расстроенно закурив, — Таньку ж надо было успокоить? А Колька — что? Год прошел, и остальное пройдет. Сбавят, может. А она орать сразу...

— Кто этих баб разберет, — согласился шофер, не понимая толком, что и о ком ему говорят.

**ХОЧЕШЬ
БЫТЬ
МОЕЙ
СОБАКОЙ ?**



Владимир
Соболь

рассказ

Мама уехала в командировку. Так сказала бабушка. Еще вчера вечером мама была дома, варила обед, разговаривала с Леной, читала ей книжку и ни разу не сказала о том, что уезжает. Когда Лена уже лежала в постели, мама опять пришла к ней, и они еще немного поговорили. Сначала о том, что будут делать в эти выходные, а потом Лена рассказала, как ее несправедливо поставили в угол за пролитое молоко, хотя это Серегин баловался и толкнул ее. А потом мама просто сидела рядом и держала Ленину руку, пока Лена старалась уснуть. Она уже почти совсем уснула, когда папа в соседней комнате закричал: «Гол!» — и Лена открыла глаза и села. Мама встала, закрыла дверь в комнату и вернулась к Лене. «Спи», — сказала она. Лена легла, а мама укрыла ее одеялом, снова села рядом и взяла Ленину руку. «Ты думаешь — я опять маленькая?» — спросила Лена. Мама ничего не ответила, наклонилась и поцеловала ее. И Лена уснула... Утром мама разбудила ее, но тоже ничего не сказала о командировке, а когда вечером они с папой пришли из садика, на столике в прихожей рядом с телефоном лежала большая записка и много денег.

Папа читал записку очень долго. Лена успела раздеться и немного поиграть, а он все стоял в прихожей в плаще, и лицо у него было такое, словно его тоже ни за что поставили в угол. Когда зазвонил звонок, он даже не пошевелинулся. Лена побежала открывать, но это была не мама, а бабушка. Бабушка сразу подошла к папе и сказала, что мама ей звонила, и она все знает. Лена спросила у бабушки, где мама, и бабушка посмотрела на нее, потом на папу, а папа отвернулся и прямо в ботинках пошел на кухню. Там, где он прошел, на линолеуме остались мокрые следы. Лена хотела

побежать за ним и сказать, что мама его заругает, но бабушка схватила ее за руку, и они пошли в Ленину комнату. В комнате они сели рядом на Ленину кровать, и бабушка обняла Лену за плечи.

— Мама уехала, — сказала бабушка, — и просила передать тебе, чтобы ты слушалась меня и не сердила папу.

— А куда она уехала? — спросила Лена.

— В командировку.

Что такое командировка, Лена знала. Это когда у людей в другом городе не получалось с работой, и папа уезжал им помочь. Его не было несколько дней, а потом утром на стуле рядом с Лениной кроватью оказывалась новая игрушка. И Лене становилось хорошо и немного грустно. Хорошо ей должно было быть, потому что вернулся папа, а почему грустно, она не знала сама. Может быть, ей очень нравилось сидеть с мамой вечером перед телевизором, укрывшись одним пледом на двоих... Игрушки же почему-то все были большие и скучные. Лена говорила папе «спасибо» и складывала их в угол. А иногда случалось, что уезжала мама, и тогда вечерами их навещала бабушка.

— Теперь ты опять будешь к нам приходить? — спросила Лена.

— Конечно, солнышко! — сказала бабушка.

— А почему мама мне не сказала, что она уезжает?

Бабушка ответила не сразу. Лена слышала, как за стеной на кухне папа чиркает спичками.

— Она сама не знала, — сказала бабушка. — Она пришла сегодня на работу, и ей сказали, что нужно поехать.

— А надолго она уехала? — спросила Лена.

— Надолго, — сказала бабушка.

— На неделю?

Бабушка ничего не ответила и только крепче прижала Лену к себе. Они немного посидели молча, и Лена уже хотела спросить еще раз, как вдруг на кухне что-то бухнуло в стенку над их головами. Когда они с бабушкой прибежали на кухню, папа стоял у окна, а рядом с холодильником на полу лежала разбитая любимая мамина чашка.

Весь вечер Лена провела с бабушкой. Папа закрылся в большой комнате и не выходил. После ужина Лена хотела посмотреть «Спокойной ночи, малыши», но бабушка ее не пустила. Вместо мультфильма она расска-

зала Лене три сказки про Бабу-Ягу, про трех медведей и про Колобка. Когда Лена легла в постель, бабушка рассказала ей еще сказку про Машу и медведя и ушла к папе. Лена свернулась калачиком и стала думать, что хотя и плохо, что мама уехала в командировку, но все-таки немножко хорошо, потому что приехала бабушка... Бабушка с папой разговаривали в соседней комнате. Сначала они говорили тихо, и Лена совсем уже собралась спать, но тут папа закричал: «Это вы ее так воспитали!», а бабушка заплакала и сказала: «Я ее теперь и знать не хочу!» Лена очень испугалась. Она вспомнила, что у нее сегодня в садике нечаянно сломался паровоз, а потом ей долго было не заснуть в тихий час, а вчера ее поставили в угол, и, может быть, мама не успела сказать папе, что Лена ей все объяснила... Ей захотелось пить, но она решила, что лучше подождать до утра, отвернулась к стене и стала засыпать. Она еще слышала, как бабушка заходила к ней в комнату и поправляла одеяло, но не открывала глаза и даже дышать старалась как можно тише.

Ночью она проснулась и побежала в туалет. Бабушкиного пальто на вешалке уже не было, но в большой комнате горел свет.

Так они прожили несколько дней. Утром папа будил Лену, они пили вместе чай и шли в садик. Потом папа уезжал на работу. А вечером к ним приезжала бабушка. Она готовила ужин, стирала и помогала Лене лечь спать. А папа очень уставал на работе. Она у него была не физическая, но очень ответственная. Он ужинал, уходил в большую комнату, включал телевизор и ложился на диван. Если у Лены падали кубики или баволялись куклы, он сердился, и бабушка прибегала к Лене и напоминала ей, что мама просила ее быть послушной. Когда Лена ложилась в постель, бабушка читала ей книжку, а потом уезжала домой, к бабушке.

Однажды папа пришел за Леной очень поздно. Всех детей уже забрали, и Лена сидела в группе одна. В этот день папа особенно устал. Ему было даже трудно стоять. Когда они вышли в раздевалку, он сразу пошел к скамейке, задел по дороге шкафчик и чуть не уронил на пол картонку с пластилиновыми фигурками, которые они лепили днем. Папа сел на скамейку, а Лена побежала одеваться и обнаружила, что у нее пропала одна туфля. Она вспомнила, что после прогулки мальчишки кидались ее туфлями, одну она отняла, а про вторую

сказала Серегину, чтобы он положил ее на место, или она скажет Ольге Ивановне. Но потом они пошли рисовать, и она сказать забыла, а Серегин туфлю на место не положил. Лена побежала в группу, но Ольга Ивановна куда-то вышла. Лена вернулась в раздевалку и сказала папе про туфлю, но он только посмотрел на нее и сказал: «Одевайся!» Лена посмотрела по всем шкафчикам, но туфли нигде не было, а папа сидел на скамейке и только говорил: «Лена...», а что он говорил дальше, было трудно понять. Туфлю Лена нашла за шкафом с раскладушками. Она попыталась достать ее оттуда палочкой, но у нее ничего не получилось, а папа все сидел на скамейке и говорил: «Лена!» Пришла нянечка, спросила, что Лена тут делает, и начала ругать папу, а потом замолчала, и они вдвоем с Леной стали отодвигать шкаф. Лена достала туфлю, нянечка помогла ей одеться, и они с папой вышли на улицу. Во дворе еще было солнце, и большие мальчишки гонялись друг за другом на велосипедах, а около качелей Ленины подружки играли в «резиночку». Лене тоже захотелось гулять, но папа как будто не слышал, что она ему говорит. Наверно, ему было очень трудно идти. Лене стало жалко папу, она замолчала и побежала за ним к дому. У парадной стояло много знакомых людей. Они все замолчали, когда увидели папу, и расступились, давая ему пройти. Лена поздоровалась, ей ответили и спросили, где мама. Лена сказала, что мама в командировке, и тетя Валя, мама Лени Серегина, сказала: «Ах вот как!» — и хотела еще что-то спросить, а папа в это время пытался открыть дверь в парадную, только зачем-то толкал ее от себя. Лена сказала «до свидания», побежала к папе, открыла дверь и держала ее, пока папа не вошел в парадную.

Бабушка долго не приходила, а потом позвонила по телефону. Лена рассказала ей, что было в садике, как мальчишки швырялись ее туфлями и что было на обед. Бабушка попросила позвать папу, но Лена сказала, что папа очень устал на работе и сейчас спит. Бабушка сказала, что она сегодня не сможет приехать, потому что заболел дедушка, и рассказала Лене, как им сегодня с папой надо ужинать, а Лена попросила передать дедушке привет. Потом Лена повесила трубку и пошла посмотреть на папу. Папа лег спать, как только они пришли, и до сих пор еще не проснулся. Он так устал, что даже не переоделся, только снял пиджак. Лена под-

няла пиджак с пола, расправила его и повесила на стул. Очки у папы сползли на самый кончик носа, а одна нога свешивалась на пол. Лена сняла очки, положила на стол и попыталась поднять папину ногу. Нога оказалась очень тяжелой и никак не умещалась на диване. Потом папа повернулся, и нога залезла сама. Лена ушла к себе в комнату и еще поиграла. Потом она захотела есть. Папа еще спал. Лена подергала его за плечо, подула в ухо, но папа не просыпался. Он опять лежал на спине, громко сопел, и от него очень неприятно пахло. Лена пошла на кухню, достала из хлебницы булку, а в холодильнике нашла несколько кусочков колбасы. Когда она поела, ей захотелось пить. Лена достала из буфета чашку, поставила ее на табуретку и сняла с плиты чайник. Чайник был не горячий, но очень тяжелый. Лена взяла ручку чайника обеими руками и наклонила носик над чашкой. Из носика выскочила толстая струя и пролилась мимо чашки. Лена наклонила чайник еще больше, и тогда крышка чайника упала прямо на чашку и смахнула ее с табуретки. Чашка разбилась на два больших куска и несколько маленьких. Лена поставила чайник на пол, пошла к папе, села рядом с диваном и заплакала. Ей было жалко и чашку, и себя, и она хотела, чтобы папа проснулся, и боялась, что он станет ее ругать за разбитую чашку, а больше всего ей хотелось, чтобы завтра приехала мама. Она плакала негромко, но долго, а папа все не просыпался и только отвернулся к стене. Когда Лена устала плакать, она пошла к себе в комнату и стала смотреть в окно. Во дворе уже никого не было, только мальчишки бегали от парадной к парадной. Скоро мальчишек загнали домой, смотреть стало скучно, и Лена решила ложиться спать. Она умела стелить постель сама, но все — и одеяло, и подушка, и простыня — все было убрано в тахту, а папа до сих пор спал. Лена не стала плакать, а пошла в комнату и подумала. Одеяло взяла у куклы, старое, тонкое одеяло, в которое ее заворачивали, когда она была маленькая, а подушка все время лежала на диванчике, только она про нее забыла. Лена сняла платье, умылась и легла спать в колготках и майке.

Утром Лене стало холодно, и она проснулась. Папа уже встал и ходил по кухне. Лена хотела побежать к нему, но вспомнила о разбитой чашке и осталась в кровати. Она натянула одеяло до подбородка и решила, что снова уснет и не будет просыпаться до мамино

приезда. Папа вышел из кухни и подошел к Ленинской комнате. Лена сильно-сильно зажмурилась. Папа подошел к кровати и подергал Лену за плечо.

— Вставай, пора собираться!

Голос у папы был не злой, и Лена открыла глаза. Папа стоял у окна и смотрел во двор.

— Бабушка приходила? — спросил он не оборачиваясь.

— Нет, — сказала Лена. — Дедушка заболел.

Папа отошел от окна и сел на кровать. Волосы у него были взъерошенные, лицо грустное, и он все время щурился, словно ему было больно смотреть.

— Я виновата, но не очень, — сказала Лена. — Чайник был тяжелый, а крышка...

— Я знаю, — сказал папа. — Я тоже виноват.

Лена сбросила одеяло и села.

— Ты тоже разбил чашку?!

— Нет, — сказал папа. — Не вчера. Но... В общем, давай считать, что эту чашку разбили мы вместе.

— Давай, — согласилась Лена. — Так мы маме и скажем. Тогда каждому попадет только по половинке.

Папа встал и быстро пошел из комнаты.

— Вставай! — крикнул он уже из-за двери. — Уже полвосьмого. Быстрее, а то опоздаем.

Этим вечером бабушка снова позвонила и сказала, что не может оставить дедушку. На ужин они сварили пельмени, а на следующий день из садика пошли не домой, а в магазин. Папа покупал продукты, а Лена играла у входа. Папы не было очень долго. Дома она помогла папе положить покупки в холодильник, а потом они вместе чистили и жарили картошку. Отдельно на маленькой сковородке папа поджарил колбасу. Колбаса получилась с толстой рыжей корочкой, но все равно очень вкусная. Когда они поели и помыли посуду, папа сказал, что сегодня ему на работу звонила бабушка. Лена спросила, как у нее дела, и папа сказал, что неважно: у дедушки высокая температура, и бабушка не может оставить его одного.

— А как же мы будем без бабушки? — спросила Лена.

— Так и будем, — сказал папа. — Пора уже нам с тобой быть самостоятельными.

— Пора, — сказала Лена, а потом спросила, как они будут самостоятельными.

Папа подумал и сказал, что, например, они могут

постирать свое белье. Лена сказала, что она видела, как мама стирает, и думает, что у нее это получится запростяк. А папа сказал, что он не помнит, чтобы у Лены что-либо получалось «запростяк», но другого выхода он не видит. Еще он сказал, что в любом деле главное — сразу «брать быка за рога», и пошел звонить бабушке. Бабушка долго объясняла папе по телефону, как надо стирать, а папа все записывал. На следующий вечер они сразу пошли домой, быстро поужинали и начали стирать.

Сначала они вынули все белье из корзины и стали его разбирать. Папины вещи складывали к папиным, а Ленины — к Лениным. Получились две большие кучи. Каждую кучу они разложили еще на три — грязную, немного почище и совсем чистую. Потом они налили в стиральную машину горячую воду, а в воду насыпали белого порошка. Папа заложил белье в машину, закрыл машину крышкой, включил мотор, и они пошли на кухню смотреть на часы.

Стирать оказалось совсем нетрудно. Папа закладывал белье в машину и вынимал его, смотрел на часы, отжимал белье, когда оно прополоскается, и вешал его сушиться; а Лена включала и выключала машину, тыкала полоскавшееся белье палкой и подавала папе уже отжатые вещи. Все шло так хорошо, и вдруг случилось несчастье. Когда прополоскали Ленины колготки, оказалось, что немного краски с синих колготок перешло на выходные белые. Папа стоял на ванне, держал в руке колготки и смотрел на Лену. Лена стояла внизу и смотрела на колготки. Раньше она очень любила эти колготки, а теперь они стали такие, что их было бы стыдно надеть даже дома. Тут зазвонил телефон. «Черт!» — сказал папа и спрыгнул с ванны.

— Да! — сказал папа в трубку. — Слушаю вас!..

— Говори! — сказал папа...

— Нет! — сказал папа...

— Да иди ты!.. — закричал папа, бросил трубку и пошел на кухню.

Лена немного подождала и пошла за ним. Папа стоял у окна. Над его головой поднимался дым.

— Это мама звонила?! — спросила Лена.

— Что?! — сказал папа. — Нет. Это звонил один мой знакомый.

Лена подошла к папе и стала рядом с ним. За окном были тучи, лужи и дождь. Люди шли под зонтика-

ми и очень быстро. Когда мама задерживалась на работе, Лена ждала ее у окна. Она замечала маму изда-лека, как только та выходила из-за угла, и сразу бежала к папе, сказать, что мама идет. Папа лежал на диване и читал газету. «Хорошо», — говорил папа и переворачивал газетный лист. Лена бежала назад к окну и ждала, пока мама подойдет поближе. У самой парадной мама поднимала голову, и Лена начинала махать ей рукой, а мама махала в ответ... Лена подвинулась к папе. Папа обхватил ее рукой и прижал к себе. Ухо попало на папин ремень и было немножко больно, но Лена терпела.

— Тебе не скучно без мамы? — спросила Лена.

Папа убрал руку и медленно потушил сигарету в пепельнице. Он нажимал и нажимал на нее, бумага разорвалась, и табак высыпался горкой.

— Пойдем стирать, — сказал папа.

В субботу они убрали квартиру, а в воскресенье поехали в зоопарк. В трамвае было много народу, но им все-таки удалось сесть у окна. То есть сидела Лена, а папа стоял рядом и читал газету. Лена смотрела в окно и думала о папе. Она очень подружилась с ним за мамину командировку. Раньше он был просто папа, такой же, как у всех, а теперь стал совсем свой. Теперь Лена знала, что без очков у него один глаз больше другого, на левой ладони длинный шрам, а чай он любит пить вприкуску. Он даже перестал уставать на работе, и вечером они играли в шахматы, в лото, и папа обещал купить лобзик и сделать Лене теневой театр. А еще они вместе гладили белье, и папа разрешил Лене самой погладить свои трусики. Она подумала о том, как удивится мама, когда узнает; что они со всем справились вдвоем, без бабушки. Теперь, когда мама придет, они все будут делать втроем, и Лена начала думать о том, какая у них начнется хорошая жизнь, но тут водитель сказала, что следующая остановка — «Зоопарк», и они в папой стали пробираться к двери.

В зоопарке Лене не понравилось. Зверей еще не пускали на улицу, а в домах, где они жили зимой, толкалось много народу. Они зашли только к слону, а потом просто погуляли по зоопарку, посмотрели лосей и белых медведей, съели по пирожному и покрошили голубям булку. Потом Лена сказала, что она хочет мороженого. Мороженое продавали с тележек у входа в зоопарк. Папа подумал и сказал, что на улице мороженое

есть еще нельзя, но они могут зайти в кафе. Лена любила есть мороженое из вазочек даже больше, чем из стаканчиков, но она, так же как папа, сначала подумала, а потом согласилась.

Они вышли из зоопарка, проехали несколько остановок на трамвае, еще немного прошли по улице и зашли в кафе. Папа посадил Лену на свободное место, а сам стал в очередь. Очередь была большая и двигалась очень медленно. Лена попыталась сосчитать, сколько людей стояло перед папой, но сбилась и стала смотреть в окно. За окном была широкая улица, за улицей — сад, а в саду стоял памятник. По улице мимо окна взад-вперед ходили люди. Одни спешили и, только появившись из-за одной стенки, сразу исчезали за другой; другие шли медленно, третьи останавливались у окна и чего-то ждали. Потом те, кто стоял, заволновались, побежали, и в окне появился троллейбус. Двери у него открылись, и из троллейбуса стали выходить пассажиры, а другие стали садиться, и все они мешали друг другу. И тут Лена увидела маму. Мама стояла перед окном и смотрела на нее. Лена замахала ей рукой, но мама вдруг повернулась и быстро ушла из окна. «Мама!» — кричала Лена и побежала к выходу. У двери она столкнулась с каким-то дядей, и, пока они распутывались, папа успел догнать ее и схватить за руку. Лена стала вырываться.

— Пусти меня! Там же мама!

— Ты что, с ума сошла?! Мама в командировке.

— Я ее сейчас видела, здесь, за окном!

— Да что ты... Ну хорошо, — сказал папа, — пойдем посмотрим.

Они вышли из кафе, прошли по улице до угла и все время смотрели по сторонам. Мамы нигде не было.

— Вот видишь — ты просто обозналась. Увидела тету, похожую на маму, и решила, что это мама.

— Нет, — сказала Лена. — Я знаю, что это была мама.

— А я тебе говорю, что нет!

— А я тебе говорю, что да!

Папа поднял Лену на руки и пошел через улицу.

— Куда мы идем? — спросила Лена.

— Домой.

— А мороженое?

— Раз ты меня не слушаешь, значит, и мороженого тебе не будет...

Дома Лена сразу ушла к себе в комнату и не вышла до самого ужина. Папа звал ее обедать, но она сказала, что не хочет есть. «Ну и черт с тобой!» — сказал папа и ушел обедать сам. Потом он включил телевизор и лег на диван смотреть футбол. А Лена рисовала. Папа несколько раз заходил к ней, пытался заговаривать, но Лена не отвечала, и он уходил. Когда за окном стало темно, папа пришел еще раз и включил верхний свет. Лена уже не рисовала, а сидела у окна.

— Ты что в темноте делаешь? — спросил папа.

Лена опять не ответила. Папа подошел к ней и сел на стул.

— Что с тобой?

— Я на тебя обиделась.

— За что же это?

— Сам знаешь! — сказала Лена.

Папа ничего не ответил. Он встал со стула и пошел было из комнаты, но остановился у Лениного стола.

— Что это ты тут начиркала? — спросил он.

Лена слезла с кровати и тоже подошла к столу.

— Я рисовала маму, — сказала она. — Ты же знаешь — мне всегда очень грустно, когда мамы нет дома, и я решила нарисовать ее.

— Ну и что? — спросил папа. — Тебе стало легче?

— Да, — сказала Лена, — когда я рисовала, мне было легче. А потом опять стало грустно.

— Хочешь чаю? — спросил папа. — С вареньем.

Когда зазвонил телефон, они уже успели выпить по две чашки и теперь просто сидели и говорили о собаках. Папа взял пепельницу и пошел в прихожую.

— Слушаю вас! — сказал папа в трубку.

— А, опять ты... — сказал папа...

— Да, — сказал папа, — видела...

— Ну знаешь ли!.. — сказал папа...

— Ну знаешь ли! — сказал папа и бросил трубку.

— Кто это звонил? — спросила Лена, когда папа вернулся на кухню. — Опять твой знакомый?

— Нет, — сказал папа и очень внимательно посмотрел на Лену. — Это звонила... мама.

Лена ничего не сказала. Ей вдруг стало очень холодно. Она опустила голову и стала смотреть в чашку. На дне чашки еще оставался чай. Чай был светлый, слегка желтоватый, и в нем плавали черные чайники.

— Я хочу с тобой поговорить, — сказал папа. — Тебе уже семь лет, ты большая девочка, осенью пойдешь

в школу, и я думаю, что мы можем поговорить по-взрослому.

— Я тоже так думаю, — сказала Лена. — Говори по-взрослому.

— Понимаешь, — сказал папа, — мы с мамой... мы с мамой поссорились.

— Вы и раньше ссорились, — сказала Лена.

— Откуда ты знаешь?

— Я слышала через стенку.

— Да... но раньше мы ссорились и мирились, а теперь поссорились насовсем. И... и мама ушла от меня.

— А от меня? — спросила Лена.

— Нет, — сказал папа, — от тебя она не ушла. Она просто сейчас не может взять тебя с собой. А когда мы разменяем квартиру, ты будешь жить с мамой.

— Но сегодня она от меня убежала.

— Наверное, она не ожидала встретить тебя и испугалась.

— Боятся, когда делают нехорошее, — сказала Лена.

Папа промолчал. Он достал новую сигарету и прикурил от старой. Лене показалось, что он тоже считает, что мама поступила нехорошо, только не хочет об этом говорить.

— Нет, папа, — сказала Лена, — она поступила нехорошо. Ведь она знала, что ты не умеешь стирать и убирать квартиру...

— Я научусь, — сказал папа.

— ...и готовить обед...

— Также не самое страшное.

— ...и завязывать бант. А мне неприятно каждое утро просить Ольгу Ивановну. И девочки смеются.

— Давай ложиться спать, — сказал папа.

Лена умылась, почистила зубы и пошла к себе в комнату. Папа на кухне мыл посуду. Когда Лена легла, она позвала папу. Папа пришел очень недовольный.

— Я же тебе сказал, чтобы ты спала. Хочешь, чтобы я тебя отшлепал?!

— Нет, — сказала Лена, — я хочу тебя о чем-то спросить.

Папа покачал головой, но все-таки сел на Ленину кровать. Лена отодвинула ноги к стенке, чтобы ему было удобнее.

— Папа, что, ты сказал, вы хотите сделать с нашей квартирой?

— Разменять.

— А что это такое?

— Мы отдадим нашу квартиру другим людям, а сами разъедемся в две другие квартиры, поменьше.

— Я так и думала, — сказала Лена. — Значит, ты разъедешься в одну квартиру, мама — в другую, а где буду жить я?

— Или со мной или с мамой, — сказал папа. — С кем ты захочешь.

— А кто захочет со мной?

— Мы оба хотим, — сказал папа. — И я и... мама.

— Но ведь мама ушла от меня.

— Что за глупая девчонка?! — закричал папа. — Я тебе уже сто раз объяснял, что мама ушла не от тебя, а от меня. Такого не бывает, чтобы от детей уходили. Понимаешь, дурья твоя башка?!

— Ну что ты сердиться? — тихо сказала Лена. — Чтобы мамы уходили, такого тоже не бывает. Вот у Серегина папа ушел, и у Зины Сомовой тоже. Может, я очень плохая?

— Нет, — твердо сказал папа. — Ты очень... в общем, нормальная. И мама у нас... не хуже других. И не все ли равно, кто ушел, раз так все плохо получается... И ты, пожалуйста, поверь, что каждый из нас хочет жить с тобой. Но мы не будем тебя заставлять. Ты сама подумай и реши, с кем ты будешь жить.

Лена подумала.

— А может быть, вы и меня разменяете? — спросила она.

— Это как?

— Ну, отдадите меня другим людям, а себе возьмете двух девочек поменьше.

— Да что ты! — сказал папа. — Людей не разменивают.

— А что делают с людьми?

Папа долго молчал.

— Я не знаю, — сказал он наконец. — Я не знаю, что делают с людьми...

Утром в понедельник папа отвел Лену в садик, а после тихого часа, когда они сидели за полдником, в группу вдруг пришла мама. Лена сидела против двери и видела, как мама заходит в раздевалку, идет по коридору, останавливается и смотрит на нее. В животе у Лены сделалось пусто и холодно. Ольга Ивановна подошла к маме, и они что-то сказали друг другу, но так тихо, что Лена не слышала ни слова.

— Лена Малиновская! — позвала ее Ольга Ивановна. — За тобой пришли.

Лена положила недоеденную ватрушку, встала из-за стола и пошла к маме. Серегин выставил ногу, чтобы она споткнулась, но Лена даже не посмотрела на него; просто перешагнула ногу и подошла к маме.

— Здравствуй, Леночка! — сказала мама.

— Здравствуй, — сказала Лена — ты... ты приехала за мной?

— Нет... то есть да. Я хочу пригласить тебя в гости.

— В гости? К Тане Фокиной?

— Нет, — сказала мама. — Ко мне. Туда, где я сейчас живу.

— К тебе в гости?!

— Ну да. Я очень соскучилась по тебе. А ты разве не соскучилась?

Мама ничего не поняла, а Лена не стала объяснять.

— Хорошо, — сказала она, — давай поедем.

Лена подумала, что она очень многому научилась за последние дни и теперь еще научится ездить в гости к своей маме. Мама взяла Лену за руку и повела в раздевалку. Там она посадила Лену на скамейку, быстро одела, заново причесала и перевязала бант.

На остановке они долго ждали трамвая, а потом еще дольше ехали, пока наконец не вышли на какой-то совсем незнакомой улице. Дома здесь были невысокие, красивые и все разные. Только стояли они вплотную, и Лене показалось, что они толкаются, отпихивают друг друга, чтобы показать себя получше. Там, где жила Лена, места хватало каждому дому, но все они были одинаковые.

Они с мамой пошли по улице, потом свернули в арку под домом, прошли через двор, такой маленький, что в нем никто и не играл, вошли в другую арку, и там в стене была дверь. За дверью оказалась парадная. Лестница была узкая, длинная и без лифта. Лена очень устала, пока они поднимались, но папы рядом не было, а проситься на руки к маме она не хотела.

На каждую площадку выходило по три двери. Они поднялись на последний этаж, мама подошла к средней двери и три раза нажала на звонок. Звонок звенел слабо и очень далеко, почти в другом доме. Они немного подождали, потом услышали шаги, дверь открылась, и на площадку вышел очень высокий дядя. Такого высокого Лена еще не видела. В их с папой квартире он,

наверное, и не поместился бы. Лена не испугалась, но на всякий случай стала за маму.

— Здравствуй! — сказал дядя, подошел к маме и наклонился, как будто хотел поцеловать ее.

Но мама отвернулась и вытащила Лену из-за спины.

— Вот, знакомьтесь: это — Лена, а это — дядя Коля.

— Какие мы большие! — сказал дядя Коля.

Он и в самом деле был очень большой, но Лена не любила, когда при ней хвастались.

— У меня папа тоже большой! — сказала она.

— Лена! — сказала мама и больно дернула Лену за руку.

Дядя Коля засмеялся. Голос у него был такой же широкий, как и он сам, и ему было тесно не только на площадке, но и на всей лестнице.

— Ничего, — сказал он, — все правильно. Каждый папа самый большой. Ну проходите.

За дверью начинался длинный и темный коридор. Мама шла впереди и вела Лену за руку. По обе стороны коридора были двери. За дверями разговаривали люди. Когда коридор кончился, мама повернула налево, в другой коридор. Этот коридор был поменьше и упирался не в стенку, а в дверь. Мама дошла до двери и остановилась.

— Ну что ты стала, Маша? — спросил дядя Коля. — Заходи.

Мама открыла дверь и вошла. Лена шагнула за ней и тут же выскочила обратно. Черная лохматая собака выбежала из комнаты и прижала Лену к стене. Морда у собаки была длинная, с большими зубами, а язык был еще длиннее и свешивался наружу. Лена не испугалась, но подумала, что собака может ее лизнуть, и закрыла лицо руками.

— Инга, место! — крикнул дядя Коля.

Лена услышала шлепок, собака взвизгнула и побежала в комнату.

— Ты не бойся, — сказал дядя Коля, — она не кусается.

Лена раздвинула немного пальцы и увидела, что дядя Коля сидит перед ней на корточках. Она опустила руки.

— Я собак не боюсь, — сказала она. — Я знаю, что они любят детей. Просто...

— Просто ты трусиха! — сказала мама и снова вышла в коридор.

— И вовсе нет!

— И вовсе да! А если не боишься, то проходи в комнату.

Лена осторожно заглянула в комнату. Собака лежала у двери и стучала хвостом по полу. Лена шагнула, и собака сразу вскочила на ноги. Лена отшатнулась и вдруг почувствовала, что поднимается в воздух. Дядя Коля посадил ее на плечо и вошел в комнату. Сверху собака казалась совсем доброй. Дядя Коля перешагнул собаку и посадил Лену на диван.

Лена сидела на диване и разглядывала комнату. Комната была большая, почти такая же, как вся их квартира. Телевизора в комнате не было, но на стене висело ружье. Собака встала и подошла к дивану. Лена поджала ноги и отодвинулась к спинке. Мама села рядом и обняла Лену.

— Что ты боишься, дурешка? Она тебя обнюхает, и вы подружитесь.

— Я ее не боюсь, — сказала Лена и крепко обняла мамину руку. — Пусть нюхает.

Зубы у собаки были белые-белые и острые. Лена зажмурилась. Собака дышала громко и часто, и ногам было жарко. Потом Лена открыла глаза. Собака сидела рядом с диваном и, наклонив голову набок, смотрела на Лену. Большие уши собаки висели тряпочками.

— А теперь ты ее погладь, — сказала мама.

Лена протянула руку. Собака нагнула голову, и Лена осторожно провела ладонью по мягкой и длинной шерсти. Гладить собаку было очень приятно.

— Вот и отлично, — сказал дядя Коля. — Вот и подружились. Нравится тебе Инга?

Лена совсем забыла про него. Он стоял у двери, смотрел на них и улыбался. Он так улыбался, словно они с мамой тоже были его собаками.

— Нет, — сказала Лена. — Не нравится. Я вообще собак не люблю.

Она прижалась к маме. Мама была теплая, но немножко чужая. Дядя Коля перестал улыбаться. Он отвернулся и посмотрел на стенку, потом на потолок, потом на пол.

— Не любишь, значит, собак... Жалко, да... А я, видишь ли, очень собак люблю, очень... Ну хорошо. Вы посидите, а я пойду чайник поставлю.

Он вышел, а мама отодвинула Лену и развернула к себе.

— Что ты болтаешь? — сказала она. — Ты же любишь собак. Ты же все время хотела собаку.

— Ну и что?! — сказала Лена. — Я хотела свою собаку. А это чужая собака. А чужих собак я не люблю.

Мама очень долго и очень внимательно смотрела на Лену.

— А хочешь?.. — сказала она. — А хочешь — Инга будет твоей собакой?

— А как она будет моей? — спросила Лена. — Я возьму ее с собой?

— Нет, — сказала мама. — Ты просто будешь жить с нами.

— С тобой?

— Со мной, — сказала мама, — и с дядей Колей, и с Ингой.

— А папа?

Мама не ответила. Она достала из сумочки платок и протянула его Лене.

— Высморкайся.

Лена расправила платок, уткнулась в него носом и старательно подула сначала в левую ноздрю, потом в правую. Потом она аккуратно сложила платок и отдала маме.

— Нет, — сказала Лена, — я так не хочу. Так собака будет общая, а я хочу, чтобы она была моей.

— Ты глупая и упрямая девчонка! — сказала мама.

Лена отодвинулась от мамы. Мама была очень сердитая. Она была такая сердитая, что могла и отшлепать...

Вошел дядя Коля.

— Чай готов! — сказал он весело. — Давайте готовить стол.

К чаю были пирожные и торт. Шесть пирожных, каждому по два, и большой торт с грибами и розочками из крема. Лена взяла себе корзиночку, трубочку и большой кусок торта с угла. Дядя Коля первый выпил чай и закурил. Лена перестала есть и посмотрела на маму. Но мама аккуратно соскребала ложечкой крем и как будто ничего не замечала. Лена посмотрела на дядю Колю.

— А мой папа никогда не курит в комнате, — сказала она. — И все его друзья тоже курят на кухне.

Мама закашлялась в чашку, и брызги разлетелись по столу. Лена потянулась похлопать ее по спине, но мама оттолкнула ее руку. Так сильно, что Лена чуть не упала со стула.

— Маша!.. — сказал дядя Коля и встал. — Леночка права. Я сейчас пойду докурю на кухню.

Они снова остались вдвоем. Лена положила пирожное на блюдце, опустила руки на колени и смотрела к себе в чашку. Но мама не стала ее ругать. Она допила свой чай и тоже встала.

— Побудь пока одна, — сказала она Лене. — Я сейчас вернусь.

Когда она вышла, собака подошла к столу и села у Ленинго стула. Лена откусила пирожное и посмотрела на собаку. Собака застучала хвостом и сказала: «Н-н-н». Лена подумала и протянула пирожное собаке. Собака забрала пирожное у нее с ладони и проглотила.

— Ты хочешь быть моей собакой? — спросила Лена.

Собака опять застучала хвостом и высунула язык.

— А если я не буду давать тебе пирожных, ты будешь моей собакой? Или ты уйдешь к другому, с тортом?

Собака перестала стучать хвостом, наклонила голову набок и внимательно глядела на Лену. Наверное, она не знала, что ей ответить.

— Вот видишь, — сказала Лена. — Так спрашивать нельзя. Если я захочу, чтобы ты была моей собакой, я не буду тебя спрашивать. Я буду за тобой ухаживать, гладить тебя, гулять и играть с тобой. И я буду так делать, пока ты сама не захочешь быть моей собакой. А спрашивают, когда еще не знают сами. И я еще не знаю, хочу ли я, чтобы ты была моей собакой. Ты поняла?..

Вернулись мама и дядя Коля.

— Инга, гулять! — скомандовал дядя Коля.

Собака отпрыгнула от Лены и побежала в коридор.

— Я не прощаюсь, Леночка, — сказал дядя Коля, — еще увидимся. Значит, Маша, мы скоро вернемся.

Мама вышла в коридор проводить дядю Колю и Ингу. Дверь осталась полуоткрытой, и Лена увидела, как дядя Коля наклонился и поцеловал маму. А мама обняла его за шею и прижалась к нему. И так они стояли долго-долго. Потом дядя Коля выпрямился и погладил маму по голове. А мама взяла его руку и провела ею по своей щеке. После этого дядя Коля ушел, а мама вернулась в комнату.

Она улыбалась, но смотрела не на Лену, а сквозь нее. Она подошла к зеркалу, повернула голову сначала направо, потом налево и похлопала себя пальцами по

шее. Она долго смотрела на себя в зеркало, и Лена смотрела на нее, и вдруг заметила, что нос у мамы длинный и загибается вниз. Лена слезла со стула и пошла к шкафу с книгами.

— Там нет детских книг, — сказала мама.

— Откуда ты знаешь? — сказала Лена не оборачиваясь. — А вдруг есть?

Мама догнала ее, взяла на руки и понесла на диван. Как только мама отпустила ее, Лена сразу же отползла в сторону и забилась в угол между спинкой и боковой стенкой. Мама потянулась к ней, но Лена посмотрела на нее, и мама убрала руку.

— Как тебе живется? — спросила мама.

— Хорошо, — ответила Лена. — Нам с папой хорошо живется.

Мама встала и прошла по комнате. Она постояла у окна, вернулась и остановилась напротив Лены.

— Что тебе сказал папа? — спросила она.

— Что вы поссорились.

Мама замолчала. Она была все еще злая, но Лена уже не боялась, а смотрела на нее, как на воспитательницу Ольгу Ивановну, когда становилась непослушной. Теперь она увидела, что у мамы даже лицо стало другого цвета: глаза черные, ресницы длинней, а губы шире и ярче. Губы у мамы шевелились, как будто она что-то говорила, но так, чтобы Лена не слышала.

— А что он еще говорил тебе обо мне? — наконец спросила она.

— Больше ничего.

— Честно?

— Честно.

Мама хотела еще что-то спросить, но тут в коридоре зазвонил телефон. Мама вышла за дверь. Лене с дивана было видно, как она взяла трубку.

— Да, — сказала мама, — это я...

— Да, — сказала мама, — у меня...

— В конце концов, — сказала мама, — это мой ребенок, так же как и его. И я имею право...

— Во-первых, — сказала мама, — во-первых, я предупредила воспитательницу, а во-вторых...

— Хорошо, — сказала мама, — позвони ему и скажи, что мы сейчас выезжаем...

Мама вернулась в комнату, взяла Ленины рейтузы со стула и кинула их на диван.

— Одевайся! — сказала она. — Это звонила бабушка.

Тебе пора возвращаться. Он, видишь ли, беспокоится! Что же это он раньше не беспокоился?!

Они оделись, вышли из дома, сели в трамвай и поехали обратно. Папа ждал их на остановке. Лена увидела его еще из трамвая. Он стоял с поднятым воротником, засунув руки в карманы, и был похож на воробья под дождем. Лена с мамой вышли из трамвая, перешли улицу и подошли к папе.

— Здравствуй, Юра! — сказала мама.

Папа не ответил. Он смотрел на Лену. Лена вынула свою руку из маминой и подошла к папе.

— Я не поздно приехала? — спросила она.

— Нормально, — сказал папа.

— На «Спокойной ночи, малыши» успеем?

— Если быстро пойдем — успеем.

Лена повернулась к маме.

— Мы пойдем, — сказала она. — До свидания. Ты приезжай ко мне еще.

— Хорошо, — сказала мама.

Лена взяла папу за руку, и они пошли. У дома Лена обернулась. Мама стояла на том же месте и смотрела им вслед. Лена остановилась.

— Ты чего? — спросил папа.

Лена не ответила. Издалека мама казалась такой маленький, а ветер был очень холодный и страшно завывал во дворе. Лена побежала к маме. Мама была далеко, а ветер дул навстречу, и Лене показалось, что ей уже никогда не добежать до мамы. Но тут мама оказалась рядом и подхватила ее на руки. Лена крепко-крепко обняла ее за шею.

— Я тебя очень люблю, мамочка. Очень-очень. Больше, чем папа. Больше, чем дядя Коля.

Мама ничего не говорила. Она только прижимала Лену к себе, а щеки у нее были мокрые и холодные. Потом мама опустила Лену на землю. Подошел папа. Он смотрел на маму, мама смотрела на него, а Лена стояла между ними.

— Нам надо идти, Маша, — сказал папа.

— Конечно-конечно, — сказала мама, — уже поздно. Идите.

Она достала платок из сумочки и вытерла глаза.

— Нам надо с тобой встретиться и все обговорить, — сказал папа.

— Хорошо, — сказала мама. — Я позвоню тебе на работу. Ты... ты на меня не сердись?

— А как ты думаешь? — спросил папа.

Он взял Лену за руку, и они пошли. У дома они опять остановились. Мама еще не ушла. Лена замахала ей рукой, и мама помахала ей в ответ, и папа поднял руку и покачал ладонью у плеча. Тогда мама повернулась и пошла через улицу. Сначала она шла медленно, но вывернул из-за угла трамвай, и она побежала. Трамвай загородил ее, а когда он отошел, мамы уже не было.

— Ну что? — сказал папа. — Пойдем домой? Чаю попьем. Я пряники купил.

Лена придвинулась к нему поближе и, так, чтобы он не видел, вытерла щеку о рукав папиного плаща.

— Это очень хорошо, что ты купил пряники, — сказала она. — Я очень люблю пряники. Правда, они полезнее, чем пирожные, даже чем торт?

НАРИСОВАННЫЙ
ОЧАГ



Геннадий
Соколов

рассказ

Семь раз пробили старые настенные часы, и в их надтреснутом голосе как будто слышалось недовольное ворчание.

В это время старики обычно только вставали, но сегодня Никита Афанасьевич уже возился на кухне. Надо было основательно прибраться. Вчера приходили гости по случаю именин жены, засиделись допоздна, а после ухода гостей Ольге Николаевне сделалось дурно. Сколько раз он говорил ей, что такие приемы им не под силу, но все напрасно. Хорошо еще, что жена в конце концов уснула и не пришлось вызывать врача.

Уничтожив следы вчерашнего беспорядка (эти гости бывают такие неаккуратные), Никита Афанасьевич удовлетворенно вздохнул. Теперь можно готовиться и к завтраку — Ольга Николаевна, наверное, проснулась.

Вскоре на кухне вкусно запахло желудевым кофе. Никита Афанасьевич довольно покашливал, принюхиваясь. Этот кофе он купил когда-то впрок, и оказалось, что совсем не зря. Сейчас такого нет.

Накрывая на стол, он поглядывал в окно. Он любил это время за то необъяснимое очарование, имя которому — утро. Жаль, что Ольга Николаевна никогда не торопится, чтобы они смогли выходить пораньше на традиционную прогулку. Но поторопить жену Никита Афанасьевич себе не позволял. Даже просто заглянуть в комнату и сообщить, что готов завтрак, не решился бы ни за что. Все, чем занята жена по утрам, — тайна, полог над которой, по его глубокому убеждению, не следует подымать.

Он накрыл кофейник колпаком, сел на диванчик возле стола, нацепил очки и, развернув газету, приготовился ждать.

А Ольга Николаевна проснулась в скверном настроении и с больной головой. Вчерашний вечер оставил тя-

желый осадок. Вчера она, как будто забыв о возрасте и приличиях, вела себя точно расшалившаяся гимназистка. Так ей казалось теперь. Однако вчера все было очень хорошо.

Она сидела в глубоком кресле, облокотившись на свой рабочий стол, слишком громоздкий для их небольшой комнаты, и недовольно хмурила редкие брови, снова и снова возвращаясь мысленно к вчерашним именнам.

— Увы, увы...— еле слышно прошептала она и, вздохнув, отняла от щеки пухлую белую ладонь. Рука свободно, мягко опустилась на столешницу, поникла и голова, словно лишенная необходимой опоры.

Несколько минут провела Ольга Николаевна в неподвижности, затем, не без усилия, подняла голову и оглядела комнату. Взгляд ее задержался на старом клавесине. Инструмент был красив, изящен, но давно уже отыграл свое, и если ударить по его пожелтевшим клавишам, он отзовется лишь коротким, деревянным эхом. «Вот так и я, — с грустью подумала Ольга Николаевна, — с той только разницей, что клавесин по-прежнему красив».

Она любила одушевлять вещи. Оставаясь одна, беседовала с ними. Ведь все, что окружало ее сейчас, было частицей такого далекого и прекрасного времени, служило тоненькой, но крепкой нитью, связывающей ее с прошлым, с миром, населенным давно ушедшими из жизни, дорогими ей людьми.

Рука ее сама собой нашарила угольный карандаш, с минуту Ольга Николаевна удивленно, словно видя впервые, смотрела на него, затем быстро, несколькими умелыми штрихами нарисовала на куске картона причудливо изогнувшуюся в танце молодую женщину.

После утреннего туалета Ольга Николаевна долго, внимательно разглядывала свое отражение в высоком потускневшем от времени зеркале и осталась недовольна собой. Приняв гордый, чуточку даже надменный вид, она прошептала с тихой яростью:

— Старуха.

Если существуют на свете чудеса, то владеют ими дети и женщины. Точно волшебное слово бросила Ольга Николаевна своему отражению в зеркале, и лицо ее сразу преобразилось, сделалось живым, и на нем как будто даже убавилось морщин.

Ее стягивало черное, в меру длинное платье, шею украшали большие стеклянные с позолотой бусы вене-

цианской работы, которые носила еще бабушка Ольги Николаевны, а волосы были убраны в аккуратную, не без некоторого кокетства, прическу.

— Ну вот, — сказала она, поднимаясь. — Кажется, все. — И вышла в кухню.

— Доброе утро, Оля, — глухо произнес Никита Афанасьевич, не отрывая глаз от жены. Голос его уже не был богат оттенками, в нем слышалось только то, что слышалось. Зато в глазах было восхищение.

Для Ольги Николаевны это своеобразная утренняя игра. Словно актриса в лица зрителей, всматривается она в физиономию мужа и неизменно остается довольна произведенным эффектом. А Никита Афанасьевич, поднявшись с дивана, суетится, бормоча что-то под нос, наливает кофе, извиняясь при этом, что кофе подостыл немного, и зачем-то меняет местами расставленные заботливо чашки. Выглядит он смешно, как будто, поднимаясь, забыл распрямиться, отчего руки у него свисают чуть ли не до колен. Худой, сутулый, в очках на кончике носа, он похож на уездного делопроизводителя. Для полной иллюзии не хватает, пожалуй, только усов, нарукавников да тугой жилетки с цепочкой от часов.

Глаза Ольги Николаевны тотчас улавливают это сходство.

— Никита, — говорит она насмешливо, — у меня такое впечатление, что сейчас ты скажешь: «Чего изволите, мадам?»

— Извольте, мадам, кофе и печенье, — ласково бурчит Никита Афанасьевич, и на губах у него играет едва заметная улыбка.

Ольга Николаевна смотрит в окно, помешивая в чашке давно растворившийся сахар. Ее застывший, ничего в общем-то не выражающий взгляд исполнен для Никиты Афанасьевича какого-то особого смысла, он любит жену с тихой радостью, ему так хорошо, что она рядом. Впрочем, он никогда бы в этом не признался.

— Ты знаешь, Никита, — задумчиво проговорила Ольга Николаевна, — я видела сегодня маму. Мы с ней долго говорили о нашем старом доме. — Она тяжело вздохнула и, отвернувшись от окна, подперла щеку рукой. — Господи, как давно все это было, Никита...

Почти каждое утро рассказывала Ольга Николаевна о своих ночных свиданиях с матерью. Но всякий раз Никита Афанасьевич слушал ее как замороженный — это

было для него частицей ее тонкой и в чем-то загадочной души.

— Это хорошо, Оля, — заметил он с самым глубоко-мысленным видом. — Значит, она с тобой. — С некоторых пор, не без влияния Ольги Николаевны, он всерьез считал, что умеет толковать сны. И кто знает, может быть, его наивные, бесхитростные толкования были не столь уж далеки от истины...

— Нет, Никита, — покачала она головой. — Мне показалось, что мама со мной прощается. — И она подняла на него глаза, в которых читалась немая просьба, даже мольба — сказать ей, что она ошиблась, что это вовсе не так...

— Ты ошибаешься, Ольга, — сказал Никита Афанасьевич. — Мама не может покинуть тебя.

Но его слова, похоже, на этот раз мало успокоили Ольгу Николаевну.

— Увы, Никита, — возразила она с горькой усмешкой. — Мама уже покинула меня однажды...

— И все-таки...

— Не надо гадать, Никита. Что будет, то и будет. Пошли лучше гулять. Сейчас, должно быть, очень хорошо на улице.

— Но ты ничего не ела.

— Оставь! — раздраженно сказала она. — Ты как будто только о еде и думаешь.

Не смея возражать, Никита Афанасьевич встал, чтобы убрать со стола. Он с сожалением посмотрел на нетронутый кофе и, стараясь сделать это незаметно, перелил его обратно в кофейник.

Ольга Николаевна рассеянно смотрела в окно, перебирая старинные венецианские бусы.

Ветрено и холодно было на улице, несмотря на солнечный день. Но, словно не чувствуя холода, они брели с каким-то особенным стариковским упорством по длинной, узкой аллее, вдоль которой двумя ровными рядами тянулись тополя. Никита Афанасьевич шел слегка кособочась, но все же величественно и важно, а Ольга Николаевна, лишенная на улице всего, что создавало ей дома опору, выглядела совсем беззащитной и так крепко держалась за его надежный стариковский локоть, точно боялась, что ее унесет порыв свежего ветра.

Долгое время они шли молча. Никита Афанасьевич

считал, что во время прогулки неразумно тратить энергию на что-либо, кроме собственно ходьбы. Молчание прервала Ольга Николаевна.

— Никита, — тихо сказала она, — я что-то устала. Давай присядем.

Он огляделся, выискивая скамейку почище, и, не найдя таковой, вытащил из бокового кармана плаща газету, которую читал утром.

— Сидят с ногами, — проворчал он, расстилая газету на скамье. — Дикари.

— Пусть их, — махнула рукой Ольга Николаевна. Села и замерла, обратив взгляд в пространство.

Понемногу становилось теплее. Ярче засиял в солнечных бликах, словно умытый, новый район. Весело свистел ветер в лабиринтах между домами-башнями. А пронсящие по проспекту грузовики поднимали тучи пыли, от которой аллею заботливо защищали тополя.

— Скоро полдень, — вдруг сказала Ольга Николаевна. Она произнесла это с какой-то философской значительностью.

— Что ты говоришь? — встрепнулся Никита Афанасьевич.

— Я сказала, что тебе надо в магазин.

— В магазин?.. — Он удивленно посмотрел на жену. Действительно, он хотел успеть в магазин до обеда. Но почему она напоминает об этом? Ведь она никогда даже не произносила вслух слово «магазин». Для нее никаких магазинов просто не существовало, и, пожалуй, она не имела понятия, сколько стоит хлеб или картошка.

Заметив изумление мужа, Ольга Николаевна внимательно посмотрела на него, и легкая улыбка тронула ее губы.

— А что, если я тебя лишу этого удовольствия, Никита? — вкрадчиво проговорила она. И добавила с трогательной непосредственностью, как только она умела: — Я хочу в Павловск. Давай съездим, Никита. Прямо сейчас! — Глаза Ольги Николаевны оживились, она смотрела на него так, что казалось, будто от этой сумасбродной идеи зависит все ее дальнейшее существование.

Никита Афанасьевич растерялся, но, не желая показывать этого, очень спокойно, стараясь взвешивать каждое слово, попытался убедить жену, что ехать сейчас в Павловск безрассудно, что дома нечего даже поужинать, а вернутся они, скорее всего, поздно, потому

что она, конечно же, захочет проведать своих павловских знакомых. И в конце концов, почему бы не съездить после того, как он вернется из магазина?..

— А я хочу сейчас, — упрямо проговорила она, не принимая во внимание разумные возражения Никиты Афанасьевича.

«Что же делать?» — подумал он, совсем растерявшись. Эта поездка никак не вмещалась в его планы. Но что-то подсказывало ему, что ехать все-таки надо. Однако он сделал последнюю попытку отговорить жену.

— Оленька, мы ведь не взяли с собой кошелек, пока туда-сюда...

— А мы «зайцами!» — весело воскликнула Ольга Николаевна. — Я еще ни разу в жизни не ездила «зайцем».

И Никита Афанасьевич сдался. Усмехнувшись, он встал и, протянув жене руку, гордо произнес:

— Поехали!

Взгляд Ольги Николаевны как-то сразу потух, потускнел. Она опустила глаза и, глядя под ноги, грустно сказала:

— Нет, Никита, я пошутила... Какой там Павловск! И тебе действительно в магазин надо. А главное, — она снизила голос до шепота, — я кое-что придумала. Пошли домой.

У подъезда своего дома они столкнулись с соседом, Сергеем Сергеевичем.

— Мое почтение, так сказать! — приветствовал сосед, приподнимая шляпу. — Что-то вас давненько не видно.

— Вы не правы, — возразила, улыбнувшись, Ольга Николаевна. — Это вас не видно.

— Понятно. Взаимно, так сказать, — рассмеялся он.

Никита Афанасьевич хмуро молчал. Он не любил соседа за грубоватые шутки и манеру разговаривать громко, за вечно хорошее настроение. Однако к этой, довольно обычной, нелюбви примешивалось чувство и гораздо более глубокое, определение которому он не мог найти, отчего нелюбовь его делалась еще злее. Ольга Николаевна, напротив, относилась к соседу спокойно, или, вернее сказать, никак не относилась. Она знала, что он отставной военный, что теперь служит в их жилищной конторе, но какое ей до всего этого дело?... Единственное, что по-настоящему занимало Ольгу Николаевну, так это разительное внешнее сходство стариков — ее мужа и соседа. Правда, Сергей Сергеевич выглядел куда более

подтянутым, но эту деталь она относила на счет его военной выправки.

— А вы, значит, с прогулки, с моциона, так сказать? Погодка-то сегодня какая! — заметил Сергей Сергеевич и как бы между прочим обронил: — А у меня на вас жалоба.

— Жалоба? — воскликнули они в один голос.

— Ну да, жалоба. — Он весело рассмеялся. — Одна полоумная старуха из нашего дома написала.

— Сергей Сергеевич, — проговорила Ольга Николаевна с мягким укором, — не забывайте, пожалуйста, что вы разговариваете с дамой, у которой, наверное, не меньше оснований считаться полоумной старухой.

— Прошу прощения, уважаемая Ольга Николаевна. Однако жалоба, как ни называй ее автора, жалобой и остается.

— На что же жалуется эта женщина?

— Хм, на что жалуется... — усмехнулся он. — Обвиняет вас в неуважительном отношении к соседям.

— Забавно, право. И в чем же оно выражается? — В голосе Ольги Николаевны не было и тени волнения.

— Да вот пишет, что вы мешаете людям отдыхать, что у вас постоянно громко играет какая-то странная, обратите внимание, музыка. Кстати, слово «странная» у нее два раза жирно подчеркнуто. Ну как вам нравится формулировочка, так сказать?

— Милый вы мой, людское невежество не может нравиться или не нравиться, — ответила Ольга Николаевна. — Для этого существуют иные определения. Да, ничто, к сожалению, не бывает столь бессильно перед серостью, как искусство.

— Извините за любопытство, что это хоть за такая музыка? Чисто по-соседски, так сказать...

— Мы с Никитой Афанасьевичем вообще любим хорошую музыку, — ответила с достоинством Ольга Николаевна. — Так что я затрудняюсь ответить на ваш вопрос.

— Понятно, понятно. Но, разумеется, исключительно классическую музыку?

— Да. Никита Афанасьевич не признает современной музыки. — Ольга Николаевна пожала плечами. — Я с ним не совсем согласна, современная музыка тоже бывает прекрасна. А вы приходите к нам в гости, вместе послушаем эту странную музыку, которая, увы, мешает людям отдыхать.

— Спасибо, — сказал Сергей Сергеевич. — Непременно как-нибудь зайду, непременно.

— Нет, нет, не надо заходить, — улыбнулась она. — Вы приходите в гости, как это умели делать прежде. Теперь всё больше именно заходят, заглядывают, забегают на пару минут... — Она вздохнула. — Все спешат куда-то, все заняты...

— Хорошо, я приду к вам в гости и обязательно забуду дома часы.

— Будет очень мило с вашей стороны.

«Этого только и не хватало», — подумал Никита Афанасьевич, не без интереса, впрочем, следивший за их беседой.

— Коли уж разговор у нас повернулся таким образом, — сказал Сергей Сергеевич, — по-хорошему, по-соседски, так сказать, то у меня к вам, Ольга Николаевна, есть небольшая просьба...

— Я вас слушаю.

— Вы, с вашим богатым жизненным опытом, со своими глубокими знаниями мировой, так сказать, культуры, могли бы нам очень помочь...

— Интересно, кому именно и чем я могу помочь? — удивилась Ольга Николаевна.

— У нас в жилконторе еженедельно проводятся лекции по самому широкому, так сказать, кругу вопросов, — сказал Сергей Сергеевич, — и вы, Ольга Николаевна, в свою очередь...

— Боюсь, что нет, дорогой Сергей Сергеевич.

— Почему же?

— Понимаете, когда-то я много занималась подобной работой. Тогда это называлось культпросвет. Читала лекции... Боже мой, где я только не читала! Вела кружки. Одно время была главным режиссером народного театра! И поверьте, все это было интересно, но и очень, очень трудно. Не знаю, как у меня хватало сил и энергии, а ведь я была чуточку моложе, — улыбнулась Ольга Николаевна. — А сейчас, увы, у меня просто нет сил. Но за доверие вам спасибо, оно дорого стоит. И пожалуйста, извините нас, мы торопимся.

— Что вы, что вы! — воскликнул Сергей Сергеевич. — Это вы меня извините, что задержал вас. И на эту жалобу не обращайтесь внимания, люди разные бывают.

— К сожалению, — кивнула Ольга Николаевна, прощаясь.

— И подумайте все же над моим предложением! —

крикнул вслед Сергей Сергеевич. — Вдруг да покажется возможным...

— Какой, однако, неинтеллигентный человек, — проворчал Никита Афанасьевич.

Никита Афанасьевич составил список необходимых на сегодня покупок и стал собираться в магазин. Часы пробили половину второго. «Не успею до обеда», — огорченно подумал он и засуетился, отыскивая то, что заранее положил на видное место.

— Никита! — позвала Ольга Николаевна из комнаты. — Никита, иди сюда.

— Да, Оленька, что ты хотела?

Он вошел в комнату, всем своим видом показывая нетерпение. Но Ольга Николаевна как будто не замечала этого.

— Никита, сейчас я покажу тебе, что я придумала! — торжественно сказала она.

— Оля... — слабо улыбнулся он. — Мне ведь пора в магазин.

— Никуда не убежит твой магазин. Садись.

Он послушно сел, решив, что действительно магазин не убежит. Вполне можно сходить и после обеденного перерыва. Люди еще не вернутся с работы, так что народу не будет много.

— Вот смотри, — Ольга Николаевна протянула руку, показывая на старинное бюро, стоящее в промежутке между книжным шкафом и дверью. — Его мы поставим в другое место.

— Но зачем, Оля? — Никита Афанасьевич огляделся, прикидывая, куда можно было втиснуть бюро.

— Потом разберемся. Я тебя не для этого позвала, — с досадой проговорила Ольга Николаевна.

— Да, да, — пробормотал он и приготовился слушать.

— Бюро мы отсюда уберем, — продолжала она, — а на этом месте... На этом месте у нас будет очаг!

— Очаг?

— Ну да, очаг. Мне кажется, Никита, это именно то, чего нам не хватало. Ведь очаг согревает дом...

— У тебя уже есть определенный план? — осторожно спросил Никита Афанасьевич, не очень-то хорошо понимая, что придумала жена.

— Какой ты, право, — поморщилась Ольга Николаевна. — Это не главное. В конце концов, можно купить

электрокамин — их, кажется, продают, — и я разрисую его. Важен сам факт, а ты вечно придаешь слишком большое значение второстепенным пустякам.

— Наверное, ты права, — согласился Никита Афанасьевич.

— Почему ты всегда говоришь «наверное», если я просто права? — недовольно сказала Ольга Николаевна. — Ступай в магазин.

— Уже поздно, Оленька. Теперь пойду после обеда.

— Чего же ты тогда сидел? — удивленно спросила она.

— Давай выпьем кофе, — предложил он. — Я сейчас подогрею.

Они выпили оставшийся от завтрака кофе, посидели молча возле окна, Никита Афанасьевич помыл чашки и отправился наконец в магазин.

Оставшись одна, Ольга Николаевна принялась было за эскиз очага, однако это скоро наскучило ей. Откинувшись в кресле, она глубоко задумалась, перебирая, как четки, бусы. Мысли ее не имели ни начала, ни конца, они кружили в голове затейливый хоровод, вызывая в памяти далекие, почти неосознаваемые образы, выдавая за действительное застарелые, полузабытые мечты...

Одиночество ничуть не угнетало Ольгу Николаевну, напротив, она любила оставаться одна, чтобы, сбросив, как ненужную оболочку, тягостную атмосферу прожитых лет, унести в мир воспоминаний, в мир, созданный ее воображением. Такие минуты снова, как будто впервые, дарили ей чью-то улыбку, первое смущение и первый поцелуй.

Часы пробили половину третьего. Ольга Николаевна нахмурилась. Она не любила эти часы, которые с бесцеремонной педантичностью хоронят под свой тоскливый бой каждые полчаса. Она бы с удовольствием продала их или даже просто подарила бы кому-нибудь, но это часы ее матери, и Ольга Николаевна хорошо помнила, как нравилось матери провожать время под глубокий, красивый бой любимых часов. Мать очень рано умерла...

Тяжело поднявшись с кресла, Ольга Николаевна прошла по комнате, касаясь кончиками пальцев каждой вещи, словно лаская их. Подошла к окну и долго смотрела на аллею, где они с Никитой Афанасьевичем гуляют по утрам. Отсюда, с высоты девятого этажа, ал-

лея кажется чистенькой, опрятной, точно на рекламной открытке...

А Никита Афанасьевич тем временем спешил в магазин. От дома до магазина вела асфальтированная, угнетающе прямая дорога. Скучно было ходить по ней, однако Никита Афанасьевич никогда не сворачивал на тропку между домами, предпочитая дорогу, которая затем ведь и существует, чтобы по ней ходили. Затея жены не давала ему покоя. Безусловно, электрокамин им не подходит. Как бы ни разрисовала его Ольга Николаевна, он останется тем, что он есть, — это не полуфабрикат, а готовая вещь. Надо придумать что-то другое. Но что?..

В магазине Никита Афанасьевич долго ходил от прилавка к прилавку, подсчитывая, во что ему обойдутся сегодняшние самые необходимые покупки. Он всегда сначала подсчитывал стоимость покупок с точностью до копейки, а после уже шел в кассу. Был ли он скуп? Нет, пожалуй. Просто, выросший в семье, где каждая копейка была на строгом учете, он с малых лет приучился к бережливости. Годы и женитьба на Ольге Николаевне укрепили в нем эту привычку считать деньги, расходовать их экономно, «с умом». До сих пор он с болью, правда теперь уже смешанной с какой-то светлой грустью, вспоминает, как давным-давно, когда были они с женой еще молодые, перепугался чуть не до смерти, обнаружив, что пропали деньги. Все наличные деньги, какие были в доме. Он решил, что потерял их. Им попросту нечего было есть. Как он казнил себя!.. А спустя несколько часов в комнату буквально ворвалась возбужденная, счастливая Ольга Николаевна, сняла берет, тряхнула густыми черными волосами и, лукаво посмотрев на Никиту Афанасьевича, с торжественным видом протянула ему две потрепанные книжки...

— Посмотри, что я достала! — провозгласила она. Заметив на его лице испуг, пролепетала: — Ты не рад, Никита?

Тогда, помнится, он сделал поистине героическое усилие, чтобы вместе с женой порадоваться книжкам, на которые она истратила все деньги, теперь же, получая от кассирши сдачу, постарался скрыть невольную улыбку.

По дороге домой его осенило. Ну конечно же, и как только он сразу не подумал об этом! Очаг надо сделать

из папье-маше, создав иллюзию каменной кладки. Можно даже купить в комиссионном магазине красивую бронзовую решетку, он как-то видел такую. Никита Афанасьевич аж раскраснелся от предвкушения приятных хлопот и от того еще, что все это он сейчас расскажет Ольге Николаевне.

А она спала, и он решил не будить ее, оставив на потом приятную новость, хоть и не терпелось ему поделиться своей радостью. А более того ему не терпелось увидеть поскорее, как запляшут в очаге веселые языки пламени, водворенные туда рукою жены. Все-таки она была неплохим художником.

Лишь вечером, за ужином, ему удалось сообщить Ольге Николаевне о своей задумке.

— Ну что ж, — неопределенно кивнула она, — в этом что-то есть. Довольно даже забавная мысль, Никита.

Ее реакция несколько обидела Никиту Афанасьевича. Однако он успокоил себя тем, что это еще только слова. Другое дело, когда их очаг будет готов...

К работе он приступил на следующий день, после утренней прогулки. Трудился, не щадя своих старых костей, забыв, кажется, обо всем на свете. Для него очаг был делом первостепенной важности. Скоро основа очага была готова и потихоньку подсыхала себе, а Никита Афанасьевич, скромно удалясь на кухню, сидел за чистым обеденным столом и пил желудевый кофе, в который раз радуясь, что запасся им впрок.

Ольга Николаевна, поигрывая карандашом, разглядывала работу мужа.

«Так вот он какой», — думала она, испытывая весьма противоречивые чувства. Тут была и гордость за умелые руки мужа, но было и уязвленное самолюбие. Ведь не она, против всякой, кажется, логики, придумала это, не она. Ей, человеку со вкусом и опытом, художнику, пришла в голову мысль купить пошлый ширпотребовский электрокамин, а муж догадался сотворить очаг... Может, она вообще недооценивала его? Да нет, ерунда это, просто у нее не было времени подумать. Вернее, она не занялась этим вплотную, только высказала идею, заключила Ольга Николаевна, успокаиваясь.

А Никита Афанасьевич чувствовал себя именинником. «Смотрит, — думал он с нежностью. — Понравилось ли?..» И легкая тучка тревоги на мгновение омрачала его радость. «Да уж, наверное, понравилось, —

отгонял он непрошеную тревогу. — А если что и не так, Оля поправит».

В отличие от него Ольга Николаевна понимала, что самая важная, самая сложная работа уже сделана, и ее, напротив, брало сомнение: не испортит ли она так прихотливо сотворенного мужем? Ну нет! Она еще покажет, на что способна. И взяла кисти...

— Никита! — позвала наконец Ольга Николаевна, любясь готовым очагом. Настроение теперь у нее было превосходное, она и не предполагала, что получится так здорово. К тому же ей вполне удалось убедить себя, что главная заслуга принадлежит все же ей. Ведь это она вдохнула в очаг жизнь. — Никита! — снова позвала она.

— Иду, иду, — отозвался Никита Афанасьевич. Он вошел в комнату, вытирая руки кухонным полотенцем.

— Взгляни, — сказала Ольга Николаевна.

— Оля! Ты просто волшебница!

— Ха! — Она повела кокетливо плечами. — Слушай, Никита, давай пригласим нашего очаровательного Сергея Сергеевича.

Никита Афанасьевич нахмурился.

— Не будь такой букой, — урезонила его Ольга Николаевна. — Он тебе не нравится? Ну и что с того?.. Люди не обязаны нравиться всем. Пригласи его, я хочу.

— Хорошо, — без особого энтузиазма согласился Никита Афанасьевич.

— Вот и чудно. Скоро твой очаг будет совсем готов, и тогда мы пригласим много гостей.

— Это твой очаг, Оля.

— Не будем спорить, — улыбнулась она.

Они с нетерпением ждали назначенного дня. Оба не любили спонтанных вечеринок и всегда предупреждали гостей заранее. Сосед, разумеется, исключения не составлял.

И наконец этот день наступил.

Ольга Николаевна соорудила немыслимую прическу, вообще принарядилась по такому торжественному случаю. Никита Афанасьевич не сводил с жены глаз. Он никак не мог понять, за что же ему так повезло в жизни?.. Труднее всего пришлось с туфлями. Ольга Николаевна непременно хотела надеть модельные туфли.

Понимая, что сказать ей: «Это невозможно, Оленька» — значило бы попросту обидеть жену, Никита Афанасьевич взялся помочь. В конце концов туфли удалось натянуть на ноги, и Ольга Николаевна сказала, что теперь она не встанет с места до прихода гостей. И после тоже не встанет.

— Хорошо, Оля, хорошо, — соглашался Никита Афанасьевич, избегая недовольства жены.

Пришли друзья Ольги Николаевны, пожилая пара с внуком. Никита Афанасьевич тут же усадил их возле очага. Ему не терпелось увидеть, какой эффект произведет на гостей их с женой творение. Поэтому, не дожидаясь прихода Сергея Сергеевича, он погасил верхний свет, зажег свечи и, поставив пластинку, тоже сел, потихоньку наблюдая за гостями.

Все молчали. Старики были просто потрясены, им не верилось, что такой замечательный очаг — дело их собственных рук. О чем думали гости — неизвестно, но вид у них был самый торжественный. Лишь мальчику не сиделось спокойно, и он ерзал на стуле, привлекая тревожное внимание своей бабушки.

— Тетя Оля, — не выдержал он наконец. — А что это мы все сидим молча? Сегодня день чьей-то смерти?

Ольга Николаевна рассмеялась. По ее примеру, правда натянуто, рассмеялись и гости. Однако Никита Афанасьевич не разделял веселья жены.

— А тебе разве не интересно смотреть на огонь? — сурово спросил он мальчика.

— Так он же нарисованный! — удивился тот.

— Нарисованный?.. — недовольно проговорил Никита Афанасьевич. Он сейчас не понимал юмора и чуть было не вступил в спор даже с таким маленьким критиком.

Положение спасла Ольга Николаевна.

— А ты не думай, что он нарисованный, — сказала она с мягкой улыбкой. — Ты представь себе, что он настоящий. Представь хоть на минутку... Представь, что на улице зима, мороз, и тогда этот нарисованный огонь согреет твою душу. В конечном счете, это главное, молодой человек, — заключила она и, устроившись поудобнее в своем глубоком кресле, закрыла глаза. На лице ее блуждала счастливая улыбка.

Мальчик выслушал Ольгу Николаевну, пожал плечами и тоже закрыл глаза. Его бабушка, незаметно ткнув локтем задремавшего супруга, показала на внука.

— Замечательно, — прошептал тот, явно не понимая в чем дело.

От Никиты Афанасьевича не укрылось ничто.

— Если не возражаете, я принесу чай, — предложил он, поднимаясь со стула.

— Да, да, Никита! — обрадованно воскликнула Ольга Николаевна. — И не забудь варенье.

— Хорошо.

«Что-то не идет сосед, — думал он, раскладывая варенье в розетки. — Какой все-таки необязательный, неинтеллигентный человек». Он был сейчас недоволен необязательностью Сергея Сергеевича, хотя более всего хотел, чтобы сосед не приходил вообще.

Вечер складывался совсем не так, как надеялся Никита Афанасьевич. Но, махнув в конце концов на все рукой, он отправился с подносом в комнату.

— Никита Афанасьевич, дорогой, — обратилась к нему гостья, изобразив подобие улыбки на невыразительном лице. — Поставьте нам, пожалуйста, Гайдна. Ольга Николаевна говорит, что у вас богатая коллекция Гайдна.

— Да, мы с Олей любим Гайдна, — чуть громче, чем была в том необходимость, подтвердил Никита Афанасьевич. Ему не понравилось слово «коллекция», он вообще не любил его.

— О, и я безумно люблю Гайдна! Последний из представителей старой венской школы. В нем есть нечто такое...

— Вы правы, — подхватила Ольга Николаевна. — Последний венский старик! В его музыке милая, старая, смешно напыщенная Европа. Все то, что, увы, кануло в прошлое.

— А мы сейчас проходим Баха, — сказал мальчик чтобы не остаться незамеченным.

— Тебе нравится Бах? — спросила Ольга Николаевна.

— Вова у нас учится в музыкальной школе, — повернувшись к Никите Афанасьевичу, пояснила гостья. — Уже в третьем классе.

— Бах — мой любимый композитор, — сказал мальчик с восторгом в голосе.

— Ну что ж, он развивает пальцы, — с явным пренебрежением заметила его бабушка. Но, встретив удивленный взгляд Ольги Николаевны, поспешила добавить. — Не спорю, Бах — талантливый музыкант, мо-

жет быть даже гениальный, но мне он решительно не нравится. По-моему, его музыка слишком национальна и несколько примитивна для уха.

— Тетя Оля, можно, я сыграю на вашем клавишине? — горячо воскликнул мальчик, слезая со стула. — Пусть бабушка...

— Увы, мой мальчик, — грустно сказала Ольга Николаевна, — он давно уже не играет. Это очень старый клавишник, он ровесник... — Она задумалась, пытаюсь сообразить, чей же ровесник этот старый-престарый клавишник.

— Жалко, — вздохнул мальчик с сожалением. — Я бы сейчас сыграл вам Баха, и тогда... — Он посмотрел выразительно на бабушку, а она нахмурилась и недовольно проговорила:

— Нельзя быть таким назойливым. Слушай лучше музыку.

Мальчик уселся на свой стул и принял скучающий вид.

Вскоре гости откланялись, поблагодарив хозяев за сердечный прием и за прекрасное варенье.

Никита Афанасьевич возился на кухне, а Ольга Николаевна неподвижно сидела в кресле, похожая на роскошно одетый манекен. «Интересно, почему же не пришел Сергей Сергеевич», — подумала она как-то отрешенно, безразлично. И позвала мужа:

— Никита!

— Да, Оля?

— Никита, помоги мне снять туфли. Я что-то устала и скверно себя чувствую.

— Оленька, сколько раз я говорил тебе, что нам совсем ни к чему эти чаепития! — не сдержался Никита Афанасьевич. — Тебе после этих вечеринок всегда бывает дурно.

— Но зачем ты все это говоришь? — спокойно произнесла она. — Ведь мне после твоих слов не станет лучше.

— Прости, Оленька, — пробормотал он, опускаясь на колени, чтобы снять туфли.

А утром Ольга Николаевна не проснулась...

Прошли сорок дней.

Шли затяжные осенние дожди, и день за днем тянулись вереницей серых, непривлекательных будней. Уже

пропали в городе так любимые Ольгой Николаевной дыни, повсюду рекламировали белокочанную капусту.

Никита Афанасьевич постепенно свыкся с мыслью, что Ольги Николаевны нет и никогда больше не будет. Лишь иногда по утрам, забывшись, он накрывал стол на двоих и садился на диванчик возле стола ждать жену. А по вечерам, одевшись потеплее, он тихо сидел у их очага и смотрел, смотрел на нарисованный огонь.

Давно он не открывал никому дверь. Да и кто мог прийти к нему? Друзья Ольги Николаевны? Но зачем ему теперь эти чужие для него люди, которых он по-настоящему и не знал никогда? И он им тоже не нужен. Им была нужна Ольга Николаевна. Пенсию свою он получает на почте, а собственными друзьями не обзавелся.

Он сидел у очага и в который раз возвращался мысленно к тому памяtnому утру, когда Ольге Николаевне вдруг захотелось в Павловск. «Потом она сказала: „Я кое-что придумала”», — вспоминал Никита Афанасьевич. Это «кое-что» они превратили в очаг, которым она так недолго полюбовалась...

В дверь позвонили. Никита Афанасьевич не шелкнулся. Он подумал, что кто-то ошибся. Однако звонили настойчиво, долго, и он, поднявшись и недовольно бурча, пошел открывать дверь.

На пороге стоял Сергей Сергеевич.

— Здравствуйте, — сказал он. — К вам можно?

— Проходите, — неохотно пригласил Никита Афанасьевич. А когда сосед вошел в прихожую, потирая ладони, то почувствовал, что рад этому человеку. — Может, чайку? — сказал он.

— С удовольствием, Никита Афанасьевич. С большим, так сказать, удовольствием. На улице жуткая холодина! — Он улыбнулся. — Но учтите, я не на минутку зашел. Где у вас можно присесть?

Никита Афанасьевич открыл дверь в комнату, они вошли и сели напротив очага. Сергей Сергеевич, зябко поежившись, протянул руки к нарисованному огню.

— А греет ведь, а?! — сказал он и, покачав головой, добавил: — Мастерница она у вас была, художник. В высшем, так сказать, понятии.

Нужно было что-то сказать в ответ, но Никита Афанасьевич не находил слов.

— Я сейчас, — выдавил он наконец. — Чаю принесу, я быстро...

**БРОНЯ
КРЕПКА**  **Николай
Шадронов**
рассказ

Мы с ним жили когда-то в заводском общежитии, еще в старом здании на берегу залива, где теперь расположен заводской пляж. Его выписал какой-то родственник из самой глуши Псковской области, за ним и прозвище закрепилось: «Иван-скобарь».

Первое время он был немного пришибленный, всех беспричинно боялся, никому не смел возразить.

— Эй, Иван, принеси водички! — кричал какой-нибудь шустрый практикант-пэтэушник. Иван покорно нес воду. — Эй, Иван, сходи в лабаз! — Иван безропотно шел в магазин.

Единственно, в чем он проявлял твердость: никому никогда не давал денег, ни до аванса, ни до полочки, ни малой суммы, ни большой. За это его особенно не любили, потому что жили в общежитии люди в основном молодые, не умеющие распределять зарплату отсель досель.

А денежки у Ивана водились, так как он был прирожденным «пахарем»: не гнушался никакой работы, никогда не отказывался вечерить. Работал он на пружинном участке, вместе со своим напарником-выпивохой, у которого учился пружинному ремеслу. Участок считался вредным, работа тяжелой, соответственно она и оплачивалась. Кроме того, в быту Иван жестоко экономил. Он не пил, не курил, не ходил по столовым.

Общежитие у нас было смешанным. В одном коридоре жили парни, в другом — девушки, а кухня была одна — общая.

И вот Иван, единственный из нас, на кухне среди девушек готовил себе еду. Впрочем, пища его не отличалась разнообразием. Зимой он ел пельмени, которые тогда не были дефицитом. Осенью — помидоры, когда

помидоры предельно дешевели. А в остальное время готовил концентраты — благословенные супы в пачках, названные за содержание и наружный рисунок «Рогами и копытами». Обнов он себе тоже почти не покупал, ходил в основном в спецовке, выданной на работе. На женщин не тратился, поскольку общался с ними разве что у кухонной плиты. Да и трудно представить себе женщину, способную увлечься молодым человеком, гуляющим даже в праздники в фуфайке, полученной бесплатно в заводской кладовой.

В цехе к Ивану относились хорошо, заметив его старательность. Однажды его напарник после получки «загудел», не выходя несколько дней на работу. Иван пошел к мастеру и заверил его, что на участке справится один, а напарника просил уволить.

Мастер доложил начальнику, начальник посоветовался с членами цехкома, и просьбу Ивана уважили. Через несколько месяцев фотография Ивана появилась на заводской Доске почета. В общежитии этот факт не изменил к нему отношения. Его по-прежнему шпыняли, посылали за вином в лабаз, обзывали скобарем и Плюшкиным. Естественно, Иван и сам терпеть не мог общежитие. Все свободное время он проводил на улицах либо у своего земляка.

По роду работы он контактил с заводскими термистами. Бригадиром термистов был Иван земляк, член парткома, передовик производства, имевший машину и личный гараж. В этом-то гараже Иван и пропадал все вечера. Что-то там помогал делать своему земляку. Часто даже спал в гараже, предпочитая железный ящик благоустроенному общежитию.

Молодость беспощадна, в шутках безудержна. Мы смеялись над Иваном, над его бережливостью, нередко через край. Чтобы вдохновить скупердя на покупку пальто, мы сожгли его выдающую виды фуфайку в кочегарке общежития. Инициатива наша оказалась неожиданной по последствиям.

Заметил ли термист, что земляк бегаёт поздней осенью в легонькой куртке по городу, или Иван сам что рассказал, только подарил он Ивану тужурку со своего плеча, отличную флотскую тужурку с меховым воротником. Кроме того, он стал иногда подвозить Ивана с работы до общежития на своем «Жигуле».

В общем-то, от термиста мы впервые обо всем и узнали. Оказывается, у Ивана была хрустальная мечта,

точнее, жестко поставленная задача — купить машину. Такую же легковую машину, какая была у самого термиста или главного инженера. Ни больше, ни меньше. Мало того, он довольно преуспел в своем плане: имел значительную сумму на книжке, стоял близко в автомобильной очереди.

Для нас эта новость оказалась сенсационной, отношение к Ивану она в корне изменила. Шутка сказать, в общаге, среди людей, не имеющих ни кола ни двора, находится парень, замахивающийся сразу на легковой автомобиль... Было над чем подумать, особенно тем, для кого покупка костюма являлась головоломной проблемой. Мы как-то сразу зауважали Ивана. Из недоброжелателей превратились в активных болельщиков. Кто находил ему выгодную халтуру, кто помогал учиться на курсах шоферов. Он кончал курсы по путевке от завода, в вечернее, нерабочее время. У него туго шли правила уличного движения. И наши шоферы буквально вдавливали в него эти правила: рисовали схемы, объясняли на макетах, демонстрировали за баранкой на заводских машинах.

Всем почему-то хотелось видеть Ивана во всеоружии, когда он подкатит к общаге новенький автомобиль.

Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В один далеко не прекрасный для Ивана вечер он явился с работы пьяным. Рот его был раскрыт, глаза вылучены и бессмысленны. Связи с миром он уже не имел, на толчки не реагировал, не отвечал на вопросы.

Потолкав его из угла в угол, поведив по комнатам, мы уложили беднягу в кровать.

В тот день, оказывается, повысились цены на предметы роскоши, в том числе и на автомобили. И несколько дней Иван ходил вроде контуженного, потом постепенно начал приходить в себя. Даже окреп несколько характером. В речах его появился критический реализм.

— Смотри, смотри, — говорил он кому-нибудь из нас, кивая на поток машин, едущих на пляж, расположенный рядом с нашим зданием, — всё воры едут! Воры и взяточники!

— Почему же, — возражали ему, — есть и честные, не все владельцы машин воры.

— Все! Все! — убежденно говорил Иван. — Честному человеку машину купить не под силу.

Он и в общении с людьми изменился: обнаглел как-то враз. Теперь уже он кричал на мальчишек:

— Эй, Мишка, разогрей пельмени! А ну, Петька, сгоняй в лабаз!

Надо учесть, правда, что контингент жильцов к тому времени в общежитии изменился. Пэтэушники первых выпусков частично разбежались. Некоторые из нас получили квартиры, другие женились. Один Иван жил по-прежнему. О женитьбе он не помышлял, преследуя старую цель, не меняя планов. В армию его не брали из-за плоскостопия и пониженной кислотности желудка.

Выяснилось, что он обладал недюжинной физической силой. Особенно мощными у него были пальцы рук, развитые, вероятно, спецификой работы.

— Пружины вить — не блох ловить, — говаривал он частенько. — Тут нужна сила. — И щелкал в лоб какого-нибудь зазевавшегося практиканта-пэтэушника, после чего тот надолго впадал в шок, «кейфовал», по выражению Ивана.

Впрочем, и его положение вскоре изменилось. Ему, как лучшему работнику завода, дали квартиру. Произошло любопытное совпадение: термист получил квартиру в новом доме, Иван занял его старую площадь.

Кривотолков за этим никаких не последовало. Жил термист в пригороде, в старом доме-коттедже без удобств. На его жилплощадь никто и не зарился. Оставлял он Ивану большой огород, несколько сараев и утепленный свинарник. Первым делом Иван завел себе свинью. Не холодильник, не телевизор, а свинью. Кормить ее приспособился из портовых помоек.

Порт у нас расположен сразу за заводскими корпусами, примыкает к территории завода. И вот каждый вечер Иван после работы отправлялся в порт. В домике у «водяных»¹ брал тележку, оставленную там с утра, и объезжал мусорные баки, равномерно расставленные по акватории порта. Наполнив бочку пищевыми отходами, впрягался в лямку и ехал мимо проходных завода, мимо бесчисленных знакомых к железнодорожной платформе. Погрузившись с тележкой в тамбур электропоезда, проезжал одну остановку, выгружался и чапал к дому еще метров пятьсот.

¹ Персонал, обеспечивающий корабли водой.

Покормив свинью и поужинав, чистил хлев и ложился спать. Утром в четыре часа вставал, кормил свинью, завтракал, впрягался в тележку, проделывал обратный путь. Оставив тележку у «водяных», появлялся на территории завода. И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, меняя лишь тележку на санки в зимнее время. Деньги от продажи свиней он откладывал на книжку вместе с сэкономленной зарплатой.

Говорят, он еще дважды приближался к заветной цели и дважды повышались цены на предметы роскоши. Что при этом испытывал Иван, откатываясь назад, мы не знаем. Свидетелями не были. Встречать мы его встречали, но интерес к затянувшемуся марафону у нас пропал, выветрился. Лишь изредка кто-нибудь из нас его останавливал и спрашивал:

— Как жизнь?

— На троечку, — отвечал Иван, выпрягаясь из лямки.

— Почему на троечку, а не на пятерку или четверку?

— На пятерку живут те, кто имеет «Волгу». На четверку — у кого «Москвич» или «Запорожец», а мы на троечку.

— Как же тогда живут те, у кого «Чайка»?

— Ну ты хватил! — восклицал Иван. — Чайка над Волгой летает, до нее высоко. — И внезапно спрашивал: — Как ты думаешь, кто умнее — москвичи или ленинградцы?

— Москвичи, наверное, они в столице живут, привилегии имеют.

— Неправильно! — поправлял Иван. — Ленинградцы умнее. Если бы москвичи были умнее, они бы на ленинградцах ездили. А тут все наоборот. Смекаешь?

И, довольный эффектом, катил дальше.

Один наш товарищ по жизни в общежитии в прежние годы подыскал Ивану работу, хорошо оплачиваемую и не пыльную, — возить академика на роскошной «Волге».

На заводе его не увольняли, всячески задерживали, но Иван настоял на своем, познакомившись с условиями, предложенными академиком.

Этот академик жил в университетском городке, километрах в трех от жилья Ивана. Был он стар, плохо видел, но голову имел все еще боеспособную. В институте, который он возглавлял, заглазно его называли

«заслуженный тормоз прогресса», но увольнять не решались, учитывая прежние заслуги и связи в руководстве. Сам он уходить не собирался и власть держал крепко при помощи замов и помов. Единственно, с кем он не мог сладить, — с личными шоферами. Они у него менялись беспрерывно. Причина текучести была деликатной: страдал академик болезнью кишечника, а стекла в машине открывать не давал — сквозняков боялся. Мало кто мог выдержать такие условия.

Зарплату шоферу к описываемому времени довел академик до зарплаты шахтера, покрывая разницу из личных средств. Ивану, свидетелю своей немочи, он потакал безбожно. Машиной пользоваться разрешал, контролем никаким не ограничивал.

Расцвел Иван в тепличных условиях махровым цветом. Купил монгольскую куртку на молнии, таллинскую фуражку с лакированным козырьком. Все, как в лучших таксерских конторах... Скоро приспособил он «Волгу» и под свои нужды. Начал ездить на ней за свиным кормом.

Первое время черная «Волга» пугала матросов начальственным видом, загадочностью маршрута, но, присмотревшись, они увидели, что это все прежний Иван-помойщик объезжает помойки на новой тележке.

Теперь он держал уже три свиньи. Прожорливостью свиньи отличались необыкновенной. Приходилось гонять в порт машину, используя каждый благоприятный момент.

Емкие пищевые контейнеры, купленные в порту же, Иван заполнял объедками, выброшенными с кораблей, заталкивал их в багажник и ездил порой целый день с этим грузом, пока не удавалось отделаться от академика. Из зева багажника резко пахло, но престарелый ученый не обращал внимания на такие мелочи.

Через год с небольшим механизированного свинооткорма хрустальная мечта Ивана осуществилась. На его подворье появился новенький «Жигуль» карминного цвета. Уж и любил его Иван с самоотверженностью однолюба. Что-то там подвинчивал, подтягивал, мылил и тер до глубокой ночи. Боров, оставленный на откорм, но забытый Иваном, выл от ревности и озлобления.

Изменился Иван и характером не в лучшую сторону. Нас, старых товарищей по жизни в общежитии, перестал замечать. Дружил теперь только с владельцами автомобилей и нужными людьми.

Как-то погожим субботним вечером подъехал он к станции техобслуживания, где знакомый хапуга-слесарь обещал передать ему партию дефицитных свечей для «Жигуля». Свое карминное чудо он поставил на площадке станции, которая была пуста в тот момент.

Заплатив слесарю, он вышел за проходную и увидел, что на площадку на большой скорости въезжает оранжевый «Запорожец».

Сделав вираж на въезде, «Запорожец» устремился к машине Ивана, приняв ее, видимо, за очередную. На положенном месте он тормознул, но проехал юзом лишних полметра по какой-то смазке, разлитой под колесами.

Треска соприкосновения Иван не слышал. Сломая голову он бежал к своему детищу. Еще издали он понял, что катастрофы не случилось. Смяты были бампер и крышка багажника.

«Рублей на семьдесят, — прикинул он на бегу. — Надо содрать больше...»

Водитель «Запорожца», пожилой мужик, неуклюже вылезал из кабины. Ивана поразила улыбка на его лице. Какая-то саркастическая, ненормальная (наглая, как позднее определял ее Иван).

Нетвердо встав на ноги и не согнав улыбки, мужик блуждающей рукой начал расслаблять галстук.

— Пьяный! — мелькнуло в голове Ивана.

Волна ярости плеснула ему в мозг, гася разум. Не выпивший за жизнь и трех бутылок водки, он свирепо ненавидел пьяных.

— Ты что, алкашина гнусный, не видишь, куда едешь? Налил бельмы и прешь, как на буфет!

— Спокойно, — сказал мужик, одной рукой отстраняя Ивана, другой все еще теребя галстук. — Сейчас разберемся...

— Я тебе разберусь! — завопил Иван. — Я тебе потолкаюсь! — И, не размахиваясь, он ткнул мужика в челюсть.

Дальнейшее все оказалось каким-то кошмаром. Во рту мужика что-то хрустнуло после удара (это Иван слышал явственно), голова мотнулась... и на асфальт выпало две обоймы зубов, выгнутых полукругом. На ногах он устоял, слегка покачнувшись. Самое страшное, что улыбка не сошла с его лица, лишь само лицо пошло цветами побежалости.

Постояв несколько, мужик нагнулся, собрал зубы с асфальта, завернул их в платок и сказал шепеляво:

— Сейчас я научу тебя вежливости...

Иван встал в стойку, приготовился к защите.

Но мужик драться не стал, он шагнул к машине, открыл дверцу.

«Достанет ломик или разводной ключ», — подумал Иван и приготовился к бегу.

Ничего подобного не произошло: просто мужик влез за руль, как-то неестественно подтянув ноги, включил стартер, газ и стал пятиться назад, сначала медленно, потом быстрее.

Набрав дистанцию, он переключил скорость, сделал полукруг и ринулся на машину Ивана, стоящую теперь боком.

Самого удара Иван снова не увидел. В последний момент он в страхе закрыл глаза. Открыл их, когда «Запорожец» откатывался назад. А его «Жигуль»... его новенький ухоженный «Жигуль», отброшенный ударом к поребрику дороги, стоял с переломленным станом. Дверца была сорвана, крестовина салона ввалилась внутрь, крыша села.

«Как поганый гриб», — отрешенно подумал Иван, вспомнив почему-то в этот момент свою родину, детство и те тугие грибы-шары, растущие у железной дороги, по которым он любил хлопать ладонью сверху.

После удара такой гриб оседал, испускал бурый дым и больше ни на что не годился.

Владелец «Запорожца» между тем не счел наказание достаточным. Он еще раз сделал полукруг и снова устремился на бедный «Жигуль» уже спереди.

На этот раз Иван досмотрел все до конца. Он даже вздохнул с облегчением, когда увидел, что водитель жив, а его «Запорожец»... его гнусный толстокожий «Запорожец» остался на ходу.

«Будь все по-другому, — подумал он, — компенсацию за машину получать было бы не с кого».

Правда, вид у «Запорожца» был тоже плачевный: лобовые стекла высыпались, правый фонарь разбит, бампер изуродован. Но сам водитель машину вел твердо и даже помахал на прощание, уезжая со станции.

«Куда это он в таком виде?» — подумал Иван, провожая экзекутора взглядом и стараясь запомнить его номер.

Разбитую машину уже окружили случайные прохо-

жие, работники станции, мальчишки. Все охали, ахали, выражали сочувствие владельцу, обсуждали боевые качества «Запорожца».

— Будь у него мотор не сзади, — говорил знакомый слесарь, только что продавший свечи Ивану, — ему бы отсюда не уехать.

— Шкура у «Запорожца» толще, — говорил другой, — не то что у этой консервной банки... — и показывал на красную грудь металла, бывшую недавно красавцем «Жигулем».

Подъехали две машины с милицией, растолкали зевак; начались замеры, расспросы, осмотры.

Что-то Иван отвечал, что-то показывал, но был, как он потом признался, в отключенном состоянии, как бы на холостом ходу. Включился уже в милиции, где уточняли детали автодорожного происшествия.

Дежурный капитан-гаишник, хорошо знавший Ивана, долго и с любопытством рассматривал его.

— Во дает! — сказал он наконец. — Ты хоть знаешь, кого ударил? Дубина стоеросовая!

— Ударил и ударил... — забубнил Иван, — какая разница. Он первый начал меня толкать и надо мной смеяться.

— Есть разница, — сказал капитан. — Не ударь ты его, не распускай рук — за ремонт ты бы все получил сполна. А теперь получишь сполна по уголовному кодексу. И не толкал он тебя — есть свидетели. И не смеялся над тобой, это у него гримаса от перетянутой кожи. И зубы у него вставные, и ноги. Только нервы не вставные — не выдержали.

— Так он инвалид? — догадался кое-как Иван. — Не пьяный?

— Не пьяный, не пьяный. Не надейся. Экспертиза установила. Инвалид войны. Герой Курской битвы. И капитан назвал фамилию, широко известную в бронетанковых кругах, но не известную Ивану.

Плохо соображая, Иван встал и на несгибающихся, ватных ногах пошел к выходу. После его ухода капитан помолчал, потом приказал сержанту, сидевшему без дела на диване в кожаных штанах:

— Сходи проводи беднягу. Довези его до дому. Видишь, человек в шоке. Не дай бог, попадет под транспорт.

— Есть, — сказал сержант. — Все понял. — И побежал догонять Ивана.

**ДОРОГАЯ
РАБОЧАЯ
СИЛА**



Сергей
Янсон

повесть

Жена разбудила Павлова в половине шестого утра. Павлов помнил, что сегодня суббота, и попытался отогнать Веру ногой.

— Ты забыл, куда собирался? Или ты думаешь, что все это мне нужно! — говорила она.

Все это действительно нужно было жене. Вчера в гости приходила ее приятельница Эмма с другом. Друг Эммы — Сорокин работал грузчиком в трансгентстве на перевозках мебели населению. Одет он был до неприличия модно, весь вечер не без успеха ухаживал за хозяйкой и рассказывал, как много зарабатывает. Когда же Эмма намекнула, что пора домой, Сорокин по-тихому занял у Павлова десять рублей, сбегал за шампанским, чем окончательно покорила Веру, и пригласил хозяина в субботу подзаработать.

Вера сразу же согласилась, сказав Павлову:

— Это тебе будет полезно.

Чувствуя непонятную робость, Павлов согласился. Хотелось выглядеть настоящим мужчиной.

В общем-то, зарабатывал Павлов неплохо по меркам молодого научного работника. К тому же готовил кандидатскую по упругим пластмассам, но, к сожалению, мерки эти были хороши лишь для него самого. Жена в них не умещалась. Она ежедневно что-то покупала, продавала, устраивала.

Вера попала в этот город из приволжского села. Она еще не успела растерять все то хорошее, что дала ей деревенская жизнь, — умело вела хозяйство, любила принимать гостей, вкусно готовила, но уже успела впитать все то плохое, что предложил ей город. Была Вера женщиной крупной, фигуристой, сильной характером, и мужчины ей нравились сильные, но жить она могла только с таким, как Павлов. Муж ей нужен был в под-

чинение. Детей у Павловых, несмотря на два года совместной жизни, не было. Это не очень пока беспокоило их самих, но уже давно волновало окружающих.

Вчера вечером погрузка-разгрузка шкафов и пианино была далека, как старость в шестнадцать лет, но сегодня, в половине шестого утра, она приняла очертания угрожающие. Павлов встал, умылся, машинально проглотил яичницу, влез в десятилетней давности брюки и вышел на улицу.

Утро выдалось красивое, летнее. На улице было тихо, чисто, свежо. Павлов даже повеселел и по дороге к агентству стал подсчитывать, сколько можно будет из заработанных денег оставить себе.

Бригадир грузчиков из трансгентства Валера Прокушев уверенно вышел на сцену. Встал к микрофону. Зал затих. Надо было что-то говорить людям. И тут Прокушев испугался. Ведь люди звали его, ждали, а что он им может предложить? Ведь он не поэт, не писатель, не артист. Да и вообще кто он такой? Прокушев задумался. Вспомнил, что в школе у него была пятерка по рисованию, но ведь это сейчас не нужно. Пот застилал глаза, рубашка прилипла к спине, почему-то светили руки. Зал ждал.

Вдруг Прокушева осенило: деньги! Ведь у него же много денег!

— Смотрите! — крикнул он в зал и полез в карман, но из кармана достал колоду карт.

Зал ждал.

В другом кармане тоже были карты. И в третьем. Прокушев доставал новые и новые колоды. Зал ждал. Карты сыпались на пол, их становилось все больше и больше... Прокушев вяло улыбнулся, потрогал микрофон и бросился бежать со сцены. Он бежал, а сцена не кончалась. Прокушев увидел отца и остановился.

— Сколько раз тебе говорить, чтобы ты ел с хлебом, — сказал отец укоризненно.

Прокушеву захотелось подойти к нему, заплакать, спрятать лицо и не видеть ни зала, ни сцены, но отец вдруг превратился в Вову Круминьша, грузчика из его бригады, и обаятельно улыбнулся.

Сон кончился.

Прокушев поднял голову, огляделся в темноте, тяжело вздохнул.

— Идиотизм! — пробормотал он.

Почти тут же деликатно затрещал маленький будильник. Прокушев встал и первым делом слазил в карман пиджака. Деньги были на месте. Еще раз удивившись собственному сну, Прокушев пошел умываться.

Когда Валера Прокушев, высокий, сильный, молодой, появлялся в какой-нибудь незнакомой компании, его обязательно спрашивали, не играл ли он в баскетбол. А в конце вечера так же обязательно задавали вопрос: не учился ли он в университете?

Прокушев закончил другое высшее учебное заведение — Институт физкультуры. А в баскетбол он играл с десяти лет. Тогда в школу на урок физкультуры пришел мрачный мужчина с ленивыми глазами, построил класс по росту и первым пятерым велел явиться на следующий день к нему на тренировку. Мужчина работал «тренером по детям», как он представился, в Институте физической культуры.

Дома Валера с испугом сообщил, что его записали в баскетбол, но отец сказал, что это прямая дорога к высшему образованию, и Прокушев-младший успокоился.

Тренировался и играл Валера с усердием. А после школы поступил в ставший уже родным Институт физкультуры. Вступительные экзамены он сдавал легко: Билеты попадались нетрудные, а преподаватели — улыбчивые. Особенно запомнился один, по математике, высокий и угловатый, как знак корня. Когда Прокушев рассказывал о свойствах степени с рациональными показателями, улыбка у математика была такая, словно он слушал неприличный анекдот при женщинах.

Группа на отделении баскетбола подобралась веселая. Вместе с новыми товарищами Прокушев начал осторожно прогуливать лекции, ездил в общежитие Института культуры к будущим работницам культурно-массовых отделов и библиотек, попробовал вино, но пить ему не понравилось.

Ко второму курсу Прокушев стал понимать, что большим спортсменом он не будет, но в это же самое время он понял, что играть и в обычной институтской команде не так уж плохо. Это случилось после того, как отец продал куртку, которую Прокушев привез из Венгрии. Все деньги отец отдал сыну, и было их много. Прокушев заметил, что не только за границей, но и в каждом из городов, куда он ездил с командой, продается что-то такое, чего нет в других, и по мере сил стал выполнять

функции Министерства торговли. Естественно, с некоторой пользой для себя. С товарищей по группе Прокушев лишних денег не брал. Товарищи хлопали его по плечу, обещали поставить пива и забывали об этом.

А в конце второго курса вся группа отмечала начало весенней сессии в общежитии института. Девушек в компании не оказалось, и поэтому через некоторое время решили походить по перилам балкона. Прокушев был против, он боялся высоты, но коллектив настоял. Кончилось все тем, что студент Тюменев упал с четвертого этажа в кусты сирени. Серьезных телесных повреждений студент не получил, но его, падающего, заметил комендант. Доложил ректору. На собрании курса все дружно вспомнили, что это Прокушев предложил отметить начало сессии, и потребовали очистить институт от нарушителей дисциплины.

После собрания товарищи по группе подходили к растерянному Валере, хлопали по плечу и говорили:

— Пойми, старик...

Хотя понять Прокушев ничего не мог.

Группа дала ему массу полезных советов: куда сходить покаяться, пожаловаться, объяснить, и каждый в отдельности добавлял:

— Умей крутиться!

Дома отец усадил несчастного Прокушева за стол, накормил, дал выпить водки и сказал:

— Сынок, потерять веру в людей — еще не самое страшное в жизни.

Отец ходил к ректору, позвонил друзьям, и дело ограничилось выговором. Товарищи по группе искренне радовались, что все кончилось хорошо, а обиженный Прокушев продал студенту Тюменеву втридорога поношенные сапоги.

Когда Прокушев заканчивал писать диплом, отец женился. Мачеха была на три года старше Валеры и называла его Валериком.

— Валерик, — говорила она, — вынеси ведро.

Или:

— Валерик! Почему ты не убрал за собой посуду?

Прокушев сам предложил мачехе обменяться жилплощадью и переехал в ее комнату в густонаселенной коммунальной квартире. Вскоре отец тяжело заболел. Утешая молодую жену и взрослого сына, он говорил:

— Ничего. Смерть — это еще не самое страшное в жизни.

Мачеха плакала и говорила, что этого не перенесет.

Примерно в это же время Прокушев ушел из команды. В игре вывихнул ногу, не тренировался больше месяца. У него разладился бросок и появилась одышка.

— Старик, — сказал тренер Прокушеву, — ты пойми и не обижайся... У меня ведь команда, а не дом престарелых.

На этот раз Валера понял. Кончилась игра, кончились доходы. Куртки на Прокушеве протерлись, ботинки износились. Можно было, конечно, купить себе что-нибудь в магазине, но Валера привык одеваться удобно.

Отца хоронили в яркий осенний день. Дорожки были сухие, будто к случаю засыпанные чистыми желтыми листьями, над могилами недвижимо стояли высокие осины и вязы, мягко светило солнце, и было бы на кладбище даже красиво, если бы не чернела в конце тропинки рваной раной на золотистом поле листы могила, если бы не скрипел гроб на носилках, если бы не похороны отца.

Народу пришло много. Друзья отца подходили к Валере, с сочувствием жали руку и совали ему в нагрудный карман пиджака свои визитные карточки. Когда открыли гроб для прощания, многие стали говорить хорошие слова о покойном. Но Валера, даже если бы собрался и стал их слушать, все равно бы ничего не услышал, потому что рядом без перерыва громко рыдала молодая вдова.

Прокушев стоял, еле сдерживаясь, чтобы не завывать, смотрел на бледного с провалившимися щеками человека в гробу, и ему казалось, что сейчас подойдет настоящий отец и весело скажет:

— Ничего, сынок. Похороны — еще не самое страшное в жизни.

Когда через день Прокушев зашел к мачехе спросить, не нужно ли чего, та открыла дверь на цепочке и громко поздоровалась:

— Только через суд!

Дверь захлопнулась, и больше в этом доме Прокушев не бывал. Потом был диплом и распределение. Валера воспользовался одной из визитных карточек. Его устроили преподавателем физического воспитания в Институт культуры.

Женщины любили молодого педагога. Они видели в Прокушеве человека с будущим, который временно испытывает финансовые затруднения. Веря в это буду-

щее, женщины помогали ему. Валера не отказывался, был со всеми ласков и внимательно смотрел всем в глаза.

Прокушев был уверен, что настанет время и он со всеми сполна рассчитается. А пока, кроме унаследованной от отца присказки с неизменной второй частью, у него действительно ничего не было.

— Братъ у женщин взаимны,— говорил он себе,— еще не самое страшное в жизни.

Женщины считали его бескорыстным человеком.

Однажды девушка по имени Лариса пригласила Прокушева в ресторан. Валера, как обычно, внимательно посмотрел ей в глаза и сказал, что в настоящий момент летит в маленькую финансовую пропасть. На что девушка ответила, что постарается его спасти.

В ресторане к ним за столик подсели двое парней. Они были одеты так же, как Прокушев, только во все новое. Ребята смело заказывали закуски и пили коньяк из фужеров. Оказалось, гуляли грузчики из транс-агентства. Им очень понравились и Лариса и Прокушев. А один из грузчиков сказал, что может помочь Валере устроиться к ним на работу, только нужно поговорить с глазу на глаз. Для разговора взяли еще коньяку, а чтобы спутница не мешала, Прокушев сказал:

— Лариса — это чайка по-гречески, а чайка должна быть свободной.

Лариса сначала сделала вид, что ничего не поняла, потом, — что обиделась. Потом, сказав, что все ей противно, ушла со вторым грузчиком, оставив Прокушеву двадцать рублей и свой телефон.

— Все считают, — начал душевно объяснять новый знакомый, — что люди моего, так сказать, профессисъена — это быдло, подай-принеси.

— Неотесанная личность, — уточнил Прокушев.

— Верно. Но, старик, это же прошлый век. Конечно, и у нас еще есть всякое такое... Ходят на работу в равных штанах, грубят клиенту. Они же не понимают, что сами себе вредят. Люди же изголодались по культурному обслуживанию! Ну, я понимаю, там, буфетчица грубит или приемщица в химчистке. Она с клиента редко что получает. Но когда грубит грузчик, он же сам себя грабит!

— Это как?

— Очень просто. Вон официант вокруг нас как вежливо крутится. А почему? Потому что знает: он нас вежливо без эксцессуариев обслужит — мы ему за культур-

ное обслуживание накинём на хлеб-водичку. И ему хорошо, и у нас настроение повышается. Верно? Так и в агентстве. Один приедет: бу-бу-бу, бу-бу-бу! А ты улыбнись, слово человеческое скажи. Люди же сами тебе деньги вынесут, да еще взять их уговорят! Будешь отказываться — заставят!

Прокушев посмотрел грузчику в глаза и хотел было представить, как тот отказывается от денег, но не смог.

— Конечно, тяжело, — продолжал грузчик, — но зато всегда в спортивной форме. Не жиреешь, строен, подтянут. Ходишь аполлонариусом, все девки — твои. Настоящий мужчина!

Прокушев машинально втянул живот.

— Да ты возьми завод! Там за несчастные двести рублей будешь ты корячиться день и ночь. А на двести рублей разве можно жить? Тут уж либо в петлю, либо — женись. Семейному двух сотен хватит.

— Можно в торговлю пойти... — сказал Прокушев.

— А-а! Люди в белых халатах! Не спорю, там тоже хорошо живут, но ведь это же минное поле! А на нем не такие, как мы с тобой, саперы подрывались. Сапер, как учит нас школьная программа-минимум, ошибается только раз. А я не хочу бояться ошибок! Хочу жить с чистой совестью. Вот как сегодня. Все честно, чисто и благородно! Мы клиенту высококультурное обслуживание, клиент нам — опять же от чистого сердца — премиальные... Если, конечно, с умом подойти, с расчетом на психологию.

Сказав последнее слово, грузчик даже приосанился и посмотрел по сторонам.

— Ну а если грузчик дурак, — добавил он, — то это просто дешевая рабочая сила.

— А вы — дорогая, — сказал Прокушев, улыбаясь.

Грузчик тоже улыбнулся и выпил коньяку:

— Точно!

Через две недели Прокушев вышел на работу в агентство. Он оказался талантливым учеником: быстро подружился с девушками-диспетчерами, вежливо разговаривал с клиентами, вел дело так, что клиенты ощущали чувство вины перед его дорогой рабочей силой. Осваивал Прокушев работу крепко. Он даже вечерами действительно ходил в университет и прослушал курс лекций по психологии.

Вскоре Валеру назначили бригадиром. Новых своих подчиненных Круминьша и Сорокина он прежде всего

сводил в ресторан, где наглядно доказал, что работать хорошо гораздо выгоднее, чем работать плохо. Дал подчиненным в долг, чтобы приоделись для работы, и обязал прочитать книгу «Искусство общения». Круминьш из книги ничего не понял, но начальника стал уважать еще больше, а Сорокин некоторые места выписал в блокнот, который носил всегда с собой.

Через неделю совместной работы Круминьш и Сорокин стали называть бригадира шефом и готовы были ехать с ним на любой заказ.

Прокушев считал себя грузчиком новой формации. В рабочем, но элегантно костюме он уверенно руководил бригадой, успевал шутить с клиентами, умел со всеми найти общую тему для беседы, был тактичен и вежлив. Женщинам говорил комплименты так, что даже ревнивые мужья улыбались, старушкам помогал вспомнить счастливые дни их молодости, а мужчинам — хозяевам (в основном перевозили новоселов) обещал помочь достать хороших сантехников и маляров. В конце концов выходило так, что клиенты сами с благодарностью выносили деньги.

Будильник ударил в голову тяжелым звоном. Сорокин пошарил в темноте рукой, нащупал нос Эммы, полез дальше, свалил с табуретки кружку с водой и только после этого сумел нажать кнопку звонка. Эмма слабо пошевелилась и что-то простонала.

— Спи, спи, зайчик, — сказал Сорокин и поднялся с постели.

Он постоял немного посреди комнаты, соображая, где находится, влез в шлепанцы и побрел на кухню попить воды. Вода показалась сладкой. Кончил он пить не потому, что напился, а потому, что устал держать голову под краном.

Завтракать Сорокин не стал. Во-первых, не знал, где что у Эммы находится, а во-вторых, не очень хотелось. Зато очень хотелось вчерашнего шампанского.

Перед тем как выйти из квартиры, Сорокин на всякий случай переписал номер телефона, взял из сумочки хозяйки три рубля, подумав, еще три и написал записку: «Эм! Скоро позвоню. Целую, твой суслик». Он всегда так подписывал письма и записки малознакомым женщинам...

Павлов пришел слишком рано. Во дворике у входа в агентство, где велел ждать Сорокин, никого не было. Павлов подергал большую дверь с надписью «Транс» («агентство» — стерлось), зевнул и уселся ждать на скамейку под тополем. Тополь был единственной растительностью асфальтового дворика, окруженного пропылившимися каменными домами, и казался таким же случайным здесь, как высотное здание где-нибудь в пустыне. Таким же случайным здесь оказался себе и Павлов. Он поежился не от холода — от неюта и подумал, что Сорокин пошутил и никто сегодня сюда не придет, но в это время из-под арки вышли два коренастых мужика с большими лицами. Они тоже подергали дверь с надписью «Транс», машинально проматерились, сели на соседнюю скамейку и стали курить.

Один из мужиков, в маленькой белой кепочке, покачал головой и с чувством сказал:

— Наверное, нет ничего такого на свете, что бы я захотел сейчас съесть...

Второй мужик погладил себя по животу и ответил:

— А я бы, наверное, сейчас поел остренького шашлычка.

Мечтательно поглядев в голубое, высокое небо, он с чувством добавил:

— Со свежепросоленным огурчиком, с помидорчиком, с горчишкой!

Слышавший его Павлов сглотнул.

— Боров, — сказал тот, что в кепочке. — Господи! И зачем я подписался на эту субботу! А все ты! Еще по одной. Еще по одной! Заладил как попугай!

— А что же я мог сделать?

— Остановить меня!

— Зато погуляли как люди...

— Ага! Коньяк под соленые огурцы! Люди! Господи! Да где же Михалыч сегодня?

Михалыч появился довольно скоро. Им оказался маленький старичок в потертом пиджаке, надетом на тельник, с большой сумкой в руках. На сумке было написано: «Спорт».

Американцы во время сухого закона называли таких людей бутлегерами, грузчики называли Михалыча отцом. У отца в сумке за достаточно умеренную переплату всегда можно было найти бутылку водки, стакан и что-нибудь закусить. В основном Михалыч таскал упругие, словно резина, соленые огурцы.

Отец, улыбаясь, подошел к мужикам, те засуетились. Поговорив со стариком, тот, что в кепочке, повертел головой и обратился к Павлову:

— Эй! Парень! Будешь?

— Да, — ответил Павлов, еще не зная, в чем дело.

Потом отказываться было уже стыдно. Чтобы мужики не подумали, будто он не настоящий грузчик, Павлов отдал требуемую долю. Пить не хотелось, но две трети стакана оказались у него в желудке. Пил Павлов мелкими глотками, словно сосал молоко из соски, морщился и старался не дышать. Любитель остренького шашлычка выпил равнодушно, но аккуратно. Зато когда стакан перешел к мужику в белой кепочке, состоялся маленький концерт. Сначала мужик долго держал стакан с водкой в руке, дышал, словно собирался глубоко нырнуть, смотрел с гримасой удивления вверх, потом произнес тост в одно слово: «Завстречудрузейзнакомство» — и стал пить. Пил жадно, будто воду в жаркий день, а когда водка в стакане кончилась, лицо его изобразило самую нестерпимую на свете боль и наивысшее наслаждение одновременно. Даже Михалыч, на глазах которого было выпито не одно ведро, засмотрелся и с удовольствием крикнул.

— Спасибо! Отец! — воскликнул мужик в кепочке. — Родной ты наш!

— На доброе здоровьице! — отвечал Михалыч, пряча в сумку пустую бутылку и стакан.

Стали подходить остальные грузчики. Дворик заполнялся людьми. Некоторые заводили с Михалычем разговор. Тот никому не отказывал, и сквозь гул голосов во дворике слышалось звонкое:

— На доброе здоровьице!

Павлов вернулся на скамеечку в хорошем настроении. Он подставил лицо солнцу и невольно улыбнулся. Подумал о том, что если люди смотрят прямо на солнце, то обязательно улыбаются. Пришел Сорокин.

— Привет! — смело крикнул Павлов, вставая. — Я здесь!

Ему было радостно среди шумной толпы увидеть знакомое лицо. Хотелось поделиться хорошим настроением.

— Здорово, — хмуро отозвался Сорокин, протянув руку. — Петр!

— Саша, — ответил Павлов. — Только мы вчера уже познакомились.

— А-а... Ну ничего, лишний раз не вредно.

Сорокин взял Павлова за локоть и подвел к высокому, одетому, как бывают одеты рабочие во французских журналах мод, мужчине.

— Шеф, познакомься, — сказал Сорокин. — Он с нами поедет.

— Валера, — представился Прокушев с улыбкой президента.

— А вы наш начальник? — спросил Павлов.

— Бугор, — ответил Прокушев и подмигнул.

Потом потянул носом и спросил у Павлова:

— Пил, что ли?

— Немного, — ответил Павлов, смутившись. — С друзьями... Пришлось.

— Это зря. Сегодня день длинный... А где Вова?

— У машины ждет, — ответил Сорокин.

Большинство людей не любит заглядывать вперед. Не потому, что не хочется, а потому, что страшно. А Вове Круминьшу заглядывать вперед было не нужно. Родня, да и все, кто с ним был знаком, точно знали, что получится из этого человека. Бывают такие люди — посмотришь и увидишь, кем ему быть, что с ним станет и чем он кончит.

Еще в родильном доме, когда мать с трудом родила крупного ребенка, которому предстояло стать Вовой Круминьшем, санитарка сказала:

— А и здоровый уродился. Грузчиком будет.

Тогда мало кто обратил внимание на «грузчика», всем понравилось — «здоровый». И действительно, с первых дней Вова отличался здоровьем и силой. Он даже кричал как-то солидно, басовито. Мальчик очень много ел и хорошо спал. Эти качества он пронес через всю жизнь. А вот науки давались ему с трудом. С первого класса отец помогал ему готовить уроки с ремнем в руках. Круминьш-старший порол и приговаривал:

— Мужчина должен приносить прибыль в дом, а у тебя одни двойки!

Испокоен веков у Круминьшей было принято пороть, вот отец и порол. На здоровье детей это не отражалось, а эффект приносило большой. Дети отцов боялись. Но вот — времена настали такие! — многолетняя система воспитания дала осечку. Дело было, когда Вова учился в седьмом классе. Отец замахнулся на сына ремнем за

очередную двойку, но Круминьш-младший взял родителя за руку, отобрал ремень и молча выбросил в помойное ведро.

От удивления отец даже не разозлился. Он поморгал глазами и сказал:

— Ну и силища! С такой только в грузчики... Хоть прибыль от тебя будет.

И снова слова попали в точку. До конца восьмого класса Вову дотянули уже без ремня, на энтузиазме учителей. А после выпускных экзаменов директор школы, вручая Воле свидетельство, испытывала несказанное чувство облегчения и совершенно искренне советовала Круминьшу найти свое место в жизни, а классный руководитель даже прослезилась. Воле стало жалко учителей, и он тоже совершенно искренне пообещал приложить все силы, чтобы продолжить учебу в девятом классе. С классным руководителем случился обморок, а директор Воле посоветовала с его способностями идти в грузчики.

Силы у Вовы с каждым годом прибывало. В четырнадцать лет он мог свободно поднять передок у «Москвича». Поднимет, подержит, увидит восхищение на лицах окружающих — опустит. Вову не раз звали в секцию штанги, но тот, побывав однажды на тренировке, больше ходить не стал. На тренировках было скучно и не было восхищения зрителей.

Чтобы сын после окончания школы не болтался где попало, отец определил его грузчиком в продовольственный магазин напротив дома. Вова привык слушаться старших и не сопротивлялся.

— Место хорошее, прибыльное, — говорил отец. — Будешь, сын, сыт, пьян и нос в табаке.

Отец оказался прав лишь в одном. Вова почти каждый день стал пить. В магазине было принято после смены за хорошую работу ставить грузчикам вино. Вова, пивший до этого только лимонад, первые три дня отказывался, но старшие товарищи по работе сказали, что такому богатырю ничего не будет с одного стакана. Портвейн Воле понравился. На первых порах он даже почувствовал в вине вкус изюма. Но больше всего нравилось состояние после выпитого. Состояние легкости и независимости от родителей. Вместо того чтобы приносить в дом продукты, как рассчитывал отец, Вова с трудом доносил самого себя. Родители снова встревожи-

лись, и отец отвел Вову на овощную базу, где сам работал кладовщиком.

Когда Круминьш-младший пришел в магазин за расчетом, директор сказал:

— Напрасно уходишь. У нас ты бы мог встать на ноги.

Теперь Вова трудился под надзором отца. Пить он почти перестал, исправно носил домой арбузы и дыни, не потому что была тяга к воровству, а потому, что так учили старшие. На овощебазе он работал довольно долго...

Обедал Вова всегда в столовой напротив. Раздатчице Валентине понравилось, как он ест. Вове тоже понравилась миниатюрная раздатчица. Когда отец попросил описать ее, Круминьш-младший долго думал, а потом с восторгом выдал:

— Она... такая маленькая!

Вскоре — а Вове к тому времени минуло восемнадцать — по совету Валентины, которая была старше жениха на два года, они поженились. Во время брачной церемонии, когда молодым предложили обменяться кольцами, Круминьш долго не мог толстыми пальцами поймать маленькое колечко невесты.

С женой Круминьшу повезло: Валентина оказалась молчаливой и любящей женщиной. Но Вова принимал это с той естественной простотой, с какой папуас принимает явления природы. Круминьш справедливо считал, что такой жена и должна быть, что так и положено, а рассказы о неверных спутницах жизни, пьющих и курящих женах казались ему такой же экзотикой, как фильмы по телевизору об охоте в Африке.

Той же осенью Круминьша забрали в армию. Валентина писала ему часто, а весной он получил телеграмму от отца: «Поздравляю с прибылью. Четыре с половиной пятьдесят сантиметров». Отец точно указал вес и рост младенца, но забыл написать, кто родился — мальчик или девочка. Только позднее Круминьш узнал, что у него сын.

Служить в армии Вове нравилось. И если и вспоминал он потом что-либо с грустью и любовью, так это армейскую службу.

— Как было хорошо! — говорил Круминьш. — Поест дадут, что делать скажут...

Он считал своей ошибкой, что поддался той осенью общему демобилизационному настроению и вышел в за-

пас. Но и этому имелось свое объяснение. Вся рота кричала по вечерам: «День прошел...», ждала отправки домой, а идти против коллектива было для Круминьша хуже смерти.

Послышалось: «Идут!», грузчики повернули головы в сторону арки и увидели двух девушек-диспетчеров. Прошли девушки, как королевы танцплощадки, ни на кого не глядя, но чувствуя чужие взгляды каждой клеточкой тела. Одна из них достала ключи, открыла дверь, и диспетчеры вошли в агентство. Следом ломанули бригадиры. Нужно было успеть на хорошие заказы. Прокушев давиться не стал, спокойно вошел последним. Зато вышел первым. В руках он нес, словно стратегические карты с планом наступления, наряды на работу.

— Все нормально, — сказал бригадир своей команде и подмигнул Павлову.

Тот радостно улыбался. Настроение у Павлова бурлило. Хотелось тут же перетащить что-нибудь тяжелое.

Втроем грузчики вышли на залитую солнцем улицу. Здесь уже стояли фургоны с диагональной оранжевой полосой «перевозка грузов населению». Грузовики, казалось, в нетерпении фырчали выхлопными трубами, готовые к работе, и Павлову захотелось крикнуть «В атаку!», но он вовремя вспомнил, кто командир.

Водители, однако же, не спешили. Они группками стояли на тротуаре в тени дома.

— Егорыч! — окликнул одного из шоферов Прокушев.

На зов обернулся мужик в коричневой кожаной куртке.

— Чего шумишь? — проворчал он.

— Ехать надо!

— Ехать! Вам бы только разъезжать! Отрастили бензобаки!

Егорыч подошел к бригаде, поздоровался со всеми за руку, спросил, кивнув на Павлова:

— Волка взяли?

— Сорока привел. Кандидат наук, — сказал Прокушев, хитро щурясь на водителя.

— Я еще не кандидат. Я еще только пишу! — сказал Павлов.

— Ну-ну... Не кормит наука? — спросил Егорыч. — Посмотрим, что ты тут напишешь. Здесь у нас не филькина грамота. Здесь работа.

— Ладно, Егорыч, поехали!

— К богу в рай! — проворчал водитель и пошел заводить.

— Где Вова-то? — крикнул Прокушев.

— Бегу, бегу! — сказал Круминьш, медленно вышагивая к машине.

Шоферу Николаю Егоровичу Крутикову недавно исполнилось сорок восемь лет. Это был невысокий, худой и довольно ворчливый человек. Ворчал он постоянно: и дома, и на работе, и даже когда ходил в гости. Людей, не знающих Крутикова, поначалу это смущало, но кто знал шофера хорошо, воспринимал его воркотню как чиханье или кашель.

Свою пожилую машину шофер любил. Она для Крутикова была предметом одушевленным. Он и относился к ней, как к самому близкому человеку, с которым прожиты вместе долгие годы. Шофер мог беседовать со своей старушкой, гладить, чувствуя ответную теплоту металла, а во время заливки бензина ему слышалось, будто машина урчит и чавкает.

Автозаправочные он называл питательными пунктами, а столовые, наоборот, заправками. Крутиков любил переносить на людей технические термины. Если у человека был большой живот, шофер говорил: «Отрастил бензобак», если у кого-то был насморк, значит — «насос забило», а в случае переломов — «баллон полетел».

Вообще от Крутикова можно было услышать о машинах гораздо больше хорошего, чем о людях. Он так и говорил:

— От машины ничего плохого ждать не приходится. Если она тебя подвела — сам виноват. Значит, где-то ты ее подвел. А человек — это сложный механизм. От него любой выхлоп ожидать можно.

Даже сны Крутикову снились автомобильные. То машины перед ним вальс танцевали, то несли его в облаках, а один раз приснилось, будто он женится на своем автофургоне.

В зале регистрации красивая женщина с глазами, как зажженные противотуманные фары, спрашивала:

— Согласны ли вы, Николай Егорович Крутиков, взять в жены машину-автофургон за номером?..

Крутиков хотел было ответить «да», но вдруг вспомнил, что уже женат. Женщина с фарами вместо глаз задумалась, машина загнудела, и сон кончился.

И все же работать с Крутиковым было удобно, и бригадир ценил это.

Прокушеву полагалось место в кабине. Бригада же полезла в кузов. Сорокин и Круминыш забрались легко, Павлов — с трудом.

— Брюки узкие, — оправдывался он.

— Это ничего, — сказал Сорокин. — Бывает, что живот большой. Вот это хуже.

В фургон заглянул Прокушев.

— Ну, сели? — спросил он.

— К старту готовы! — ответил Сорокин.

Бригадир закрыл дверцы, и в фургоне стало темно. Лишь в два маленьких окошечка под крышей пробивались пыльные лучи. Павлов посмотрел на этот пыльный свет, и ему захотелось немедленно выйти на воздух, подышать. А еще было неприятно сознавать, что без посторонней помощи отсюда не выберешься. Дверцы закрывались только снаружи.

— Как в космосе, — сказал Павлов.

— В космосе платят больше, — подал голос из угла Вова Круминыш.

Машина плавно тронулась, затряслась по дороге. Глаза немного привыкли к темноте, и Павлов разглядел, что Сорокин и Круминыш устроили себе из ремней для крепления мебели подобие качелей и сидят на них. Кроме ремней, в фургоне ничего не было. Павлов присел в углу на корточки, но несколько раз трянуло, и он вынужден был встать. Так и ехал стоя, держась за стенку.

В кабине Прокушев просматривал бумаги и говорил Крутикову, куда ехать. Егорыч понимал бригадира быстро. Водитель он был опытный, плавно трогал, плавно тормозил, отлично знал правила уличного движения и умело их нарушал. Если бы не дороги, которые даже в крупных городах иногда напоминают испытательный стенд на автозаводе, можно было бы сказать, что Крутиков и плавно водит.

Чем выше вставало солнце над городом, тем больше машин появлялось на улицах. Все новые и новые выхлопные трубы выплевывали в голубой воздух очередные порции ядовитого дыма. Воздух становился серым, и казалось, что солнце поднимается все выше и выше не по законам природы, а потому, что внизу ему становится душно.

В это летнее утро воздух отравляли в основном легковые автомобили.

— Частник попер, — пояснил Крутиков.

Своей машины у него никогда не было и в будущем не предвиделось, поэтому частников он ненавидел.

— Им бы только ездить, — ворчал он, выворачивая баранку. — Куркули! Купили игрушку и рады. А то, что трудящемуся человеку работать надо, им на это наплевать... А нарушают-то, нарушают! Особенно эти... желторотики. У папаши машину уведут — и за город. Бесноваться! Им что правила, что ГАИ — один бес. А понятия нет, что для старого роботяги шофера знак — святое!

Прокушев, который мечтал (а мечтать он привык реально) о своем автомобиле, сказал с улыбкой:

— А что? Очень удобно. Сел и поехал. Например, на дачу.

— Погорели бы они со своими дачами! — выезжая на полосу встречного движения, чтобы обогнать очередного частника, сказал Крутиков.

— Почему? Свежий воздух, рыбалка. Да и позагорать можно. Коньячок, шашлычок...

— Дерьма!

— Взял девушку хорошую, спиннинг. Красота!

— Для идиотов.

При этом лицо Крутикова совершенно не изменилось. Ругался он машинально. И казалось, что слова эти попали к водителю на язык случайно, словно шелуха от семечек. Прокушев привык к этому и никогда серьезно со своим водителем не спорил.

В кабину постучали. Машина остановилась, Прокушев пошел посмотреть, что там в кузове случилось.

— Ну? — спросил он, открывая фургон.

— Кандидату плохо, — ответил Круминьш.

Щурясь от света, вылез Павлов. Его мутило. Сказались утренняя водка и езда в душной машине. Павлов виновато посмотрел на бригадира и сказал:

— Темно у вас тут...

Он немного постоял, держась за кузов, и вдруг дунул в ближайшую подворотню.

Сорокин махнул рукой.

— Твой друг, что ли? — снова спросил бригадир.

— Да какой он мне друг! Сам вчера упросил показаться!

— Вот и покатались...

— У кандидатов всегда так, — высунувшись из кабины, сказал Крутиков. — Чуть что — сразу травить. Это чтобы не работать.

— Может, ну его? — спросил Сорокин.

— Нет. Втроем сегодня тяжело будет.

Павлов еле добежал до кустов во дворике, согнулся над ними. Неподалеку на лавочке сидели две старушки. У одной из них в руках был красный моток шерсти, видимо собралась вязать.

— Вот как теперь молодежь веселится, — сказала она, указывая клубком на Павлова. — Выпьет с утра и сразу же худо!

— Вон как скрутило! — отвечала вторая старушка.

— Ослаб!

Павлов этого не слышал. Ему было не до старушек. Если бы над ним встала сейчас вся кафедра с руководителем темы во главе, он обратил бы на них так же мало внимания, как на стаю воробьев.

Вернулся Павлов к фургону бледный, стараясь держать на лице улыбку.

— Ну что, кандидат, — сказал Прокушев, — из-за тебя ребята полчаса потеряли... Придется отработать. Так все решили...

— На общем собрании, — подтвердил Сорокин.

— А что? Уже проголосовали? — искренне удивился Вова Круминыш.

— Тайно, — ответил бригадир.

Павлов с энтузиазмом виноватого человека согласился отработать и добавил:

— Это я понимаю. Бригадный подряд... Как у трех мушкетеров. —

— Как у Дюма-отца, — сказал Сорокин, который недавно прочел книгу об этой славной писательской династии.

Чтобы больше не останавливаться, Павлова усадили в кабину, чем окончательно сконфузили нового члена бригады. Павлову было стыдно и тошно. Крутиков же крутил рядом баранку и молчал с чувством собственного достоинства. Павлов несколько раз заговаривал о погоде: сначала похвалил ее, потом стал ругать, — но, видимо, даже если бы он в эту минуту похвалил ходовые качества двигателя грузовика, Крутикова бы и это не проняло. Наконец водитель скосил глаза и спросил:

— Стыд-то хоть есть?

— Очень много, — с готовностью ответил Павлов.

— Это же надо! Шеф в кузове едет, а ты, волк, — в кабине! Где же такое бывало? В какой стране? Хоть ты и кандидат, а видать, слаб в науках. До чего же дело доходит?

— Он сам велел, — пробубнил Павлов.

— Сам! Что же теперь, если он скажет — руби мне голову, ты и за топором побежишь? Так, что ли?

— За топором не побегу...

— Побежишь! Как миленький побежишь! Уж я вас, кандидатов, знаю! Чему вас только в этих институтах учат?

Крутиков помолчал, пока миновали узкий мост со светофором, и вдруг спросил:

— А знаешь, что из-за таких, как ты, война началась?

Павлов совсем сник. Захотелось, чтобы сейчас началось какое-нибудь стихийное бедствие.

— Да-да! — продолжал Крутиков. — Из-за беспорядка! А беспорядок вносят такие, как ты, кандидаты. И добро бы уже кем-то там стали! А то ведь еще только куда-то там кандидаты, а уже в кабинах сидят!

Каменный город постепенно накалялся под солнцем. Казалось, от него шел пар. Становилось душно. Несмотря на субботу, многие заводские трубы дымились. В городе было достаточно предприятий. Город делал новые турбины, новые станки, новые резиновые сапоги и галоши, химические порошки для стирки белья, варил сталь и пиво, выпекал хлеб, — да разве все перечислишь! Не делал город лишь одного — свежего воздуха.

К тому же каждый год на его улицах становилось на тридцать тысяч машин больше — на тридцать тысяч выхлопных труб! Машины забивали узкие, словно больные сосуды сердечника, улицы. Город страдал тромбозом улиц.

Но были в городе и здоровые еще части — новостройки. Улицы в новых районах были шире, заводы почти отсутствовали, а в некоторых местах даже зеленели деревья, посаженные новоселами. В такой вот новый район и предстояло бригаде перевезти семью Михайловой Н. М., проживающей пока по улице Чехова, дом шесть.

Подъехав к дому, Крутиков, не обращая внимания, что перегородил фургоном улицу, развернулся и мед-

ленно въехал под арку во двор. Здесь остановился и посмотрел на Павлова. Тот все понял без слов и побежал отпирать бригаду.

— Как здоровье? — спрыгивая вниз, спросил Прокушев.

— Исключительно хорошо, — отвечает Павлов.

Ему действительно стало полегче. Человеческие чувства постепенно возвращались. Павлов снова ощущал, что солнце греет, что воздух тяжелый, а из какого-то окна вкусно пахнет жареной рыбой.

— Ну и погода! — вытирая пот со лба, пробасил Вова Круминьш.

— Такую хорошо под пиво, — сказал Сорокин.

Грузчики, словно договорившись, по росту заходили в подъезд. Впереди Прокушев, за ним — Вова, Павлов и Сорокин.

— Как дураки, — проворчал Крутиков, наблюдавший за ними из кабины, и достал газету.

Дом был старый. С узкой, крутой лестницей. Каменные ступеньки стерлись, ноги скользили, а железные перила погнулись так, будто по ним проехало стадо слонов. Грязные стены несли на себе много информации. Из литературного были стихи: «Наш Семенов Петя дурнее всех на свете!» Ниже написали рецензию: «Сам дурак». А над баками с пищевыми отходами кто-то призывал: «Бейте Б. М.!»

На шестом этаже отыскивали нужную квартиру. На входных дверях было пять звонков. Под каждым — табличка с фамилией. Таблички были разные. Розенфельд Б. В. выписал свою фамилию на меди, красиво, вензелями. Сомова и Шуберт свои фамилии застеклили. А самой большой была блестящая алюминиевая табличка, на которой черным тиснением хозяева вывели:

Скалозуб В. А. — 4 звонка

Скалозуб Д. В. — 3 звонка

Скалозуб В. Д. — 2 звонка

Кирилицына — 1 звонок.

— А при чем здесь Кирилицына? — спросил Прокушев и нажал кнопку звонка без всякой таблички, так как фамилии Михайловой нигде не нашел.

Дверь открыла маленькая пухлая старушка. Она уже, видимо, подготовилась к отъезду. На ней, несмотря на жару, были валенки, ватник и пуховый платок.

— Голуби! — воинственно воскликнула старушка. — Сколько же можно вас ждать! Деньги уплочены, а вас нет. Где же порядок?

И старушка посмотрела вокруг себя, словно порядок должен был быть где-то у нее под ногами.

— Мама! Перестань! — сказала, выходя из комнаты, довольно милая женщина в красной кофте. — Проходите, ребята.

Ребята прошли в светлую, чистую, несмотря на переезд, комнату. Посредине на ящике с книгами сидела девочка с большим голубым бантом. Прокушев присел перед ней и спросил:

— Сколько же нам лет?

— Мне пять лет. Меня зовут Алена, — серьезно говорила девочка. — А ты грузчик? Мы тебя ждем. У нас папа далеко, и мама сказала, что ты будешь помогать нам ехать на новую квартиру!

Сказав все это, девочка перевела дух.

— Ой! Вы ее не слушайте! — сказала хозяйка. — Она у нас такая разговорчивая.

Прокушев подхватил девочку на руки и спросил:

— Пойдешь к дяденьке шоферу?

— На машину?

Прокушев отнес девочку к Крутикову в кабину и сказал:

— Побеседуй пока, Егорыч, с дамой.

Дама уселась поудобнее, потрогала Крутикова за рукав куртки и спросила:

— А ты кто? Шофер?

— Да.

— А я в детский сад хожу, — вздохнув, сказала Алена. — В старшую группу.

Крутиков был убежден, что в каждой беседе с ребенком должен присутствовать воспитательный момент, и поэтому сказал:

— Смотри, ходи хорошо. А то есть некоторые плохо ходят, нарушают трудовую дисциплину, оставляют свое рабочее место, плюют на мнение коллектива и при этом покупают собственные машины! У них же нет ни совета, ни всего остального! Такому не стыдно соврать, напиться до состояния опьянения в неподобающем месте...

Девочка поболтала ногами, потрогала руль и снова спросила:

— А ты алкоголик?

— Это почему? — опешил Крутиков.

— А бабушка говорит, что все грузчики — алкоголики и по вам давно могила плачет.

Крутиков побагровел и сказал:

— Твоя бабушка сама алкоголик!

Тем временем грузчики наверху в квартире примеривались к шкафу. Сорокин подошел к нему, потерял руки, приговаривая:

— Сейчас мы будем вас немножко вешать...

Тут перед ним встала бабушка, раскинула руки, словно хотела заслонить живое от изверга, и бойко заговорила:

— У нас, между прочим, за все в агентстве заплачено! Денег у нас лишних нет! А ваша черненькая так и сказала, чтобы денег вам никаких не давать! Так что вы ничего себе не подумайте!

— А мы ничего и не думаем, — сказал Круминьш.

— Мама! — воскликнула хозяйка с досадой. — Я же просила! Иди вниз к Леночке!

— А пусть знают! Это ты, дура, денег не считаешь, а я этих жеребцов видела! Им сколько ни дай, все мало!

— Мама! Да уйди же ты!

— Это ты мне? Родной матери? Это за мою доброту?

— Умоляю! Мама!

— Ну и пропадай, дура! — сказала бабка и, взяв в руки горшок с кактусом, вышла, сумев хлопнуть дверь.

— Ой, ребята, — сказала хозяйка. — Вы не смотрите на все это.

— А мы и не смотрим, — сказал Вова Круминьш, прилаживаясь к шкафу.

Шкаф занимал полкомнаты. Это было произведение мебельного искусства полувекковой давности. Почерневшее от времени дерево во многих местах тронул жучок, на каждое прикосновение шкаф отзывался стоном, но внушительности и веса своего не потерял. Шкаф был похож на генерала в отставке.

Сорокин и Круминьш потолкали его, пощупали, пропустили под ним ремни и потащили. Вены на рельефных руках Круминьша — он был в синей футболке — вздулись, однако лицо не изменило своего обычного отсутствующего выражения. Сорокин же сразу покраснел. К нему бросился Павлов, но тот прохрипел:

— Ты давай по мелочи, по мелочи...

Павлов схватил первый попавшийся тюк и потащил вниз.

— Нет, — прохрипел Сорокин, осторожно опуская ремни, — надо бригадира ждать.

— Тяжело, ребята? — сочувственно спросила хозяйка. — Я вообще-то хотела эту рухлядь оставить, но мама...

— Ничего, — ответил Сорокин, прикидывая, что еще выносить. — Просто подумать надо. Это раньше были грузчики, знаете там, принеси-отнеси. В наш век теперь так много не зара... не наработаешь. Работа у нас, как это ни покажется некоторым гоголям смешным, интеллектуальная.

— Да, — сказал Вова Круминьш.

— То, что мы таскаем мебель, — продолжал Сорокин, — это ведь только видимая часть айсберга, так сказать, его седьмая часть. А на шесть седьмых нам, грузчикам, приходится думать. В нашей профессии нужно быть и математиком, и инженером, и артистом. Работаем-то не с ящиками, с людьми!

Хозяйка слушала с интересом. Сорокин закурил.

— Ничего, что я здесь?

— Курите, курите! Все равно ведь переезжаем...

— Вот шкаф, например. Раньше его какой-нибудь ханыга схватил бы и потащил! И перевез бы вам на новую квартиру кучу дров.

— В новых домах дровами не топят, — заметил Вова Круминьш.

— Дрова — это фигурально. А современный работник автоперевозочного сервиса должен все тщательно обдумать, прикинуть варианты, рассчитать. Причем быстро, сообразительно! У нас теперь без высшего образования на работу не берут. Бригадир наш в университете учится, получает второе высшее, вот товарищ с мешком убежал, кандидат наук. Вова... Вова тоже на подготовительных курсах...

— Кто это на подготовительных курсах? — спросил вошедший Прокушев.

Сорокин осекся, потоптался на месте, проговорил:

— Кто, кто... Все мы понемногу...

Бригадир взялся за шкаф со стороны Сорокина. Втроем вытащили его в коридор. Здесь произошла заминка. Шкаф был слишком широк для узкого, длинного коридора, конец которого терялся в недрах ком-

мунальной квартиры. Грузчики отпустили ремни, стали прикидывать, как развернуться.

На шум из темного коридора вышли трое мужчин. Видимо, Скалозубы. Все трое были одинакового роста, в домашних брюках на широких подтяжках, в одинаковых нательных рубашках, плотно облегающих одинаковые животы. Только возраста они были разного.

— А если взять на попа, — предложил младший, парень лет двадцати.

— На попа не пройдет, — ответил средний, мужчина лет сорока.

— Батя, брось пороть чепуху...

— Это ты кому говоришь? Отцу?

Средний мгновенно побагровел и взялся за подтяжку.

— Надо не на попа, а на бок, — предложил самый старший.

— Дед, слушай... А тебя это совсем не касается. Шел бы ты к себе.

— Куда — к себе? К твоему папаше в комнату?

— Это ты кому? Родному сыну? — в ярости пророкотал средний. — У тебя что? Угла нет?

— Угол-то есть, а вот совести у вас нет!

Выбежала маленькая худая женщина, очень похожая на Кирилицыну. Именно с буквой «ы». Запахивая халат, из-под которого виднелась ночная сорочка, закричала:

— Долго я буду терпеть этот балаган?! Домой! Быстро! Вовка! Дмитрий! Вадим Александрыч! Пошли к чертовой матери домой!

Скалозубы вздрогнули и ушли.

— Соседи, — извиняясь, проговорила хозяйка. — Вы не обращайтесь внимания.

— А мы и не обращаем, — ответил Вова Круминьш.

Шкаф перевернули набок и все-таки вытащили на лестницу. Понесли потихонечку вниз. Хозяйка смотрела на Прокушева, и на лице ее была гримаса сострадания. Снизу раздался бабкин голос:

— Полировку, черти! Полировку!

Она возвращалась за очередным кактусом.

— Да какая ж тут полировка, — надрывно отвечал Сорокин. — Он же у вас восемьсот двенадцатого года рождения!

— Шкаф новый! — отступая, говорила бабка. — Мы его с мужем сразу после войны купили!

Шкаф скрипел, словно старый самолет, попавший в болтанку. Бабка спускалась впереди, и каждый скрип отзывался в ее груди стоном. Ей казалось, что шкафу так же тяжело, как и ей, отрываться от родного дома, где прошла вся жизнь.

Наконец вытащили этого динозавра мебельной промышленности на улицу, затолкали в фургон. Все трое утерли вспотевшие лица, перевели дух. Прокушев сказал:

— Если бы теперь такие шкафы делали, мы бы давно уже сидели на инвалидности.

Подчиненные засмеялись, а Крутиков высунулся из кабины и добавил:

— Конечно! Кто шкафы-то делает? Алкоголики!

Но тут же спохватился и замолчал — Аленька сидела рядом.

Павлов тем временем без устали таскал мелочь: тумбочки, швейную машинку, телевизор. Правда, с одной мелочью — холодильником — ему справиться не удалось. Павлов думал, что выполняет самую легкую работу, но на самом деле профессионалам, из каких состояла бригада Прокушева, вся эта мелочь была хуже ножа. Они не раз признавались друг другу, что лучше перенести два-три шкафа, чем по десять раз бегать по лестнице за узлами и коробками...

После загрузки, пока женщины носили оставшиеся кактусы, собрались в тени дома перекурить. Бригадир достал пачку редких сигарет и предложил:

— Угощайтесь.

— Хорошо живешь, — сказал Сорокин.

— Как умеем... Егорыч, а ты чего?

Крутиков махнул рукой.

— Нет уж. Я свое откурил. Сами свое здоровье травите.

— Америка, Егорыч, первый сорт!

— Что Америка, что нет — одно барахло.

Бригадир спрятал пачку в карман. С удовольствием затаился и, посмотрев в высокое синее небо, проговорил:

— Сейчас бы на речку куда или озеро.

— С девочкой, — мечтательно подтвердил Сорокин. — Этаким пикничок.

— Рыбки половить, — пробасил Вова Круминыш, — грибов хороших набрать.

— На закуску, — сказал Сорокин.

— А еще можно, — добавил Павлов, — сидеть вечером, смотреть на костер и ни о чем не думать.

— Как это ни о чем не думать? — удивился Вова Круминьш. — Человек тем и отличается от обезьяны, что думает.

— Ну почему? Разве неприятно иногда отдохнуть от мыслей. Посидеть просто так у костра... Под треск поленьев и сучьев. В лесу тишина. Воздух елкой пахнет. В котелке уха кипит.

— Ты даешь, кандидат! — воскликнул Круминьш. — Уху варить и не думать! Это только олухи варят не думая. А сколько соли положить? А перцу?

— Перцу девочка положит, — сказал Сорюкин.

— Кобелятники, — проворчал Крутиков и сплюнул.

Он поднялся с ящика, отряхнул штаны и пошел заводить машину. Из подъезда вышли бабка и хозяйка с последними кактусами.

— По коням, — сказал Прокушев, и грузчики полезли в фургон.

Бригадир же подошел к женщинам, ласково проговорил:

— Ну что же? С богом? Бабуля — в кабину с внучкой, а вам, извините, с нами придется ехать.

— Размечтался! — воскликнула бабка, прижимая к груди кактус. — Я с вами не поеду. Я на метро доберусь. А ты, Нинка, садись в кабину, да денег им не давай. Все уплочено!

— Мама! — воскликнула Нина, краснея.

Прокушев улыбнулся и проговорил весело:

— Да что вы, бабушка! Какне деньги! Мы ведь ради собственного удовольствия работаем!

— Вот прохвост! — воскликнула старушка, и в глазах ее блеснуло нечто вроде восхищения.

Она подумала, отдала дочке кактус и, достав божью весть откуда три рубля, сунула Прокушеву.

— Ладно, бесы. Выпейте за мое здоровье!

— Будьте здоровы, бабушка!

Машина развернулась и, оставив жителям двора на память облако дыма, с трудом выехала на узкую улицу Чехова. Почему-то во всех городах улицы имени этого великого писателя узкие и маленькие.

Однако мысли об этом не мешали Крутикову. Важно было сейчас удачно вписаться в непрерывный поток

машин, занять в нем свое место. А места не хватало. В городе сужали тротуары, людей прижимали к домам, загоняли под землю в переходы, но это мало помогло.

Крутиков во всем винил частных и от всей души желал им побыстрее угробить свои автомобили. Терпеливо выбираясь из центра в новостройки, туда, где и квартиры лучше, и воздух чище, он по привычке ругался:

— Ну куда ты лезешь! Тунейдец! Купил игрушку, так теперь мешаешь людям работать? Моя бы воля, я каждого второго жигулятника душил бы на месте. Так бы и сказал: на первый-второй рассчитайся! И каждого второго — душить! А всех первых — в Сибирь. Там дороги широкие, правила таежные, деньги — бешеные...

— Я тоже не люблю машины, — тихо сказала Нина. Крутиков скосил на нее глаза и строго спросил:

— Мужа-то нет?

— Нет...

— Теперь многие так рожают, без отцов.

— У меня есть папа! — воскликнула Аленка. — Только он далеко.

— Понятно. А дитя страдает. Я бы таких, которые далеко, каждого второго стрелял. А то нарожают — и гулять, бензобак отращивать! Не сошлись характером?

Нина покраснела.

— Да ты не смущайся! Я тебя не виню. Мать и дитя — это святое!

— Я не святое, — сказала Аленка — Мне пять лет!

Крутиков вздохнул.

— Еще ничего не понимает. Дитя оно и есть дитя. Может, у тебя и по-другому вышло, но часто бывает: накупает такой, с позволения сказать отец, «Жигулей», а про дитя и не помнит. Нет! Я бы таких давил! Чтобы честным людям жить не мешали! Вот я кручу баранку с семнадцати годов. Восемь бригадиров пережил. И сразу понял: тот, кто личную машину себе покупает, — худой человек. У меня таких трое было — всех, между прочим, посадили. Говорят, по глупости, а какая может быть глупость, если честному человеку в наше время машины не купить. Конечно, есть там всякие шахтеры, полярники... Но сколько их? А частных-то миллионы! Вот ты сколько получаешь?

— Сто тридцать два рубля, — ответила Нина. — Еще бывает премия.

— О! Сто тридцать два рубля! Это если вам не пить, не есть, не одеваться, то купишь ты себе машину аж через пять-шесть лет. Но ведь это же надо на пять лет в мумию превратиться! В летаргический сон впасть!

— Кто же мне за сон будет платить! — улыбулась Нина.

— Вот именно. Или меня возьми — получаю прилично, не жалуюсь, но ведь сынов надо было вырастить? Надо! Бабе какую-никакую одежонку надо? Да и самому без денег плохо. Теперь вот еще внук пошел, короед. Опять, батя, помогай! Нет, я бы у тех, кто машины покупает, спросил бы все до копеечки — откуда? И где заработано? Честно ли?

Крутиков откашлялся, сплюнул в открытое окно и продолжал:

— Теперь «Вечерку» люблю читать. С интересом, между прочим, читаю. Там стали писать, кого за рулем в нетрезвом состоянии нашли. Все в подробностях пишут: имя, фамилия, даже где работает. Так вот считаешь, кого из частников арестовали, и выходит, что он либо из техобслуживания, либо нигде не работает, из мужа кровь сосет, либо — из торговли. Ты только подумай! Если человек скопил, на свои кровные, превратился в мумию — поверим в чудо — купил машину... Станет он за рулем пить? Вот где хохма! Вот где вопрос! Значит, денежки — дармовые! Во! Вон поехал... на мумию похож? А? На борова он похож! Еле дышит от жира!

— Зачем вы так, — робко сказала Нина. — И в торговле есть честные люди...

— Ага... Которые уже в тюрьме сидят. Исправляются! Вот и выходит, моя хорошая, что честному человеку машины не видать. Нет! Не видать!

— Он что? Слепой? — спросила Аленка, стараясь заглянуть Крутикову в глаза.

— Дитя еще. Ничего не понимает! — вздохнул шофер и прибавил газу, обгоняя очередного частника.

Но только машина набрала скорость, последовал поворот, за ним — другой. Дальше шла вроде бы прямая улица, но висел знак, запрещающий ехать прямо...

Крутиков уже много лет колесил на фургоне по этому городу, но ни разу не проехал по прямой дольше пяти минут. В молодости у него даже была мечта вырваться из этих узких улиц и рвануть по шоссе прямо. Не-

важно куда, лишь бы прямо. Ему даже однажды приснилось, будто едет он один по уходящей за горизонт дороге, а над дорогой висит круглое вечернее солнце. Но тут неожиданно появился большой шкаф и загородил путь. Сначала Крутиков решил сбить его и ехать дальше, но тут вспомнил, что за это можно лишиться премии, и аккуратно свернул в сторону. Больше такого сна Крутиков не видел.

Направо — налево, налево — направо... Странно, но из такого зигзагообразного маршрута у Крутикова получилась довольно прямая трудовая дорога. Работал он аккуратно, на работе не пил, отлично знал город и при случае мог привезти на любое историческое место, хотя сам часто не знал, почему оно историческое. Фотография Крутикова два раза висела за Доске почета, и шофер за это себя уважал.

Прокушев, напротив, ездить по прямой не любил. Ему нравились повороты. Это ожидание поворота помогало бригадиру и в жизни. Прокушев считал, что в трансгентстве он работает временно. Казалось, что настоящая жизнь впереди, надо только поднакопить денег, дождаться своего поворота и красиво вписаться в него.

А Сорокин и Круминьш не видят и того, что шофер с бригадиром. Они ведь полдня сидят в фургоне. Разговоры все проговорены, да и не больно разболтаешься под шум двигателя. Им-то уж наверняка хотелось прямой дороги вперед. Но не из-за каких-то там душевных устремлений, а потому, что все повороты они ощущали своими боками.

Направо — налево, налево — направо... Успевай держись! Но ничего, хорошо заработаем — хорошо отдохнем!

В черно-серой городской гамме появился зеленый цвет. Выехали в новые районы города. Город ширился, вгрызался прямо в лес, отвоевывал все больше места для своих разноцветных домов. Время, когда все дома строились одинаковыми, прошло. Теперь все дома строят похожими. Если раньше они были как братья-близнецы, то теперь смотрели как просто братья.

— Ну, где твоя коробка, барышня? — спросил Крутиков, выезжая на улицу Физиков.

— Какая коробка? — спросила Нина.

— Ну, ящик твой где?

— Какой ящик?

— Ну, дом где тут твой? Куда ехать-то?

— Ой! Это сейчас прямо, потом налево, потом наискосок, там башня будет такая высокая, еще раз направо и прямо, если только там можно проехать.

— Понятно, — проворчал Крутиков.

Новый дом был похож на остров посреди моря строительного мусора и вывороченной земли. По штормовой колее Крутикову все-таки удалось причалить к нему машину. Он вылез из кабины, покряхтел, щурясь на яркое горячее солнце, почесал грудь и пошел открывать фургон...

Лифт в доме был отключен. Прокушев порывлся в кармане, достал три рубля, отдал Сорокину. Тот, ни слова не говоря, куда-то ушел.

— Сейчас лифт будет, — объяснил Прокушев.

— А деньги зачем? — спросила Нина.

— Чтобы лучше поднималось...

Нина некоторое время смотрела на бригадира с удивлением, пока Аленка не сказала:

— Не подмажешь — не поедешь.

Мужики дружно рассмеялись, даже Крутиков улыбнулся и проворчал:

— Дитя еще... всему верит.

— Ой! Что же это я! — спохватилась Нина. — Это же я должна заплатить. Неудобно-то как!

Нина полезла в сумочку, но Прокушев остановил ее.

— Не надо пока.

Сорокин вернулся с парнем довольно заспанного вида. Шею парень зачем-то обмотал красным шарфом, который мало подходил к его грязной спецовке.

— Отец, выручай, — бодро начал Прокушев. — Видишь, женщина с грудным ребенком и мебелью подняться не может.

Парень посмотрел на Аленку и мрачно спросил, держась за горло:

— Какой этаж?

— Пятый.

— Пять рублей.

— Ты что, отец? Побойся бога. Не за себя прошу, за людей!

— Этажей много, а я один, — парень перешел на шепот. — А потом, не положено еще лифты включать.

— Я же тебе дал треху. Сорокин, ты дал ему треху?

Сорокин кивнул.

— Пятый этаж — пять рублей, — снова прошептал парень, держась за горло.

— Слушай, у тебя другие слова есть?

— Другие слова — за другие деньги.

Парень поднял глаза и стал смотреть в небо, словно хотел, чтобы кто-нибудь сверху увидел, как он здесь мучается.

— Значит, за другие? — нетерпеливо спросил Прокушев.

— Значит, за другие.

— Не надо! — сказала Нина. — Я заплачу сколько следует.

Но Прокушев отодвинул ее в сторону и проговорил:

— Вова!

Прокушев и Круминьш решительно взяли электрика под руки и повели в подъезд.

— Куда это они его? — спросил Павлов.

— Многие еще нарушают трудовую дисциплину, — объяснил Сорокин. — Полностью не отдаются работе.

Когда электрик вышел из подъезда, шарф он держал в руках. Глаза его стали гораздо веселей, да и голос немножко прорезался.

— Все отлично, мужики! — сказал электрик. — Дело-то оказалось на пару минут, а я вам тут заливал! Вот ведь как бывает! Думаешь, не поедет, а оно едет. Не знаем мы еще как следует технику, не умеем!

Павлов повернулся к Сорокину и тихо спросил:

— Уломали словом?

— И делом.

Электрик так хотел угодить грузчикам, что оказалось — лифт бежит быстрее обычного. Павлов только успевал забрасывать в кабину мелочи. Старый шкаф снова взяли на себя профессионалы. В лифт он не влез, и его пришлось тащить на руках. Снова напряглись жилы он бицепсах Круминьша, стало красным лицо Сорокина, тяжело запыхался бригадир. Сзади с кактусом в руках шла Нина. Ей было стыдно за эту рухлядь и очень хотелось помочь ребятам.

— Вы несите и не обращайтесь на него внимания, — говорила она. — Бог с ним, что обдерется, не полировка, покрасим.

— А мы и не обращаем, — отрывисто отвечал Вова Круминьш.

Лестница была узкой. Особенно тяжело давались

повороты на площадках. Пока двое держали, Прокушев перелезал через перила на следующий пролет и уже оттуда принимал шкаф. Нина с болью смотрела на бригадира и на каждой площадке предлагала отдохнуть, но Круминьш отвечал за всех:

— Дотащим!

Когда дотащили до четвертого этажа, у шкафа не выдержала ножка, за которую зацепился ремнем Сорокин. Ножка, похожая на добрый чурбак, с грохотом упала и покатилась по ступенькам. Нина попыталась задержать ее, но уколола палец о кактус. Горшок с кактусом выпал и с глухим стуком разбился. А ножка продолжала катиться вниз, словно камень, сорвавшийся в глубокую пропасть.

Ремень Сорокина сорвался, и шкаф повалился на Вову. Вова некоторое время подпирал мебель, пока не предупредил:

— Падаю.

Прокушев быстро перемахнул через перила назад, и вдвоем они прислонили шкаф к стене.

— Не убились? — испуганно спросила Нина. — Я так испугалась!

— Работа такая, — ответил Прокушев, закуривая.

Руки его дрожали. Сорокин сходил вниз за ножкой, помаhal ею и сказал:

— На манер дубины будет.

— Ненавижу эту мамину мебель! — воскликнула Нина.

— Прошлый век, — вздохнул Прокушев. — Раньше люди по сто лет жили и все делали соответственно надолго. А теперь кто из нас собирается жить сто лет? Вот и вещи наши тоже не собираются жить сто лет. Вот ты, Вова, собираешься жить сто лет?

— Зачем? Мне и так хорошо.

— Я бы хотел, — сказал Сорокин. — Только чтобы быть все время таким здоровым, как этот шкаф.

Шкаф-инвалид поставили в большой комнате, и она сразу стала маленькой. Сорокин подставил под него отломанную ножку и сказал, что ее нужно приколотить.

— Да я сама, — сказала Нина.

— Нет, — ответил Сорокин. — Здесь нужен мужчина.

Но ножку приколачивать не стал. Пошел таскать мебель.

Квартира постепенно заполнялась. Здесь еще пахло стружкой и краской, но постепенно все вытеснял за-

пах жилья, перевезенный со старыми вещами. В каждой квартире есть свой запах. По нему, еще не видя знакомых вещей, человек чувствует, что он дома. И часто нам, когда подолгу бываем в разъездах, снится не квартира, а ее запах, запах родного гнезда.

Маленькая Аленка, обежав всю квартиру, заперлась в туалете и кричала:

— Я буду здесь жить!

Прокушев позвал Вову. Двоим они положили шкаф на бок, и бригадир стал приколачивать ножку, а счастливая Нина стояла рядом, держала гвозди и говорила:

— Мы так ждали этой квартиры. Теперь у мамы будет своя комната и у нас с Аленкой. И потом, не будет этих ужасных соседей!

На Нину было приятно смотреть. Глаза ее блестели, лицо разрумянилось. Ей нравилось видеть в своей женской семье этих четырех дружно работающих мужчин.

Приколотив ножку, Прокушев поднялся, постоял рядом с Ниной и подумал, что, если еще немного так постоит, обязательно чмокнет ее в розовую щеку.

— Приглашайте на новоселье, — сказал бригадир.

— Обязательно, — ответила Нина. — Вы сами заходите еще.

Работа кончилась. Последние узлы были свалены у окна, мебель составлена в комнаты, и квартира напоминала в ту минуту корабль перед отплытием. Куда он поплывет? Какие бури преодолеет? Бог знает...

Провожающие — грузчики тактично вышли в коридор, Аленка побежала прощаться с дяденькой шофером. В квартире остались Прокушев и Нина. Чувствовалось, что хозяйка волнуется. Она подергивала плечами, часто вопросительно смотрела на бригадира, словно хотела сказать что-то. Наконец набралась смелости, подошла к Прокушеву, да так близко, что тот почувствовал ее дыхание, и сказала:

— Вы только не обижайтесь, пожалуйста... вот!

И Нина протянула Прокушеву маленький конвертик. Настолько маленький, что он поместился у хозяйки на ладонке. Прокушев взял осторожно двумя пальцами конвертик, спрятал в нагрудный карман куртки и понимающе покачал головой. Потом внимательно посмотрел Нине в глаза и сказал:

— Мне бы очень хотелось зайти к вам еще раз. Честное слово...

Уже в кабине на пути к другому адресату Прокушев достал конвертик, повертел в руках, понюхал. От конвертика пахло духами. Открыв его, Прокушев пошелестал бумажками, удовлетворенно хмыкнул и сказал в задумчивости:

— А что? Действительно, возьму и зайду.

Когда при нем начинали говорить о любви, Прокушев улыбался. Бригадиру нравилось слушать, что люди думают об этом. Особенно нравилось слушать женщин. Женщины всегда говорили о любви с жаром, независимо от хода собственной мысли.

Для себя Прокушев давно решил, что любовь — это тяжелая, унижительная болезнь, которой он уже переболел...

Ирина жила этажом выше и училась с Прокушевым в одном классе. Лет до четырнадцати Валере было с ней интересно. Потом — мучительно. Он вдруг увидел, что у соседки и одноклассницы кроме веселого характера и умения хорошо играть в шашки есть еще глубокие синие глаза, красивые черные волосы и длинные стройные ноги. Прокушеву нравилось подолгу смотреть в эти глаза, любоваться черными волосами и думать, краснея от смущения, о длинных стройных ногах. Особенно тяжело становилось летом. Грекло солнце, в воздухе невыносимо пахло сиренью, а Ирина надевала легкое голубое платье, становилась воздушной, недоступной для него и в то же время очень плотской и близкой для других.

Прокушев ревновал ее ко всем. К ребятам во дворе, в классе, к мужчинам, взгляды которых он ловил на Ирине, даже к шестидесятилетнему учителю биологии, который любил взять ее руку с указкой в свою и так объяснять строение скелета. А когда Ирина сказала, что очень любит Лермонтова, то Прокушев возненавидел и поэта.

Страшное было время. Прокушев ходил все время будто с высокой температурой. Аппетит, правда, был хороший, и спал он крепко, но вот уроки давались с трудом. Прокушев садился за свой письменный стол, раскрывал алгебру и долго сидел, глядя в окно, думая об Ирине. Сидеть так он мог часами. Родители были довольны. Мама счастливо улыбалась, а отец говорил, что Валера наконец-то взялся за ум.

От ревности Прокушев даже не мог разговаривать с Ириной и, когда они гуляли вместе по городу, лишь вертел черными глазами и обиженно мычал.

— Прокушев, что с тобой? — спрашивала Ирина.

— Ничего, — отвечал Валера и чувствовал себя самым несчастным человеком на свете.

Со временем у Ирины появились те, кого так опасался Прокушев, — поклонники. Поклонники совсем не подходили на влюбленного Валеру, да и на других сверстников тоже. Это были веселые мужчины. Они много говорили и не краснели по всякому поводу. С ними было необычно. Самый настойчивый из них, выпускник морского училища, будущий штурман, сказал, что Ирина — его путеводная звезда, и предложил ей светить на его жизненном пути постоянно. Рассказывала Ирина Прокушеву об этом с восторгом. Она вообще многое ему рассказывала. Ей нравилось, как Валера мрачнеет. Штурману же Ирина отказала, потому что твердо решила ехать в Москву поступать в Институт иностранных языков. Последнее немного утешало Прокушева. Отъезд Ирины избавлял от мучительных встреч с ее поклонниками во дворе и у школы.

Прокушев и будущий штурман провожали Ирину вместе.

— Будьте счастливы, — говорила она им на прощание. — Не испортитесь тут без меня.

Ирина поцеловала Прокушева неприятно поразившим его женским поцелуем, потом поцеловала будущего штурмана и поднялась в вагон. Поезд тронулся, и вскоре мимо прогрохотал весь состав с мелькающими из окон белыми лицами. На буфере последнего вагона развевалась красная тряпочка. Вскоре ее не стало видно, поезд ушел.

Прокушев огляделся вокруг, поежился, хотя день был летний, теплый, и почувствовал, как нелепо выглядит он сейчас на этом пустующем перроне. Горе, как показалось Прокушеву, объединило его с будущим штурманом.

Захотелось сказать что-то хорошее, и, грустно вздохнув, Прокушев проговорил:

— Ну... вот и проводили мы нашего товарища.

Будущий штурман вдруг повернулся к нему лицом и сквозь слезы процедил:

— Ну и дурак же ты, батенька!

Потом Валера долго бродил по летнему городу, и город в этот душный июльский день казался ему холодным. Дома отец усадил его за стол, заставил выпить горячего молока и сказал:

— Сын, потеря любимой — еще не самое страшное в жизни.

Через три дня был отборочный матч на всесоюзные соревнования, и Прокушев играл в нем лучше всех...

В Институт иностранных языков Ирина в тот год не поступила, но и домой не вернулась. От своего отца Прокушев знал, что она устроилась секретаршей в какой-то столичный трест, вышла замуж и заочно окончила в Москве технический вуз.

Года два назад, тоже летом, Прокушев зашел с девушкой Аллой в ресторан «Восход» отметить ее день рождения. Здесь Прокушева знали, поэтому он уверенно повел девушку к своему любимому столику в углу у окна, подальше от оркестра, выглядывая в большом зале знакомого официанта.

— Валера, там занято, — услышал он голос Аллы.

Прокушев посмотрел в угол и увидел за своим любимым столиком Ирину. Лицо у него вытянулось, Валера часто заморгал и остановился.

— Ты бываешь в ресторанах? — спросила Ирина каким-то грудным, незнакомым голосом.

— Ты же в Москве, — ответил Прокушев.

Ирина была не одна. Молодой бородатый мужчина представился:

— Виктор Николаевич, конструктор.

— Валерий Васильевич, — ответил Прокушев и, подумав, добавил: — Инженер-технолог.

— Невероятно! — восклицала Ирина. — Виктор, ты только представь! Мы с Валерой учились в одном классе! Сколько же лет мы не виделись?

— Лет сто, — ответил Прокушев.

— Очаровательно! А ты, Валера, стал другим. Настоящий мужчина! Как летят годы!

По тому, как Ирина старалась говорить, без пауз, Прокушев почувствовал — она тоже волнуется. Сам Валера держался уверенно, удивляясь своему умению сдерживать эмоции.

— У нас в институте, — говорил конструктор, изучая меню, — два брата работали на разных этажах и ничего друг о друге не знали. Встретились случайно: пришли

к директору получать по выговору... Шампанского будем?

Официант принес заказ, и все поздравили Аллу с днем рождения. А когда оркестр объявил веселую песню, конструктор утащил именинницу танцевать. Ирина взяла в руки фужер с шампанским. Прокушев налил себе водки. После первого куплета Ирина сказала:

— Ты хочешь спросить, как я живу? Живу хорошо. У меня прекрасный муж...

— Этот, что ли? — Прокушев кивнул на танцующего конструктора.

— Нет. Муж дома, в Москве. Ответственный работник. Звезд с неба, правда, не хватает, но меня любит. Хорошо зарабатывает, прекрасный семьянин. Квартира, машина...

— Дача, туалет с кафелем... — продолжил Прокушев.

— Не очень остроумно.

— Зато правда.

— А ты злишься? — с надеждой спросила Ирина.

— Ты же знаешь, я злиться не умею.

— Очень жаль... Сама я работаю... впрочем, это не важно. Главное, что есть свободное время. Что еще? Да, у меня ребенок — девочка.

— На тебя похожа?

— А на кого же? Семь лет. Скоро в школу. В общем, счастлива! — уверенно проговорила Ирина.

— Я рад за тебя, — стараясь перекрычать оркестр, сказал Прокушев. — Приятно посидеть со счастливым человеком!

Потом они тоже танцевали. Прокушев наклонился к Ирине и сказал:

— А духи всё те же.

— А ты помнишь?

Музыка звучала тягучая, плавная, а воздух в зале был бархатный. Прокушев зарылся лицом в ее черные волосы и вдыхал их запах. Казалось, его накрыла теплая волна, из которой не вынырнуть. Вдруг саксофонист сменил ритм. Прокушев помотал головой, словно стряхивал с себя остатки сладкого сна, задвигался быстрее, в такт движениям заговорил:

— Слушай! А как все-таки я тебя любил! Что же такое было? А?

Ирина остановилась, посмотрела внимательно в глаза Прокушеву и спросила:

— А теперь?

Оркестр играл без перерывов. Снова поплыла мягкая мелодия. Прокушев обернулся, посмотрел на Аллу. Конструктор махал вилкой перед ее лицом, что-то говорил, а она смеялась.

— Ты не думай, — снова заговорила Ирина, поворачивая Прокушева к себе. Теперь она вела его в танце. — Витя — это же просто так. Сопровождает меня в командировке... А ты меня будешь сопровождать?

Прокушев снова почувствовал приближение какой-то приятной, теплой волны, но тут почему-то вспомнился вокзал, проводы Ирины в Москву и слова штурмана: «Ну и дурак же ты, батенька!» И ему вдруг стало обидно. Обиделся Прокушев не на Ирину, а на время. Скажи она так лет пятнадцать назад, он, наверное, умер бы от счастья. А теперь... Теперь не умрет. Прокушев снова обернулся к Алле. Та заметила и погрозила ему пальчиком. Он снова посмотрел на Ирину и подумал, что обе женщины нравятся ему одинаково.

— Я ведь не один, — ответил он Ирине.

Танец дотанцевали молча. Вернувшись к столику. Бородач, желая включить их в разговор, обратился к Прокушеву:

— Правильно?

— Все правильно, — ответил бригадир.

— Вот видите, Аллочка, и ваш друг говорит то же самое!

Бородач окинул всех взглядом победителя и, пользуясь паузой в музыке, налил всем по рюмке. Потом снова спросил Прокушева:

— А вы бывали в Москве?

— Да.

— А мы с вами не могли встречаться в ЦПВПХМ?

— Вряд ли...

— А в ЦПКБУИНП?

— Я там не бывал.

— А он нигде не бывал, — вдруг сказала Ирина зло. — Он ведь у нас грузчиком работает. В местном агентстве по перевозке мебели. Так ведь? Я не ошиблась? Или мой папа врет?

«Хорошо, что я с ней никуда не пошел», — подумал Прокушев и почувствовал, что начинает краснеть. Но бородачу нужно было поговорить.

— Старик, — начал он. — Грузчик — уже не актуально! Скажу тебе честно, времена дворников, кочегаров и

грузчиков с высшим образованием давно прошли. И кто этого не понимает — глубоко ошибается!

— А откуда ты знаешь, что я с высшим?

— Так видно! Я тебе советую: бросай это дело. Сейчас очень много будет денежной инженерной работы. Ты кто по профессии?

— Тренер... по баскетболу.

— Отлично! Сейчас как раз очень много денежной спортивной работы. Особенно по баскетболу! Спорт — в массы, а тренеры — в кассы!

Бородач конструктор громко засмеялся.

— Почему? Может, мне моя работа нравится? — сказал Прокушев, напряженно улыбаясь.

— Врешь! Как и все мы врем! Работа может быть терпимой или нетерпимой, денежной или неденежной, тяжелой или легкой. Но нравится она не может. Может нравиться состояние после выполненной работы. Ради этого состояния некоторые и работают. Но сам процесс... Согласись, недаром же его называют работой! А люди привыкли. Пашут, пашут в поте лица...

— Своего, — сказала Алла.

— Да. И не думают об этом. А потом получают много денег, и им кажется — хорошая работа, нравится! Люблю ее!

Поставив вилкой в воздухе восклицательный знак, конструктор с удовольствием откинулся в кресле.

— Ты только пойми меня правильно, — продолжал он. — Вы же дорого обходитесь обществу. Я не про потраченные деньги на ваше образование. Я про то, сколько вы могли бы сделать со своими мозгами в науке. Дураки ведь в дворники после института не идут! А если всех вас собрать да посадить в какой-нибудь мозговой центр? А? Это же Японию обогнать можно и весь остальной Запад! И вообще сейчас в цене мужик, имеющий в руках дело. Мужик с перспективой! Что ты делаешь в своих грузчиках? Стихи пишешь?

— Нет. Работаю.

— Зачем? — энергично спросил конструктор.

— Деньги зарабатываю.

Прокушев понимал, что конструктор говорит правильно, но от этого злился еще больше. Ему надоела эта лекция, да еще при женщинах.

— Много?

— Ну, вот ты на какие деньги здесь?

— На свои. Премию получили. Имеем право отдохнуть!

— А я поужинать зашел. Понимаешь, поужинать. Зачем мне твоя перспектива, если я уже сейчас могу ужинать вот здесь, в «Восходе»?

— Да ты не злись. Я ж от чистого сердца!

— А по-моему, это скучно — каждый день ужинать в ресторане! — сказала Ирина.

— Я привык.

— К чему? — продолжала Ирина. — Чувствовать себя все время грузчиком? Знать, что ты подай-принеси, и все время всем доказывать обратное?

Тут вдруг снова грянула музыка, и конструктор закричал:

— Танцуем! Танцуем! Все танцуем!

Бородач утащил Ирину танцевать, а Прокушев спросил Аллу:

— Тебе до дому пяти рублей хватит?

Он положил на стол деньги за ужин и на такси Алле и быстро вышел из ресторана.

Прокушев достал квитанцию, посмотрел в нее, словно командир на карту местности, оглядел дома вокруг и сказал:

— Красавин Мэ Нэ. Проспект Ударников, де один, ка ве восемь. Третий этаж.

— Где-то здесь, — сказал Сорокин. — Мы в прошлом месяце в этих домах пианино ворочали.

Квартиру Красавина нашли довольно быстро. Дверь открыл толстый мужчина в спортивном костюме и черных лаковых туфлях.

— Вы по вопросу переезда? — спросил он.

В прихожей было пусто и пыльно. Хотелось чихнуть.

— Вы извините, — говорил Красавин, провожая грузчиков в комнату, — жилище не имеет соответствующего вида. Но это временный вариант. А какой смысл что-то делать, когда все временно?

— Смысла нет, — подтвердил бригадир.

В комнате тоже было пыльно. Пыли в воздухе было так много, что казалось, здесь кто-то накурил.

— Вы бы хоть форточку открыли, — проговорил бригадир. — Дышать-то нечем.

— А зачем? — спросил хозяин. — Все равно уезжать. Но форточку все же открыл. Грузчики осмотрелись.

У стены стоял диван с потертой обивкой и вмятинами в местах, где сидели, рядом — шкаф. У окна — письменный стол со слоновыми ножками. Такие столы делали лет тридцать назад. Стул с сиденьем от другого стула. Занавесок на окне не было. Книги — их было довольно много — хозяин сложил стопками в углу. Лежали они там не из-за переезда, а просто некуда было ставить.

— Обстановка довольно небогатая, — сказал хозяин. — Как видите, лишь самое необходимое.

— Видим, — сказал Вова Круминьш.

Сорокин взял книгу из стопки в углу, дунул на нее, отчего взвилось маленькое облачко, и прочитал:

— Толстой А. К. Собрание сочинений.

Подумав немного, спросил:

— Граф или князь?

— Поэт, — виновато ответил хозяин. — Давно пыль не вытирали.

— Я понимаю. Только есть граф, а есть князь. При чем оба — Толстые.

— Какая разница, — прогудел Круминьш. — Давайте грузить.

— Верно, Вова, — сказал бригадир и еще раз взглянул в квитанцию. — Так-так... Письменный стол, шкаф, диван... А что же вы книги не указали? Непонятно.

На лице хозяина отразился ужас.

— Я не знал. Меня никто не учил. Вообще-то это жена, ее затея. Может, можно что-нибудь исправить?

Бригадир почесал в голове.

— Попробуем подумать...

— Опять идти на нарушения? — строго спросил Сорокин.

— А что делать? Надо же человеку помочь!

Прокушев искренне задумался. Хозяин смотрел на него с надеждой.

— А! Пропадай моя голова! — воскликнул бригадир. — Придумаем что-нибудь? А? Кандидат?

— Обязательно, — ответил тот. — Только веревочки нет.

— Веревочка есть, — сказал хозяин и принес из кухни моток шпагата.

— Будет мне на чем повеситься, — пошутил Прокушев.

Сорокин с Круминьшем потащили вниз шкаф, кандидат стал упаковывать книги, а бригадир завел с хозяином разговор.

— Съезжаетесь? — спросил Прокушев.

— Не то чтобы совсем, — отвечал хозяин. — Видите ли, супружнице нужна расширенная жилплощадь, вот мы и меняемся.

— А вам не нужна расширенная? Новоселье — это ведь праздник.

— Лучше Нового года, — добавил из своего угла Павлов.

Прокушев посмотрел на него одобритительно. Так смотрит тренер на своего подопечного, когда тот забрасывает победный мяч. Вроде бы лицо остается строгим, но промелькнет в глазах наставника искра одобрения, и спортсмен готов в такую минуту на самые отчаянные подвиги.

Вернулись Сорокин и Круминьш. Пока первый протаскивал под диван ремни, второй подошел к окну и провел по черному от пыли подоконнику линию пальцем.

— Видите ли, — продолжал хозяин, — я ведь, собственно, на новую квартиру не поеду.

— А где же жить?

Хозяин пожал плечами.

— Пока у мамы, потом что-нибудь придумаю.

— Хорошая у вас жена, — осторожно сказал бригадир, — умная.

— Да! Она, в общем, человек неплохой... Но мы ведь, в сущности, совершенно разные люди. Мы не понимаем друг друга!

Круминьш вывел пальцем по пыли «баба». Подумал немного и приписал — «дура».

— У нас нет ничего общего, — продолжал хозяин. — Боюсь, вы меня неправильно поймете...

— Пойдем, пойдем, — прогудел Круминьш.

Грузчики подняли диван, а хозяин замер в растерянности. Он колебался между желанием помочь и боязнью помешать. С разведенными руками хозяин проводил диван до дверей, потом присел в углу, чтобы помочь Павлову с книгами, но помогать не стал, а снова обратился к бригадиру:

— Да нет... Совсем не так. Совсем не то. — Хозяину очень хотелось, чтобы его поняли. — У нас просто очень разные интересы. Вера очень начитанный человек... Это мою жену зовут, так сказать, Верой. Знаете, Вера, Надежда, Любовь... Так вот она — Вера...

Прокушев подошел к хозяину, обнял за плечи и сказал задумчиво:

— Мы все сделаем очень хорошо.

— А вы понимающий человек! Я, знаете, по роду своей профессии люблю понимающих людей.

— Неужели в торговле работаете? — с сомнением спросил Прокушев.

— Господь с вами! Я, видите ли, литератор. Пишу.

— Тяжелая работа, — сказал бригадир. — По ночам трудитесь?

У хозяина засветились глаза.

— Вы действительно очень понимающий человек! — сказал он. — Уверен — тоже пишете.

Прокушев не стал возражать.

— Пробую, — сказал бригадир. — Сейчас, правда, нахожусь в состоянии переходного периода. Перехожу со стихов на прозу... На новые рельсы.

Прокушев целиком переключился на разговор с хозяином. Грузчики понимали — бригадир занят делом.

— Задумал роман, — продолжал Прокушев. — Может, это и нескромно с моей стороны...

— А сейчас собираете материал в качестве, так сказать, грузчика?

— Собираю. Материала, правда, не хватает. Люди отдают его с трудом. Приходится тратить много сил. Пока кого-нибудь уломаешь поделиться кровным, семь потов сойдет. И что самое главное — хочется же подойти культурно. А то некоторые — давай, мол, и всё! Деньги на бочку!

— Так сказать, — поправил хозяин.

— Вот именно. Тяжело работать!

— Поэтому так теперь мало и пишут романов, — вздохнул хозяин. — А хорошие романы очень нужны.

— Они всегда нужны, — подтвердил бригадир. — Особо в наше время.

Когда Сорокин и Круминьш закончили грузить мебель и вышли перекурить, хозяин вдруг стал как будто ниже ростом, покраснел и, покосившись на Павлова, проговорил:

— Я понимаю, вы — человек деликатный, но, коллега, ради бога, не отказывайтесь!

С этими словами он полез в задний карман тренировочных брюк, долго водил там пальцем, пока не зацепил две десятки. Бригадир деньги взял, и хозяин вздохнул с облегчением. Глядя на Красавина, можно было подумать, что это он только что перетащил всю мебель.

— Лишнее, конечно, — проворчал бригадир, складывая деньги в бумажник, — но для ребят возьму. А роман свой я вам занесу. Почитать. Как только напишу, так и занесу...

Уже на улице Павлов тихо спросил бригадира:

— А вы действительно... пишете?

Прокушев серьезно посмотрел на Павлова и задумчиво проговорил:

— А что? Возьму да и напишу роман...

Хозяина из уважения усадили в кабину, хотя тот долго упирался. Самы полезли в кузов. Прокушев с Сорокиным устроились на тумбочке, Вова Круминьш сел на незанятую часть дивана, Павлов, боясь, что ему опять станет плохо, остался стоять. Он высунул нос в маленькую щель-окошко и ловил воздух. Крутиков захлопнул дверь, и вскоре поехали. В нос ударил запах пыли, мебель закрипела, затряслась, и Павлов почувствовал себя мелкой монетой между ладонями великана-школьника, играющего в туалетев «трясучку».

— И ведь есть же такие мужики! — прокричал Сорокин, подпрыгивая на тумбе. — Она его гонит, бьет, а он ее любит!

— Разве это мужик! — кричал Прокушев. — Вот кандидат у нас мужик!

Павлов оторвал лицо от окошечка и улыбнулся в темноту.

— Ничего! Не робей! Сейчас этого героя-любownika доставим, а потом и пообедать можно! А, Сорока?

— Обязательно! Только с хорошей закуской!

Под солнцем фанерный фургон перегрелся. Было душно. Душно стало и в кабине. Крутиков опустил стекло, но это мало помогало. В лицо бил горячий городской воздух. Крутиков поминутно вытирал лицо грязной тряпочкой. На лице водителя появились серые полосы.

И без того малопривлекательное лицо его стало совсем злым. Но Красавина это не остановило. Сиди сейчас рядом не Крутиков, а, скажем, удав, он все равно заговорил бы с ним.

— Многие ругают меня за то, что я подчинен жене, — без предисловий начал Красавин. — Считается почему-то, что мужчина — это только тот, кто свою жену бьет! Но почему нельзя строить совместную жизнь на взаимоважании? Я этого не понимаю! Жена моя — тоже человек. У нее есть интересы, и я должен уважать их не

меньше, чем свои! И потом, у нее же творческая профессия. Она у меня знаете кем работает? Руководителем музыкального кружка. В Доме культуры! Работа нервная, с людьми, — словом, творческая.

Крутиков косил глаза на пассажира и спросил:

— Гуляет?

— В каком смысле? — растерянно спросил Красавин.

— В прямом. Какой тут еще может быть смысл!

— Если в прямом, то не знаю, — ответил Красавин.

— Сам-то где работаешь?

— Нигде...

— Инвалид, что ли?

— Нет, — вздохнул Красавин. — Писатель.

— И книжки есть?

— Нет. Пока только публикации.

— Да-а! Скажу я тебе, что вы, писатели, слишком много пишете.

Крутиков снова вытер пот тряпочкой и продолжал, глядя на дорогу:

— И все это вместо того, чтобы подумать о жизни. У нас тоже тут один затесался. Кандидат наук называется. Тоже вроде тебя — пишет. Так он на первом часу работы бригадира из кабины высадил, а сам сюда сел. На бригадирское место! Разве это порядок?

— Они сами меня сюда посадили. Я вовсе и не хотел...

— Не хотел. Все не хотели, да чуть не вспотели... Возьми машину. Сломайся в ней хоть винтик, она же никуда тебя не повезет. А людям кажется все наоборот: чем дольше ломаешь, тем лучше. Это куда же мы придем с таким писательством?

— Не знаю, — снова вздохнул Красавин. — Но я же не могу не считаться с ее интересами? Почему нужно обязательно ставить вопрос: либо я, либо она? У нас же равноправие!

Крутиков сплюнул соринку с языка и сказал:

— Я не против, если книжка хорошая. Интересная. Но ведь были же уже эти... типа Пушкина, Толстого. Еще потом этот... фамилия нерусская...

— Достоевский?

— Да. «Преступление и наказание». Так и хватит! Как посмотришь в библиотеке, сколько понаписано! Куда больше-то?

Красавин поглядел с чувством в видимую только ему одному даль и неожиданно твердо сказал:

— Почему же. А вдруг еще кто-нибудь напишет, как Толстой?

— А зачем нам два Толстых?

Крутиков резко затормозил. В кузове Павлов ударился головой о кухонный шкафчик, а Сорокин — о голову бригадира. Перед самой машиной медленно, стараясь не потерять собственного достоинства, прошагал солидный мужчина с портфелем. Дошагав до тротуара, он, видимо, понял, что его могли задавить, и так же независимо запрыгал куда-то вперед, размахивая портфелем.

— Твою мать! — тихо сказал Крутиков. — Тоже, наверное, второй Толстой!

Крутиков уже поворачивал во двор, когда Красавин вдруг попросил остановить машину.

— Знаете, — неожиданно сказал он. — Я, пожалуй, дальше не поеду. Супруга, увидев меня, может начать ругаться. У нее нервы. Она вас встретит. Такая крупная... с творческим запалом в глазах.

Крутиков посмотрел на пассажира, словно на блоху. Так мужики иногда смотрят с удивлением и злостью: маленькая, а ишь, прыгает!

— Только вы ничего не подумайте, — добавил Красавин. — У нас полное взаимопонимание, основанное на равенстве полов.

Он сунул водителю рубль и вылез из кабины. Снова открыл дверцу и, подняв лицо до уровня колен Крутикова, сказал:

— Извинитесь, пожалуйста, за меня перед вашим бригадиром. Я уж не пойду прощаться. А если надо, я ему в его делах всегда могу...

Не дожидаясь конца монолога, Крутиков захлопнул дверцу, аккуратно сунул рубль в карман и стал разворачивать машину...

Что может быть для человека, получившего новую квартиру, прекраснее унылого вида новостроек! Сквозь пыль, поднимаемую вольным ветром, он уже видит, как на этом лунном ландшафте появится зеленый сад, цветущие клумбы и тенистые аллеи, как запоют на деревьях лесные птицы. Он уже представляет, как будет слушать их пение, сидя с чашкой чая у себя на балконе. А квартира! Квартиру свою он устроит гораздо лучше, чем другие! А какие он достанет обои! А какую стенку! Какой унитаз! Голубой! Почему обязательно голубой, новосел навряд ли объяснит, но спросите лю-

бого, и он назовет вам именно этот цвет. Цвет мечты... Приедет новосел в свою новую квартиру, сядет посреди пустой комнаты на волнистый, словно море, линолеум, обведет глазами стены с невзрачными обоями, и нет в такую минуту человека счастливее.

Жена Красавина — Полина Васильевна — новоселом себя не чувствовала. Новосел — это человек, который квартиру получил как подарок. Полина Васильевна взяла, как ей казалось, свое. Есть такие люди, которые всю жизнь не получают, а берут свое. И как ни странно, убеждают в этом окружающих. И окружающие верят, да, действительно, этот человек взял свое. Он имеет право. Этаким массовый гипноз. Так дети иногда играют в песочнице, вдруг приходит такой же ребенок, как все, необязательно даже самый сильный, и говорит: «Это мой песок!» И все верят. Почему? Кто его знает...

Полину Васильевну Крутиков заметил сразу. Она была больше похожа на директора пивного бара, чем на руководителя музыкального кружка. Очень полная, с короткой стрижкой осветленных волос, она стояла у подъезда, уперев пухлые ручки в мягкие бока. Причем ладошки в боках утонули. Одета Полина Васильевна была по-спортивному: в оранжевую футболку с крупной надписью по пышной груди «финиш» и в черные облегающие тренировочные брюки с лампасами. Взглянув на нее, хотелось сказать: «Это энергичная женщина!»

С лицом Крутикова случилось удивительное изменение. Оно улыбалось. Посторонний человек, конечно, сказал бы, что шофер съел что-то кислое, но Крутиков действительно улыбался. Причем, как ему казалось, пикантно. Полина Васильевна была в его вкусе. Он лихо, не без пижонства, осадил машину и, открыв дверцу, сказал:

— А вот и мы! Не ждали?

— Жду вас уже три часа! — поздоровалась Полина Васильевна. — Что же вы, мальчики, опаздываете?

— С мужем вашим заболтались, — отвечал шофер, покручивая воображаемый ус.

— Муж мой здесь, товарищ водитель, ни при чем. Да и вы — тоже. Где бригадир?

Кислая улыбка исчезла с лица Крутикова, он сплюнул и пошел открывать фургон.

— У вас что? Все такие? Все опаздывают на три часа? — строго спросила Полина Васильевна у Прокушева.

Тот, почувствовав, что надбавки за культурное обслуживание не предвидится, ответил:

— Все.

— Вы, я вижу, настоящий грузчик!

— Да, мы стараемся работать хорошо.

— И поэтому опаздываете?

— Нет. Мы опаздываем не поэтому. Куда грузить?

— Восемнадцатая квартира. И побыстрей.

— Лифт подключен?

— Нет.

— Какой этаж?

— Третий.

— Три рубля.

Полина Васильевна в ужасе отпрянула. Но пришла в себя довольно быстро.

— Почему вы мне грубите? — спросила она.

— Так лифт не работает...

Бригада, пряча улыбки, отошла, но недалеко — за машину, так, чтобы слышать.

— Вы что? Больной?

— А вы?

— Слушайте, грузчик, бросьте ваш цирк. Вы не клоун. Давайте работать!

— Так ведь третий этаж.

Полина Васильевна энергично подошла к бригаде. Обратилась к Круминьшу:

— Послушайте, вы можете начинать без него. Давайте носить.

— Мы люди подневольные, — сказал за Вову Сорokin. — Пока начальник не прикажет, делать ничего не имеем права.

— Как в армии, — прогудел Вова.

А Павлов добавил:

— В десантных войсках.

Полина Васильевна снова метнулась к бригадиру.

— Послушайте, может быть, вы урезоните своих десантников?

— Вы же слышали мнение коллектива, — ответил Прокушев.

Полина Васильевна, казалось, раздувалась все больше и больше, словно воздушный шар. От негодования она, несмотря на всю свою заземленность, готова была взлететь.

— Как ваша фамилия? — спросила она.

Прокушев посмотрел в высокое небо, вытер пот и ответил:

— Толстой... князь.

— Врете, — уверенно сказала Полина Васильевна.

— А что? По-вашему, князь не может стать грузчиком? У нас теперь все возможно. Все равны.

— Можете, но вы не Толстой. Как ваша фамилия?

— Что, плохо пишу?

Полина Васильевна глубоко вздохнула и стала будто меньше в объемах. Потом порылась в кармане брюк и протянула бригадиру три рубля.

— Подавитесь!

Сказала она так, что Павлов с непривычки закашлялся.

Зачем он стал спорить из-за трех рублей, Прокушев и сам объяснить бы не смог. Была здесь обида за мужчин, ответная реакция на хамоватый тон Полины Васильевны, неприязнь к такому типу женщин, но чувства Прокушев давно уже научился подавлять в себе. И, если требовало дело, мог улыбнуться хаму, найти красивые слова некрасивой женщине, встать на уровень дурака, если такой встречался. Только у всякого, даже самого осторожного человека бывают минуты, когда хочется пошуметь.. Вот бригадир и пошумел.

Спрятав три рубля, Прокушев сказал:

— Ну, что, молодцы? Поехали?

— Куда? — испуганно спросила Полина Васильевна.

— Разгружать!

Молодцы побросали сигареты и принялись за дело. Старались разгружать быстро. Отчасти потому, что хотелось есть, отчасти — хотелось побыстрее развязаться с Полиной Васильевной, которая смотрела на грузчиков своими маленькими глазками, словно пантера. В общем, работали зло. Всем хорошо известно, какая это сила — мужики, работающие зло. Видимо, у нас и техника до поры приживалась так медленно, что на крайний случай кроме природных богатств всегда была в стране, как принято ее называть, дешевая рабочая сила, сила мужиков, которая никогда еще в критическую минуту не подводила. Правда, билась она часто совершенно в ненужном направлении и, если ее не направляли, обходилась всем ох как дорого! Но случался момент крайний — природа бунтовала или приходила война — и, забыв про обиды, про выгоду свою, про жизнь и

смерть, всегда поднималась дорогая всем нам рабочая сила. Сила мужиков.

Когда уезжали, Крутиков сказал Полине Васильевне:

— Дай бог вашему мужу хорошую любовницу!

Обедали в шашлычной «Арагви». Шашлыков не было. Об этом мягкий швейцар предупредил грузчиков при входе. Бригаду и бригадира он знал в лицо.

— Хорошо, хорошо, отец, — ответил Прокушев. — Мы так чего-нибудь. А что? Люда сегодня?

— Нина Павловна.

— Ну, ну... все худеет.

— А что ей сделается?

Прокушев дал швейцару двадцать копеек и пошел мыть руки. За ним — бригада.

— Сынки, — нежно проводил их швейцар, пряча монету в кошелек.

Прокушев каждый раз давал здесь швейцару двадцать копеек... За это он имел свободный вход и уважительное отношение в гардеробе. Бригадир вымыл руки два раза. Сорокин и Круминыш — по одному и без мыла. А Павлов лишь помочил руки. Он все прикидывал, как ему пообедать в «Арагви» на восемьдесят копеек, что дала жена.

Народу в зале было мало. Жара, да и время мертвое — около пяти часов. К столику подкатила женщина-колобок лет сорока пяти.

— Здравствуйте, мальчики!

— Нина Павловна! Солнце ты наше! Покормишь? — спросил бригадир.

— Всех, всех накормлю!

— Худеть когда будем? — спросил Сорокин.

Нина Павловна махнула рукой, в которой держала карандаш для записи заказов.

— Мужика заводи! — снова сказал Сорокин. — Сразу другая консистенция будет.

— Да где ж его взять? — весело отвечала Нина Павловна. — Ты ж не согласишься?

— Вот поем и подумаю.

— Болтун! — ласково сказала Нина Павловна и потрепала Сорокина по голове.

Записав заказ, официантка проворно откатилась.

— Егорыч! — крикнул Прокушев. — Хорошая женщина? А?

Крутиков сидел за другим столиком. Он терпеть не мог дыма и когда рассчитывались все вместе. Давно прикинув, что взять и сколько надо платить, Егорыч тем не менее еще и еще раз упражнялся в арифметике, поэтому на шутку бригадира не отреагировал.

— А жаль, — продолжал Прокушев, — жаль, что ты женат, а то сейчас выдали бы тебя за Павловну... Она бы нам обеда бесплатно...

Услышав «бесплатно», Крутиков поднял голову и огляделся. В зале вкусно пахло мясом, шашлычным соусом, кресла были мягкие, обстановка спокойная, бригада, за исключением Павлова, улыбалась. Павловна принесла тарелку хлеба. Вова Круминыш макал хлеб в соль и тяжело жевал. Минут через пять хлеб кончился.

— Вова, тебе плохо не будет? — спросил Сорокин.

— Не будет.

Павлов тоже захотел что-нибудь сказать, но раздумал. Чувствовал он себя неуютно. Павловна принесла салаты, харчо и бутылку коньяку. Увидев коньяк, Павлов побледнел.

— Вова, тебе еще хлебушка? — спросила Павловна.

— И побольше, чтобы покушать, — ответил Круминыш.

Харчо дымилось, переливалось под красной блестящей пленкой жира. Помидоры в салате слезились. И так хотелось есть, что казалось, даже от скатерти пахнет чем-то съестным.

Прокушев потянул ноздрями и скомандовал:

— Начали!

Ели быстро, молча, дружно. Как работали. Павловна присела за столик рядом, подперев голову рукой, смотрела на ребят. Взгляд ее стал печальным. О чем она думала? О том, что кормит четырех здоровых молодых парней, а дочь до сих пор живет одна? Или вспоминала, как ел ее покойный муж, когда был жив, молод и здоров? А может, ни о чем не думала? У каждой женщины бывает момент, когда выдастся перерыв в работе, сядет она, станет смотреть перед собой, да так ей хорошо сидеть без дела, что и мыслей никаких нет. Только грусть беспричинная на сердце и покой.

Вова доел харчо и вопросительно осмотрелся. Павловна вскочила и быстро унесла пустую тарелку. Вернулась уже с купатами. Когда бригадир доедал свою порцию, Павловна заговорила:

— Валерик, у меня к тебе просьба...

Прокушев согласно мотнул головой.

— Дочка в следующую субботу переезжает. Ты помоги! Я уж не обижу.

Прокушев снова мотнул головой. Перевел дух, отодвинул пустую тарелку с корочкой хлеба на золоченом ободке и сказал:

— К вечеру? Ага?

Обед кончился. Павловна деловито пощелкала пухлыми пальчиками по миниатюрным счетам, назвала цену и тактично отошла.

— Сегодня что-то на два рубля дешевле, — сказал Прокушев.

— Наверное, коньяк молодой, — ответил Круминьш.

— Кто будет платить? — спросил бригадир и широко улыбнулся.

— Кандидат, у него много... кандидатских, — ответил Сорокин.

Павлов покраснел.

— Я сегодня, если можно... в долг, — забормотал он. — У меня жена... всего восемьдесят копеек.

— Хорошая у тебя жена, — сказал Прокушев.

— Добрая, — подтвердил Сорокин.

А Вова Круминьш, икнув, пробасил:

— Восемьдесят копеек — это не добрая. Это — жадная. Восемьдесят копеек — это мало мужчине.

Прокушев достал кошелек, отсчитал деньги и положил на стол. После еды бригада отдыхала минут пять со спичками в зубах. Ждали, пока Крутиков допьет свой компот. Рассчитываясь с Павловной, Егорыч спросил:

— Мужики! У кого есть две копейки мелочью?

Оставался последний официальный адрес. Ехали не торопясь. Было впечатление, что машина тоже пообедала и теперь быстро двигаться не может. От шашлычной до Богдановых, переезжающих на другую квартиру, было недалеко, но мост через реку ремонтировали и пришлось подать в объезд.

По дороге сытый Крутиков стал излагать обычным ворчливым тоном собственную теорию происхождения человека.

— Дарвин был прав, — раскручивая баранку, говорил шофер. — Все мы произошли от зверя. Только от какого? Вот вопрос. Мое мнение, что от разных.

— А Дарвина? — спросил Прокушев.

— Что Дарвин! Он ухватился за свою обезьяну и все! Но где ты видел такую вредную обезьяну, как жена того идиота-писателя? Ясное дело, что предки ее от змея. Я вообще думаю, что большинство баб — от змея. А муж ее от кролика... Давно бы уж кролика на свете не было, змея проглотила бы, но природа-мать решила провести над нами эксперимент-и изобрела человека. И вот теперь живут кролик и змея под одной крышей. И змея кролика жрет не сразу, а в течение всей совместной жизни. Интересно природе посмотреть, как все звери уживаются, если их привести в одно человеческое обличье.

— Обличье — человеческое! — задумчиво сказал Прокушев.

— Вот и выходит, что человек — венец природы, высшая ступень, значит, — производное от всего живого! А ученые так прямо и говорят: человек — царь зверей и всего животного. А я лично могу даже сказать, кто от кого произошел. Сам я, например, от собаки, потому что добрый.

— Это от жары, Егорыч...

— Хочешь сказать, гавкаю много? А как же не гавкать, если кругом звери? Приходится обороняться.

— Для зверя клетка есть...

— Клеток не напасешься... Я бы из всех этих зверей каждого второго сажал. Выстроил бы всех по ранжиру и — на первый-второй.

— Так и меня сажать можно, — потягиваясь, сказал бригадир. — Давно пора...

— Тебя еще рано.

— А ты действительно, Егорыч, от собаки... Добрый.

— На том и держусь.

— А вообще-то, — Прокушев снова зевнул, — вообще-то после обеда надо говорить о чем-нибудь приятном, а не о Дарвине.

— О бабах, что ли? — спросил Крутиков. — Баб я бы всех сажал поголовно.

— А жить как?

— Жить и так можно.

— Ты это, Егорыч, своей жене объясни. Она тебя быстро поймет.

— Жена — дура, — сказал Крутиков. — Какой номер дома?

Он развернул машину поперек улицы и быстро въехал в проем между двумя девятиэтажными домами, напомилавший ущелье в горах. Миновав ущелье, фургон оказался во дворе, похожем на большой сад. От неожиданности Крутиков остановил машину.

— Это куда мы попали? — спросил он.

— В оазис, — ответил бригадир. — Улица Счастливая, дом шесть.

— Что, действительно Счастливая? Опять шутишь?

— Нет. Это уже не я. Это горсовет.

— Великих людей, что ли, нет... — проворчал Крутиков.

Прокушев выскочил из машины и с удовольствием вздохнул в себя чистого воздуха, огляделся. Во дворе вдоль домов и к центру шли ровные узенькие аллеи высоких зеленых тополей. На газонах сочно зеленела трава, густо росли кусты сирени, а в центре двора жители посадили яблони, на которых уже появились ядовитого цвета плоды. Уличный шум остался за домами, дышалось легко, и у Прокушева было впечатление, будто он очутился в саду после грозы. День уходил, и солнце уже не палило, а лишь касалось лучами верхушек тополей.

Однако долго любоваться природой Прокушев не мог. Нужно было работать.

— Вылезай, — сказал он Крутикову. — Они же все подъезды клумбами засадили. Грузовая не пройдет.

Бригадир выпустил бригаду, а сам с Крутиковым пошел искать нужный подъезд. Обойдя очередной куст сирени, они увидели двух молодых людей.

— Это что за братья Губины? — спросил Прокушев.

— Местные разгильдяи, — объяснил Крутиков.

На самом же деле это были братья Богдановы. Они стояли, упираясь в железные перила крыльца, и поигрывали мышцами под синими облегающими их накачаные фигуры футболками. Оба были женаты, имели детей и уже три года занимались атлетической гимнастикой. При встречах или по телефону братья между собой разговаривали так:

— Ну, как жизнь?

— Семьдесят пять, сто тридцать и сто.

— А у меня семьдесят семь.

— Ого! Счастливый!

Цифры означали объемы бицепсов, груди и талии.

Братья ждали машину и, чтобы не терять времени, напрягали и расслабляли различные группы мышц. Это входило в комплекс тренировок. Бригадир бодро подошел к братьям и спросил с уважением:

— Восемьдесят?

Младший — Антон — смутился, улыбнулся и сказал:

— Нет. Пока еще семьдесят пять. Вот брат приближается.

— Ого! — воскликнул Прокушев. — Позируете?

Старший — Сергей — из живой скульптуры превратился в милого парня и ответил:

— Пока только мечтаем. Рано еще. Всего три года — это же не срок. А выступить хочется достойно. Чтобы было что показать. А вы тоже качаетесь?

— К сожалению, пока тоже только мечтаю. Что будем грузить?

— Папу, — ответили братья, мило улыбнувшись.

Отец братьев Петр Сергеевич Богданов после смерти жены жил один в двухкомнатной квартире. Два года назад он тяжело заболел. Ему сделали одну операцию, вторую, но это мало помогло. Врачи разговаривали с ним все бодрее, а самочувствие становилось все хуже. Петр Сергеевич решил от третьей операции отказаться, но ему ее никто не предложил, и Богданов понял, что скоро конец. Он позвонил жене старшего сына и сказал, что пора им съезжаться, иначе квартира пропадет. Родня колебалась, но Петр Сергеевич торопил с обменом. Кроме благородного желания расширить жилплощадь своим близким, оставить после себя хорошую память Богданову почему-то очень не хотелось умирать именно здесь, на улице Счастливой. «И если уж так неизбежен конец, — думал Петр Сергеевич, — то лучше, если он придет на какой-нибудь Промышленной или Железнодорожной...»

— А подъезжать будем на крыльях, — говорил Крутиков курившей у машины бригаде. — У них здесь садоводство, видимо, яблочки-цветочки. А вы ребята на своем горбу шкафы таскайте. Вот еще метров десять я подъеду, а дальше аллея сужается, да еще клумба на дороге, розарий... Так что, хлопцы, делайте выводы.

— Рублей десять, — сказал Сорокин.

— Или пятнадцать, — пробасил Круминьш.

— Давайте двадцать пять, — улыбаясь, предложил Павлов. — По пяти рублей на лицо!

— На хайло, — поправил Сорокин и, вздохнув, добавил: — Бросал бы ты свою науку, кандидат. Иди к нам, бригадиром будешь!

Павлов снова улыбнулся и покосился на Прокушева.

— В общем, так! — подытожил тот. — Там у них хозяйн больной, так что повежливей...

— Интеллигентно, — сказал Круминыш.

— Ну да. Как ты умеешь.

Бригадир поплевал на ладони и повел коллектив работать.

Крутиков все-таки еще раз доказал, что водитель он классный. Машина продралась в глубь аллеи, почти к самому подъезду, но на пути встала клумба с красными тюльпанами. Машина уткнулась в этот красный цвет, словно в запрещающий сигнал светофора, и остановилась...

Петр Сергеевич сидел на стуле посреди разгромленной комнаты и, держась за грудь, оглядывал напоследок родные стены. Горло и грудь были у него перевязаны, и говорил он шепотом. Рядом стояла невестка. Поза у нее была такая, словно она ждала сигнала, чтобы броситься спасать Петра Сергеевича в ледяную воду.

Прокушев вошел тихо, за ним так же тихо бригада. Обстановка в комнате да и сам хозяин напомнили бригадире известную картину «Меншиков в Березове». Беспорядок подчеркивали фотографии, валяющиеся на полу. По ним, видимо, уже не раз прошлись, потому что из белых и желтых они стали черными. Прокушев ближайшую ногой перевернул, посмотрел. На фотографии улыбались две девушки в беретах. Бригадир наклонился, поднял ее, прочитал на обороте:

— «Дорогой Валечке в память о совместной работе на прессе номер семь...» У вас фотографии упали! Память все-таки.

— Это не та память, — прошептал Петр Сергеевич.

Прокушев пожал плечами и осторожно положил фото обратно на пол.

— Переезжаем? — как можно бодрее спросил бригадир.

— Помирать еду, — снова прошептал Петр Сергеевич. — Так сказать, на тот свет.

Невестка улыбнулась, но улыбка получилась вымученной.

— Ну ничего, — проговорил Прокушев. — Все еще образуется.

— В рай, — ответил Петр Сергеевич.

— В рай еще рановато, — прогудел Вова и, подойдя к Богданову, галантно спросил: — Вас отнести?

Петр Сергеевич спустился сам. Правда, с помощью сыновей. Его усадили на скамеечку под топодем недалеко от машины. Тут уже сидел Крутиков. Шофер посмотрел на Петра Сергеевича, с сочувствием спросил:

— Рак, что ли?

Петр Сергеевич с трудом ухмыльнулся и, не поворачивая головы, тоже спросил:

— Шофер, что ли?

— Ничего, — продолжал Крутиков. — Бывает, вылеживают. У меня брат чагу на собственной моче настаивал. И вылез. Без всяких врачей. Правда, как оказалось, было не это дело, но все равно помогло. Не пробовали?

— У меня такое чувство, — прошептал Петр Сергеевич, — что вы очень здоровый человек.

— Это еще как сказать! Недавно спину так стянуло, что хоть на работу не ходи. Спасибо, водка дома была. Растерли... А что врачи говорят?

Петр Сергеевич сидел в напряжении, смотрел строго вперед, словно справа и слева мог увидеть боль.

— А что они могут говорить? Говорят, ничего страшного не произошло. Живите полной жизнью. Хе... Вот я и живу.

— Да-а! Что они понимают, — проворчал Крутиков. — Сейчас любая бабка больше знает. А этих кандидатов учат, учат... У меня племянник по двоюродной сестре семь лет учился. На что уж карбюратор хорошо соображал, а когда у сестры обыкновенный аппендицит случился, и то не смог вылечить. В больницу повез!

— Слушайте, — прошептал Петр Сергеевич с трудом, — давайте помолчим?

У Крутикова лицо вытянулось от негодования.

— Больше всего не люблю в людях хамство, — сказал шофер в наступающий вечер. — К людям по-хорошему, а они тебе в ветровое стекло ком грязи. В знак благодарности!

Петр Сергеевич тихо застонал. К нему подскочил Прокушев:

— Что? Плохо?

Петр Сергеевич махнул рукой, согнулся.

— А все из-за моей доброты, — сказал Крутиков.

Бригадир пошел за невесткой, которая с Павловым таскала тюки, а шофер засеменил рядом.

— Еще и стонет! — говорил Крутиков. — Это за всю доброту! А и наука мне дураку! Не лезь с сочувствием. И ведь сколько раз себе твердил: не делай людям добра! не делай людям добра! Нет! Сделал! И что получил! Мордой в грязь!

На площадке у открытых дверей квартиры Богданова бригадир развернулся и влепил:

— Егорыч! Сколько раз я тебя просил! Не мешай работать.

Крутиков сник и зашуршал вниз по лестнице.

Невестка сделала укол, Петру Сергеевичу стало легче. Он с опаской осмотрелся, но Крутикова рядом не было. Тот забрался в кабину и оттуда, словно из норы, гордый и обиженный, наблюдал, как работают другие.

Братья Богдановы работали наравне со всеми. Силы у них было не меньше, чем у грузчиков, а вот умения не хватало. Когда Сорокин в шутку спросил, зачем они, такие здоровые ребята, вызывали бригаду, Богдановы искренне ответили:

— А мы не умеем.

Видимо, у теперешних парней сила есть, а вот умения не хватает. Хотя умелого у нас всегда ценили больше сильного, не говоря уже об умном.

Когда Богдановы тащили письменный стол, младший споткнулся и рухнул в тюльпаны. Крутиков удовлетворенно сплюнул, а из окна первого этажа высунулась белобрысая голова мальчика и закричала, словно пластинку заело:

— Не мните, пожалуйста, тюльпаны, не мните, пожалуйста, тюльпаны! Не мните...

Подошел Вова Круминыш, поднял одной рукой стол и освободил из-под него младшего из братьев Богдановых.

— Еще навыка нет, — сказал тот, отряхивая штаны.

— Не мните, пожалуйста, тюльпаны! — последний раз крикнула голова и скрылась.

Работали быстро. Спешили. День кончался, а еще надо было успеть на халтуру в центр города. Там их ждали, как сказал Сорокин, настоящие деньги. Собственно, такие вечерние рейсы и позволяли грузчикам жить безбедно.

Особенно усердствовал Павлов. Над ним висел непоплаченный обед, и он изо всех сил старался отработать свой долг. Работал Павлов почти бегом. Сорокин удивлялся и подбадривал:

— Кандидат, сдохнешь!

Павлов понимающе подмигивал Сорокину и бегал еще быстрее. Он чувствовал подъем сил и желание доказать свою необходимость бригаде.

После погрузки даже не стали курить. Бригада залезла в кузов, Прокушев сел в кабину, и Крутиков, выведя машину из оазиса на улицу, тронул вслед за «Жигулями», в которых разместилось семейство Богдановых. «Жигули» были красного цвета, и Крутиков чувствовал себя быком. Ехали минут сорок, и за это время шофер не сказал ни слова, потому что был действительно зол. Богдановские «Жигули» стали последней каплей, и Крутиков очень жалел, что управляет не танком.

Обмен проводили сложный. Менялись сразу несколько семей. Когда приехали на место, произошла накладка, там еще грузилась другая бригада из агентства. Бригада Вити Подьячего. Она была известна в агентстве своим ростом: самый высокий в ней — бригадир — вырос всего на метр шестьдесят два — и постоянными скандалами с клиентами. Когда Вите выносили меньше двадцати рублей, он считал это личным оскорблением.

Прокушев Витю ненавидел и называл жлобом, справедливо считая, что такие люди мешают и работать и зарабатывать. А тут еще эта непредвиденная задержка. Подьячий по всем нормам должен был освободить квартиру час назад, но задержался опять-таки из-за споров с клиентами.

— Жмоты попались, — встретил Витя Прокушева. — По квитанции сто пятьдесят рублей отдали, а мне червонец в нос сунули. Ну я им довезу мебель! Они у меня свой гарнитур по кусочкам собирать будут!

Бригада Подьячего согласно закачала головами, и Прокушеву показалось, что перед ним небольшая стайка головастиков. Такие они были маленькие и одинаковые своими головастыми фигурами.

— А у тебя как успехи? Вижу, не очень? — с надеждой спросил Витя и кивнул в сторону вылезавшего из «Жигулей» Петра Сергеевича.

— У меня все в порядке, — сказал Прокушев.

— У тебя всегда все в порядке. Тебе за красивые глаза деньги выносят. А тут бьешься, бьешься!

— Так и ты сделай красивые глаза...

— Я человек рабочий, — сказал Витя. — Мне этого не надо, я высших институтов не кончал. Мне свое отдай, кровно завоеванное.

— Ну, ну... давай, люмпен. Смотри, оковы не потеряй.

Что такое люмпен, Витя не знал, но ответил бодро:
— Не бойсь! Своего не потеряем!

У отца Прокушева был один знакомый, очень похожий на Витю Подьячего. Такой же маленький, бойкий и злой. Фамилия его была Чихалов.

Каждый раз, приходя к отцу Прокушева, он начинал перечислять препятствия на своем пути к высокому служебному положению и ругать людей, которые, по его мнению, ставили эти препятствия. Отец Прокушева внимательно слушал гостя, понимающе кивал и говорил:

— Чихалов, надо любить людей, надо быть добрее...

— Как же я могу быть добрее, — отвечал Чихалов, — скажем, к...

Тут следовала какая-нибудь известная Прокушеву фамилия.

— ...когда он уже дачу себе достраивает. А какая у него машина?! Да что машина, он яхту себе собираетсь покупать!

Как и многие, Чихалов почему-то считал, что хорошая квартира, машина, дача (именно в такой последовательности) — все это ступени падения. Ну, а уж яхта — совсем подвал. Дальше и падать некуда. Но самое смешное, что именно ко всему этому стремился и сам Чихалов. И, получив квартиру, дачу, машину, считал бы себя отнюдь не опустившимся человеком. Это Валера Прокушев понимал уже тогда.

Отец снова внимательно слушал гостя, вздыхал и повторял:

— Надо любить людей, Чихалов. Именно любить надо. Понимаешь, надо! Хочешь ты или не хочешь. Это объективная необходимость. Иначе ты ничего не добьешься в жизни. Люди, почувствовав твою нелюбовь, ответят тем же. Тут нет выбора. Конечно, слаще для самолюбия любить только себя, но надо любить и других. Понимаешь? Надо! Есть такое слово...

— Как же я могу любить других, — спрашивал Чихалов, — если у них и дачи и машины, а у меня ничего?

Когда Чихалов уходил, отец говорил Валере:

— Не дай бог тебе стать таким...

Разгружались так же быстро. Правда, у всех было впечатление, будто вещи стали тяжелее. Лишь Павлов неутомимо носился взад-вперед и всем улыбался.

Петра Сергеевича снова посадили на стул посреди

пустой комнаты. И его, словно каркас будущей скульптуры, обкладывали мебелью. Мебелью новой, блестящей, и вскоре Петр Сергеевич совсем затерялся среди этого блеска. У него появилось чувство, будто на грязное тело ему надели накрахмаленную чистую рубашку.

— А хорошо здесь будет жить без меня, — сказал Петр Сергеевич-грустно.

Но невестка спустилась вниз, а грузчики занимались сервантом, и Петру Сергеевичу никто не ответил. Так он и сидел один, пока не выгрузили всю мебель и тюки с вещами.

Пришло время прощаться. Сорокин и Круминьш встали у шкафа и шупали его, будто шкаф был плюшевый, разгоряченный Павлов что-то перекладывал в коридоре, а Прокушев подошел к любителям атлетизма и стал желать им рекордных сантиметров. Братья улыбались и приглашали к себе в клуб «Атлант». К Петру Сергеевичу Прокушев подошел после всех. Как к хозяину.

— Вы поправляйтесь, — сказал бригадир. — В такой квартире грех болеть.

Сорокин и Круминьш заулыбались.

— Берегите себя, — сказал Сорокин.

А Круминьш добавил:

— Как зеницу ока.

— Спасибо, спасибо, ребята, — слабо выдыхал Петр Сергеевич. — Вы вот что...

Петр Сергеевич подозвал знаком невестку.

— У меня там... в пальто... принеси.

Невестка принесла портмоне. Петр Сергеевич достал оттуда сиреневую бумажку и хотел было протянуть ее Прокушеву, но тут в комнату ввалился улыбающийся Павлов.

— Да что вы! — доброжелательно заговорил он, подмигнув бригадиру. — Это вы ни к чему! Сами знаете, не за страх работаем, за совесть!

Павлов в ожидании одобрения снова посмотрел на Прокушева, Петр Сергеевич даже не удивился, настолько уверенным был тон Павлова.

— Ну что же, — прошептал он. — Вы, я вижу, действительно хорошие ребята. Еще раз... вам тогда спасибо...

Петр Сергеевич покрутил сиреневую бумажку в руках и добавил:

— Закажу себе тогда гроб лакированный... или нет... глазетовый. Бывают теперь такие?

— Бывают, — сказал Вова Круминьш, внимательно глядя на Павлова.

Тот еще улыбался, но глаза его, натыкаясь на взгляды бригадира и товарищей по погрузке, гасли.

— А вы хотели нас отблагодарить? — поспешно заговорил Павлов. — Так я здесь не главный. У нас главный вот... бригадир. У нас дисциплина!

Но Прокушев уже вышел, за ним поспешили Сорокин и Вова.

— Ага... ага... значит, все нормально, — растерянно бормотал Павлов. — У нас строго. Дисциплина, как в армии.

Внизу у машины его ждали. В густеющих сумерках светились три сигареты. Еще два огонька были глаза Крутикова. Сорокин вкратце все ему сообщил. Павлов медленно подошел к машине, поднял глаза, похлопал себя по карманам.

— Мужики... я думал, что человек болеет... И бригадир предупреждал...

— Думал! — воскликнул Крутиков. — А мы что, если не кандидаты, то и думать не умеем?

— Мы что, по-твоему, изверги? — спросил Сорокин.

— Он же двадцать пять рублей давал! — пробасил Круминьш, и казалось, бас его от обиды стал еще гуще.

— А для кандидата это не деньги, — сказал Сорокин. — Восемьдесят копеек — это деньги...

— Кандидат у нас богатый! — подтвердил Крутиков. — Ему деньги не нужны. Ему ничего не нужно! Он просто так с нами ездит! Я бы таких каждого второго стрелял.

— Он не второй, он — первый! — Сорокин сплюнул. — Он, видишь ли, подумал о клиенте! А о товарищах по рабочему коллективу ты подумал? Ты же с нами плечо к плечу трудился!

— Индивидуалист, — отрубил Крутиков. — Я не удивлюсь, если у него и «Жигули» собственные имеются!

— У меня нет «Жигулей», — тихо ответил Павлов.

— Не накопил еще. Понятно. Ну ничего, скоро накопишь на жилах своих товарищей.

— Статья сто шестьдесят вторая, часть вторая... — сказал Сорокин, — использование наемной рабочей силы в личных целях. Преследуется законом.

— У нас не Америка! — пробасил Круминьш.

— Такой и в Америке «Жигулей» напokuпает! — ска-

зал Крутиков. — По трупам товарищей пройдет и станет магнатом!

Павлов стоял красный и потный, хотя из-за темноты этого было не видно. Он уже прикидывал, каким трамваем добираться отсюда домой, и проклинал себя за то, что поехал с грузчиками. В эту минуту ему хотелось побыстрее защитить кандидатскую диссертацию, вызвать грузчиков к себе домой и швырнуть в них сто рублей четырьмя двадцатипятирублевыми бумажками.

— Я единственного не пойму, кто у нас начальник? Кто шеф? Бригадир кто? — наступал Крутиков. — Кто, наконец, ведущая шестерня?

— Можно и без шестерни, руками, — пробасил Круминыш.

Тут Павлов почувствовал, что его могут побить.

— Нет, кто шеф у нас? А? Я спрашиваю, кто ведущий, а кто ведомый?!

— Ладно, — тихо, но твердо сказал Прокушев. — Хватит... Кандидат, мы тебя не тронем, но ты должен понять, что ты — наш гость... Это во-первых. А во-вторых, пойми, что, если бы у инвалида не было денег, он бы нам их не предлагал. Вот ты можешь дать мне сейчас двадцать пять рублей?

— Восемьдесят копеек он может! — проворчал Крутиков.

— Мелочью, — добавил Сорокин.

— Так можешь или нет?

— Ну, не могу...

— А без ну?

Павлов поднял глаза, собираясь возмутиться.

— Послушайте...

— Ну так вот о чем и речь, — сказал Прокушев. — Мы же ведь не взятки берем, верно? Мы берем то, что нам люди дают сами, в знак благодарности...

— И благородства, — добавил Крутиков.

— Да. Так вот ты сейчас стоишь здесь и не знаешь, что, может быть, обидел человека своим отказом на всю жизнь! А ему ведь и жить-то всего ничего осталось. Так и умрет с обидой!

Павлов ловил взгляды грузчиков, стараясь понять, шутит бригадир или нет.

— Он не обиделся, — пробормотал Павлов. — Я видел.

— Значит, не подал виду. Тактичный человек.

— В отличие от некоторых, — сказал Крутиков.

— Да. Ты пойми... ну куда ему деньги? Они же все равно этим перекачанным обормотам достанутся.

— И гроб они ему закажут самый простой! — воскликнул Сорокин.

— В общем, времени нет. Надо ехать. Но я тебя прошу как человека: помолчи, если хочешь ехать с нами дальше. Помолчать, когда тебя просят, — это еще не самое страшное в жизни.

Павлов хотел было с обидой сказать, что никуда дальше не поедет, но бригада уже садилась в машину, и кандидат поспешил следом. Однако, когда его закрыли в фургоне вместе с Вовой, Павлову стало страшно. Он вжался в угол и нервно вглядывался в темноту фургона. Тут вдруг под потолком загорелась лампочка, Павлов увидел, что Вова и Сорокин дремлют в своих углах на ремнях, и немного успокоился. Подумалось даже: «А по какому праву тут надо мной издеваются? Кто я им? Грузчик, что ли? Я научный работник!» Павлов хотел было потребовать немедленной остановки машины, чтобы выйти, но тут представил, как проснется Вова Круминыш, и решил подождать.

Прокушев потянулся и громко зевнул.

— Не переживай, бригадир, — успокаивал Крутиков. — Из-за каждого кандидата переживать — никаких нервов не хватит.

Крутиков резко затормозил перед светофором, и Прокушев качнулся вперед.

— Бери пример с меня. Другой бы на моем месте давно бы испсиховался, а я молчу. Молчу, и всё. И это несмотря на весь ущерб, нанесенный мне и моему трудящемуся коллективу... Вообще-то, конечно, вешать таких кандидатов надо...

— Каждого второго... — лениво сказал Прокушев.

— Нет. Из каждых трех — двоих! Только я молчу. Молчу, и всё.

Бригадир осмотрел кабину. В который уже раз ему улыбнулась вырезанная из журнала японка, табличка у стекла напомнила, что в кабине не курят... Сразу захотелось курить. Прокушев провел пальцем по приемнику. На пальце остался слой пыли.

— Да... Технику надо беречь, — сказал бригадир.

— Это за день накопилось, — объяснил Крутиков и тут же стер пыль тряпочкой.

Приемник для Егорыча был в кабине хуже кандидата. И если бы не бригадир, он давно бы уже сменил эту музыку на что-нибудь полезное. Скажем, на ящичек для ветоши. Пыль Крутиков не вытирал из принципа, чтобы приемник скорее испортился.

Прокушев нажал клавишу, повертел то, что осталось от ручки настройки, нашел печальную мелодию. Под нее бригадиру вспомнился сон, и он с грустью подумал о себе, об отце, о своей работе.

— Нет, Егорыч, — тряхнув головой, сказал Прокушев. — Это вранье, что музыка успокаивает.

— Музыка раздражает, — ответил Крутиков. — Давай лучше «Маяк». Там пятнадцать минут «Вокруг смеха».

Бригадир перевел приемник на другую волну.

— Иван Иванович поздравил тещу с Восьмым марта и преподнес сковородку! — бодро читал артист.

Крутиков серьезно сказал:

— Вот она, семейная жизнь! Остро пишут!

— Юмористы, — проговорил Прокушев.

Машину тряхнуло, и бригадир продолжал:

— Слышь, Егорыч, пойду и я в писатели?

— Ага! В сатирики! Ох, посмеемся!

— Нет, я в сатирики не хочу. Я в серьезные...

— Правильно. Тоже смешно... Тебе сам бог велел писать. Теперь вон какие плюгари сочиняют. Жены боятся, а сочиняет! Я бы таких стрелял! А ты — парень видный, здоровый... Силы — вагон. Да тебе необходимо писать! И вот мой совет: начинай прямо с меня. Так, мол, и так... жил на свете хороший человек и отличный производственник, шофер Николай Егорыч Крутиков! Интересная получится книга!

Прокушев уже не слушал. Он смотрел на бегущую под колеса полосу оранжевого асфальта, снова думал о своей жизни и все в ней понимал. А когда человек все о себе понимает, ему грустно...

Ехали по центру, но район был тихий, темный. Такие есть в любом городе. От главного проспекта всего ничего, а совсем другой вид. И света меньше, и дома старше. Дома эти до революции назывались доходными. Теперь от них горсовету одни убытки. Снести бы доходные дома да построить новые, удобные, светлые, но нельзя. Архитектурная ценность.

Женщины в возрасте иногда меняют кожу на лице. Лицо становится молодым и свежим, а впечатление при

общем взгляде — несоответствия, неестественности. Так и доходные дома. Снести их можно, но будет ли соответствовать новый район возрасту города?

Прокушев опустил боковое стекло и высунул голову. В лицо ударило теплым, будто из калорифера, воздухом. Бригадир сел, как прежде, и проговорил:

— Жарка украинская ночь!

— Кандидаты химичат, — отозвался Крутиков. — Их опыты. За это по шее надо, да им — звания, деньги, почет. Где это видано, чтобы летом такая жара?

Он развернул машину и въехал под арку дома со светящимся номером сорок. Заказчик жил здесь. В желтом свете лампочки у второго подъезда стоял пузатый человек.

— Тише, тише, — заговорил он, — пожимая руку бригадиру.

— А что так?

— Не надо шуметь. Мы же не в Европе...

С той же просьбой обратился заказчик и к бригаде. Когда поднимались по плохо освещенной лестнице, Павлов старался не дышать и думал, что по вечерам бригада помогает грабить квартиры. Поднявшись, он все понял. В квартире у заказчика в ярком свете хрустальных люстр стояло три одинаковых мебельных гарнитура.

— Целый склад, — с удивлением пробасил Вова.

— Тише! Тише! Умоляю... без шума!

— А что все тише да тише? — шепотом спросил Сорокин у бригадира.

— Тише? — бригадир задумался. — Тише — значит... тише.

Мелочи, к которой Павлов уже привык за день, здесь не было. Пришлось взяться за основную работу грузчиков. Бригадир дал было Павлову ремни, но, увидев, как тот начал их вертеть в руках, отобрал.

— Давай так, — сказал Прокушев, — руками.

— Только с головой, — внятно добавил Сорокин.

Началась работа. А минут через десять Павлов почувствовал, как сводит от напряжения руки, как подгибаются ноги, как ноет спина. Но для него сейчас легче было умереть, чем отказаться от работы. Павлову казалось, что за ним все люди умственного труда, вся интеллигенция страны. Он должен был доказать свою силу.

Работали молча, только хозяин ходил следом и говорил:

— Ради бога, тише. Умоляю, без шума!

Казалось, от того, что надо грузить тихо, мебель стала еще тяжелее. Матерились шепотом.

Перевозка была недалняя. Всего минут пятнадцать на машине, но все три гарнитура не влезли. Пришлось их разделить на два захода.

— По адресу вас встретит Игорь Петрович Манаенков, — тихо говорил во дворе заказчик бригадиру. — Очень достойный человек. Европейский ум. Я ему многим обязан, так что очень прошу сделать все тихо.

— Комар носа не подточит, — ответил бригадир.

— А вот этого не надо. Прошу вас, никакой самодетельности. Нужно тихо и незаметно.

Все будет в полном ажуре!

— Не надо ажуров! Я вас очень прошу.

Прокушев кивнул, хотел было еще что-то сказать, но заказчик приставил палец к губам, и бригадир промолчал.

Бригада залезла в кузов, машина взревела, тронулась, а заказчик схватился за голову и тихо застал.

В кузове было тесно. Места осталось между шкафами и дверью в одно не очень богатое туловище. Павлов, когда вдыхал, чувствовал, как живот расплывается по прохладной полировке. Слева было плечо Сорокина, справа — Круминьша. Так плечом к плечу они и ехали. Павлову было душно и страшно. А Сорокин и Круминьш разговаривали через него.

— Вова, ты заметил, как хозяин боится?

— Хозяин — жулик, — отвечал Круминьш.

— Интересно, сколько с него бригадир снимет?

— Жуликов надо наказывать. Если бы не они, люди жили бы спокойно.

— А если он — инвалид? Откажемся?

— Тот, кто откажется, сам будет инвалидом.

Крутиков осторожно, чтобы в кузове не придавило ребят, притормозил у желтого трехэтажного дома. Прокушев вылез из кабины, огляделся. Встречающих не было. Он открыл фургон, ребята попрыгали вниз на мягкий асфальт. Час был поздний, вокруг ни души, темно. Лишь подъезд освещался тусклой лампочкой.

— Так дела не делаются, — тихо сказал Прокушев.

Почти тут же из подъезда вывалился мужик: ростом с бригадира, с копной рыжих волос, в рубашке, расстегнутой до пояса.

— Здорово, молодцы! — гаркнул он так, что, казалось, окна в доме вздрогнули.

— Тише! Тише! — сказал Прокушев.

— А-а! Это вы от Щепоткина! Ох и дрянь человека!

То, что Манаенков был нетрезв, понял даже Вова.

— Собственной тени боится, подлец. А еще делами, говорит, хочу заниматься! Дела надо делать весело! Как говорится, не жалею, не зову, не плачу...

— А вы смелый человек, — осторожно сказал Прокушев.

— С небольшой, но ухватистой силою.

— Есенин... понимаю...

— Что? Не любишь? А? Признайся, только честно... Не люблю подлецов...

— Игорь Петрович, куда грузить? Нам еще ходку делать.

— Он и отчество мое выдал? Вот сволочь! С кем приходится работать! А с кем приходится отдыхать... Еще ведь хуже... Ребята, пойдем ко мне... посидим... Бог с ними, со шкафами. Жизнь дается только один раз.

— Игорь Петрович...

— Вечер-то какой! Имею я право раз в жизни отдохнуть?

— Имеете, Игорь Петрович. Только давайте закончим сначала.

— Вы выпили, — прогудел Вова Круминьш, — а дело стоит.

Манаенков вдруг как-то ослаб, забормотал:

— Да, да... и вы тоже. Носите, конечно... Квартира номер пятьдесят... Шучу. Двадцать один. Очко... Так сказать, тройка, семерка, туз...

Игорь Петрович присел на теплый тротуар и грустными глазами стал смотреть, как разгружают машину.

Чтобы не терять времени, разделались. Круминьш и Сорокин остались таскать мебель в квартиру, а бригадир с Павловым поехали за остатками гарнитуров. По дороге Крутиков ворчал:

— Кому помогаем? Бандитам помогаем! И добро бы просто бандитам, а то один пьянь, хронь, алкаш, а второй чокнутый. Их в тюрьму надо, а не помогать... Они же на мебели косые тыщи делают. Из таких вот, как мы с тобой, трудящихся кровь сосут. Это же социальные клещи!

Услышав такое образное выражение от шофера, Прокушев внимательно на него посмотрел и сказал:

— В природе, Егорыч, все необходимо.

— То в природе, а то — у нас, в Советском Союзе!

Щепоткин встретил Крутикова вопросом:

— У вас что? Глушители не работают?

— Сам глушитель, — проворчал Крутиков.

Повернувшись к бригадиру, Щепоткин уже с улыбкой тихо спросил:

— Как доехали? Как Игорь Петрович?

— Очень тепло о вас отзывался, — сказал Прокушев и подумал: «Челночная дипломатия».

— Да, да... Мы с ним старые приятели. Достоянейший человек. Только тише, пожалуйста, тише...

Стали грузить остатки мебели. Крутикову пришлось помогать. Он с удовольствием бы уронил пару шкафов, но боялся, что с него удержат их стоимость. Зато когда из серванта выпал целлофановый пакетик с запасными пружинками и шурупами, Егорыч с хорошим чувством вдавил его ногой в канализационный люк.

Павлов таскал мебель уже в каком-то оцепенении, потеряв ощущение реальности. Сегодняшний день казался ему длинным навязчивым сном. И держался Павлов на чувстве, что рано или поздно наступит пробуждение. Когда погрузили последний стул, Щепоткин поднялся с бригадиром в квартиру и прошептал:

— На кухне, на холодильнике... книга. Страница пятнадцать. Ровно половина, как договаривались. Остальные получите у Игоря Петровича.

Прокушев вспомнил Игоря Петровича и спросил:

— А нельзя ли у вас?

— Нет. Как договаривались. И тише! Ради бога, тише!

— По-честному? — снова спросил Прокушев.

— Слово европейца, — прошептал заказчик.

Когда приехали к Манаенкову, тот все так же сидел на тротуаре, только рядом с ним были Сорокин и Круминьш. Все трое пели:

Увядания золотом охваченный, я не буду больше молодым.

Подскочил Прокушев.

— Вы что? С ума сошли? Егорычу еще машину сдавать!

— Трошки расслабились, бригадир, — сказал Сорокин. — Думали, Петрович жулик, а он отличный мужик!

— Нет, ребята! Я жулик! Меня казнить надо!

— Казнят преступников — сказал Вова, — а ты отличный мужик. Значит, тебя не надо казнить.

— Лишу квартальной, — предупредил Прокушев.

— Шутим, шутим, — забормотал Сорокин. — Вова, работать!

Круминьш один принял на спину шкаф и со словами «за Петровича!» двинул наверх. Круминьш чувствовал прилив сил. Это намного сократило время разгрузки.

Когда все закончилось, Павлов прислонился к шершавой стене дома и подумал, что завтра выходной. Ему с трудом верилось, что больше не будет этого бесконечного ряда шкафов, холодильников, кресел и диванов. Этой бесконечной реки.

— Мужики! Вы ж герои! — шумел Игорь Петрович. — Вам ордена нужно вручить. Самые высокие! А Вове еще и медаль!

Прокушев подошел к Манаенкову и сказал:

— Игорь Петрович... ваш друг, на той квартире...

— Подлец.

— Да. Это несомненно... Но он обещал некоторую финансовую поддержку.

— Вот сволочь! Я ведь хотел сам, от чистого сердца!

Манаенков полез в правый карман брюк, вынул комок из денег и сунул Прокушеву.

— Это за Вову.

Бригадир взял комок, попытался, глядя на Манаенкова, на ощупь определить, какими купюрами расплатился Петрович. Тот залез в левый карман, достал и от туда комок.

— Это за Петю!

Потом вытащил из заднего кармана рубль и сказал:

— А это за мерзавца Щепоткина!

Манаенков расцеловался со всеми, кроме Павлова, который стоял в стороне, и предложил грузчикам пожить у него дня два.

— Только не сегодня. Хорошо? — сказал Прокушев.

Договорились на следующую неделю. Манаенков еще раз поцеловал всех, расчувствовался, заплакал и пошел к себе домой. Вытирая щеку после мокрых поцелуев, Егорыч сказал:

— Пьянь...

Бригадир принялся распекать подчиненных:

— Сколько раз говорить: на работе, а тем более с клиентами...

Павлов смотрел на этих людей у машины, слушал и не понимал, при чем здесь он. Казалось, что все это по телевизору. Захотелось переключиться на другую программу. Павлов отошел подальше, голос бригадира стал тише... Отошел еще — голос совсем пропал. Павлов отходил все дальше и боялся, что его сейчас окликнут и снова заставят грузить...

— А теперь займемся арифметикой, — сказал бригадир. — Нас пять человек.

— Четыре с половиной, — сказал Сорокин.

— Нас пять человек, — повторил бригадир. — Значит, если на пятерых... А где кандидат?

— Был тут, — пробасил Вова.

— Струсил, — сказал Крутиков.

— Кандидат! — крикнул Прокушев. — Кандидат! Ты где? Как его зовут-то? Кандидат! Слышишь?!

Но Павлов был уже далеко. Он быстро шагал по ночной улице и улыбался. Дышалось легче, хотя воздух был по-прежнему теплым. Фонари вдоль улицы напминали гирлянду из светлячков. Видно их далеко, а света они дают мало... И странно было идти в этой теплой темноте, потому что темнота всегда казалось Павлову холодной.

Он вдруг остановился, подумал о деньгах, но тут же вспомнились утренняя задержка, обед в шашлычной, инвалид с улицы Счастливой... Павлов немного подумал, махнул рукой, будто градусник встряхнул, и уверенно зашагал к дому. Отсюда было недалеко.

Басиков Леонид Аркадьевич. Родился в 1947 году в Ленинграде. В 1972 году окончил Санитарно-гигиенический медицинский институт. Работает врачом. В 1985 году в журнале «Звезда» (№ 6) опубликован его рассказ «На добрую память».

Бояшов Илья Владимирович. Родился в 1961 году в Ленинграде. В 1982 году окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена. Работает младшим научным сотрудником в Центральном военно-морском музее. Ранее не публиковался.

Волчкова Людмила Николаевна. Родилась в 1951 году в городе Любим Ярославской области. В 1975 году окончила Ивановский медицинский институт. Работала врачом в поселковой больнице, начальником медчасти в детской воспитательно-трудовой колонии, корреспондентом областной газеты «Ленинец» в Ивановской области, врачом «Скорой помощи» в Брянске. С 1986 года работает врачом в ленинградской поликлинике. Публикуется с 1984 года — в газете «Литературная Россия» были напечатаны два ее рассказа. В 1986 году в библиотечке «Молодая гвардия» вышел небольшой сборник рассказов Людмилы Волчковой «Личная жизнь».

Грякалов Алексей Алексеевич. Родился в 1948 году в селе Красносельжи Воронежской области. В 1972 году окончил философский факультет Ленинградского университета. После школы работал кочегаром, электриком. С 1972 по 1975 год — преподавателем философии в Курском сельскохозяйственном институте. С 1975 года по 1978 год учился в аспирантуре Ленинградского университета. С 1981 года — кандидат философских наук. В настоящее время преподает философию и эстетику в Ленинградском институте советской торговли. В газете «Литературная Россия» в 1985 году опубликован его рассказ «Возвращение».

Карпущенко Сергей Васильевич. Родился в 1953 году в Ленинграде. В 1982 году окончил исторический факультет Ленинградского университета. Работает научным сотрудником в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Первая публикация — рассказ в журнале «Нева» в 1985 году.

Марков Николай Анатольевич. Родился в 1955 году в селе Чапаевском Кировской области. В 1974 году окончил Свердловский

техникум физической культуры. Служил в морском флоте. Работал в специальной школе для трудновоспитуемых подростков, затем кочегаром, дворником. Публикуется впервые.

Морозов Борис Вениаминович. Родился в 1949 году в Ленинграде. В 1976 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Публикуется с 1986 года — два рассказа в газете «Ленинградский рабочий» и один рассказ в журнале «Искорка».

Новиков Александр Федорович. Родился в 1943 году в деревне Васильево Ярославской области. В 1965 году окончил Ленинградский политехнический институт. С 1974 года — кандидат технических наук. Работал инженером в научно-производственном объединении «Позитрон» и во ВНИИ метрологии. В настоящее время — доцент в Ленинградском институте точной механики и оптики. Рассказы его печатались в сборнике «Молодой Ленинград» в 1982 и 1983 годах.

Познин Виталий Федорович. Родился в 1940 году в Ростове-на-Дону. В 1963 году окончил Таганрогский педагогический институт, в 1972-м — Всесоюзный институт кинематографии. Работал учителем в таганрогской школе, затем оператором на Леннаучфильме. В настоящее время — собственный корреспондент газеты «Советская культура». В 1961—1962 годах его рассказы печатались в таганрогских газетах. В 1984 году в «Точке опоры» был помещен его рассказ «Командировка в южный город».

Сельянова Алла Львовна. Родилась в 1956 году в Жданове. В 1984 году окончила Литературный институт имени А. М. Горького. В 1980 году в журнале «Литературная учеба» был помещен ее рассказ «Алевтина».

Соболь Владимир Александрович. Родился в 1950 году в городе Клинцы Брянской области. В 1973 году окончил Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. Работает инженером. В 1981 году в сборнике «Молодой Ленинград» были напечатаны главы из его повести «Рыжий и Арбуз».

Соколов Геннадий Евгеньевич. Родился в 1959 году в Риге. Гравер. Печатается впервые.

Шадрунов Николай Вениаминович. Родился в 1933 году в Вологодской области. В 1949 году окончил Вологодское железнодорожное училище. Работал слесарем, монтажником. В 1953 году был призван в армию. Служил в Кронштадте. После демобилизации работал электромонтажником, а затем дежурным электриком в городе Ломоносове. В 1986 году в сборнике «Молодой Ленинград» напечатано несколько его коротких рассказов.

Янсон Сергей Борисович. Родился в 1955 году в Ленинграде. В 1978 году окончил экономический факультет Ленинградского сельскохозяйственного института. Сейчас — студент пятого курса Литературного института имени А. М. Горького. Работал экономистом в проектно-институте. В настоящее время — сотрудник многоотиражной газеты Ленинградского кораблестроительного института. В жанре художественной прозы выступает впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Леонид Басиков.</i> ПРЯМОЕ ПЕРЕЛИВАНИЕ. Рассказ . . .	3
<i>Илья Бояшов.</i> В САДУ У ДЯДИ ВАНИ. Рассказ	21
ЧЕРНОЕ, ЧЕРНОЕ КЛАДБИЩЕ... Рассказ	33
<i>Людмила Волčkова.</i> МЕСТО РОЖДЕНИЯ. Маленькая повесть	37
ХОЗЯЙКА. Рассказ	66
<i>Алексей Грякалов.</i> ПОЗДНИЙ ПОКОС. Рассказ	74
<i>Сергей Карпущенко.</i> СОЛДАТ И СОЛДАТКА. Рассказ . . .	81
<i>Николай Марков.</i> БЕСЕДЫ О БЕЛКАХ. Рассказ	95
В ОЖИДАНИИ ПОЕЗДА. Рассказ	102
<i>Борис Морозов.</i> ПОРУЧЕНИЕ. Рассказ	109
<i>Александр Новиков.</i> ТОНАЛЬНОСТЬ ЛЯ-БЕМОЛЬ МАЖОР.	
Рассказ	121
<i>Виталий Познин.</i> В ЗАПОВЕДНИКЕ. Рассказ	153
<i>Алла Сельянова.</i> ДЕНЬ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. Рассказ .	171
<i>Владимир Соболев.</i> ХОЧЕШЬ БЫТЬ МОЕЙ СОБАКОЙ?	
Рассказ	193
<i>Геннадий Соколов.</i> НАРИСОВАННЫЙ ОЧАГ. Рассказ . . .	213
<i>Николай Шадронов.</i> БРОНЯ КРЕПКА. Рассказ	230
<i>Сергей Янсон.</i> ДОРОГАЯ РАБОЧАЯ СИЛА. Повесть	239
Об авторах	310

Составитель Валерий Петрович Суров

ТОЧКА ОПОРЫ

Повести и рассказы

Выпуск седьмой

Заведующий редакцией А. И. Белинский
Редактор И. С. Яворская
Художник А. К. Тимошевский
Художник серии В. И. Коломыйцев
Художественный редактор Б. Г. Смирнов
Технический редактор И. В. Буздалева
Корректор Э. А. Ривкина

ИБ № 3560

Слано в набор 14.04.87. Подписано к печати 29.07.87. М-26237. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2, Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 16,38. Усл. кр.-отг. 17,22. Уч.-изд. л. 17,49. Тираж 15 000 экз. Заказ № 148. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.